

В л а д и м и р К О Ж Е В Н И К О В

**ЖИЛА-БЫЛА  
МУРКА**

П о в е с т и

2015 год

ББК 84-Р7



Книга издана за средства автора

© Владимир Иванович Кожевников

## ЖИЛА – БЫЛА МУРКА

### 1

Тёна, старый лагерный волк, второй месяц не знает покоя. Днем он топчется по хозяйству, готовит обед, починает принесенную соседями обувь, особо не думая ни о чем. А вечером, когда все вокруг наливается резиновой темнотой, будто дурман окутывает его. Вдруг застучит, заколотится сердце, словно хватил двойную дозу чефира. В голову полезут ералашные мысли. В душе и теле начинается такой разнойбой, будто их выворачивают наизнанку. Он крутится, мечется на кровати, разговаривает сам с собою:

- Чего ты не спишь?

И сам себе отвечает, пытаясь перевести на шутку:

- Какой же ворюга спит по ночам?

- Молчи уж, ворю-уга, скоро песок посыплется.

Он пытается заснуть, но все лежит с открытыми глазами, чтобы отвлечься, тянет руку к табуретке за куревом, дымит в потолок и смотрит, как свет от качающегося на улице фонаря серебрит и шатает широкие потоки папиросного дыма. С неприязнью слушает, как стучит на ветру поржавевший лист старой железной крыши леспромхозовского дома. Иногда его заглушают лишь на минуту мчащиеся неподалёку тяжелые товарные поезда, и снова: скурлы-скурлы, поет железный лист.

- Чего ты, падла, не спишь?- спрашивает он себя, злясь.- Или надоела свобода, на казенные харчи потянуло? Тоскуешь, старый ворюга, по клетке? Для кого тюрьма, а для тебя – мать родная? Бак-лан! Дешёвка!

Стараясь найти причину, он перебирает в памяти всю свою жизнь, будто пахарь, переворачивает пласт за пластом. Да, он из тех, о ком сказать «разбойник», значит, ничего не сказать. Первый срок получил в пятнадцать лет, когда убежал из школы ФЗО, прихватив новенькую форму и четыре комплекта постельного белья, оставив на кроватях лишь худые матрасы с наполовину вытянутой на курево ватой. Второй дали ему за

пегановский магазин. Третий получил за железнодорожную кражу, четвертый...

- За что тебе вклеили четвертый?- спрашивает он себя и, покопавшись в памяти, вспоминает: - За поножовщину, когда ты угрожал того парнягу. Забываешь, земляк, стареешь.

Он не задумывался, что это был разбой, что с того человека пришлось снять золотые часы – какой уважающий себя вор думает о таких пустяках! Помнит одно: тот парень сам был хватом, и шрам на Тённом бедре – тому доказательство.

- Последний срок ты совсем схлопотал по глупости. Но жадность фрайера губит – закон воров. Так вор ты в законе или щипач, мешочник, баклан? Не собаке ль под хвост необдуманно выбросил свою жизнь?

Этот-то вопрос и мучит его по ночам, второй месяц не дает покоя. На него-то он и не может себе ответить, от него пытается убежать. Он поворачивается на живот, закрывает глаза, натягивает на голову одеяло. Но сон не приходит, лишь в ушах стоит знакомый скрипучий звук: скурлы-скурлы. Он немилосердно давит на нервы, раздражает, будто скрип ржавого запора от вонючей тюремной камеры. Ему хочется забраться на крышу, разобрать, раскидать ее по листу, бухнуть на сухие, как свечи, брёвна ведро керосина и спалить дом дотла, лишь бы не слышать этого дурацкого скрежета, лишь бы не вспоминать ни о чем, лишь бы в душу вернуть покой.

И приходит отчаяние. И какая-то неведомая сила тянет его вскочить, схватить острый сапожный нож, полоснуть себя по горлу от уха до уха и захлебнуться горячей кровью, бросить последний вызов, последнее презрение этим не понимающим его, бестолковым людям. - Э-эх,- стонет он,- не видать век свободы! Неужели не мастер ты, а мешочник, баклан, щипач? Неужели прошло все мимо?

Но ответа нет. И только беспокойный свет уличного фонаря призрачно мечется по комнате. Да: скурлы-скурлы – тянет грустную песню ржавый железный лист.

Он плохо помнит, когда украл в первый раз. Кажется, ему было лет шесть. Мать уже умерла, а отец, хороший плотник и каменщик, неделями пропадал на заработках. В доме верховодили старшие дети. Деньги, что оставлял отец, почему-то быстро кончались, и последние дни недели Пашка ходил с пустым животом.

Но у его старшего брата Васьки частенько водились пряники и конфеты.

- Ва-ась, да-ай,- жалобно просил меньший.

- Заработать надо.

- А как?

- Сверкни маланку у Кашигиных. Огурчиков новеньких захотелось.

- Это как – сверкнуть?

- Залезешь через плетень, нарвешь и назад.

Пашка удивился: зачем лезть через плетень, когда тетя Маня и так угостит. Но, боясь, что Васька раздумает, не стал спрашивать. Брат пересадил его через плетень, и Пашка тихо пошел между рядами картошки, слегка утопая босыми ногами в сырой после вчерашнего дождя земле. Гряда выросла перед ним непроходимой стеной, но он тут же смекнул, приподнялся на цыпочки. На него пахнуло прелым навозом и кисловатым теплом испаряющей влагу земли. Пашка с интересом поглядел по сторонам, увидел прислоненные к оградной стене сани с поржавевшими за лето полозьями, рядом с ними кривые и длинные жерди, уткнувшиеся острыми концами в голубое небо, будто хотели наколоть, как острогой, плывшие по нему дымчатые шапки облаков. Они показались сплюснутыми и походили на праздничные шаньги. Он с любопытством ждал, когда эти шаньги зацепятся за жердины и одна за другой сползут по ним на землю. Он даже собрался отломить краешек от одной и попробовать на вкус, но Васькин настойчивый голос оборвал его маленькую фантазию.

- Чего ты тянешь!..

Мальчишка растерянно посмотрел на брата, вновь уловил запах преющего навоза и сразу вспомнил, зачем пришел. Он запустил обе ручонки в глубокую зелень, и их неприятно обожгло мелкими иголками листьев, ботвы и самих огурцов. Он хотел отступить, но вспомнил про сладкие ржаные пряники, и колючая боль притупилась.

Огурцов было много, и он, быстро набрав полную пазуху, двинулся обратно. Сильные руки брата в момент выдернули его из-за плетня и поставили наземь. Пашка шел, боясь шевельнуть рубаху. Нажаренное огуречными иголками тело горело огнем, который исходил снизу, от самого пояса, и медленно пробирался вверх, норовя ухватить за шею.

Но все позабылось, когда два ржавых потресканных пряника оказались в его немых, желтых от огуречной пыли руках.

Потом был перочинный ножик, красиво отделанный перламутром. Его принес в школу сосед по парте Генка Васильев. Сделанный мастерски, нож горячим блеском стали притягивал взоры мальчишек, и те на каждой перемене собирались гуртом, рассматривали его, бережно передавая из рук в руки, восхищенно щелкая языками.

- Вот это вещь!

- Не нож – сила! Геша, продай. Сменяемся на коньки?

- Нет!- категорично отказывал тот.- Подарок отца, из Испании.

И тогда Пашка Конорезов задумал завладеть ножом, похвастав Вовке Надыкину:

- Скоро нож будет мой!

- Не будет. Генка ни за что не отдаст! Подарок отца.

- На что спорим?

Неделю крутился вокруг Васильева. Однажды, улучив момент, вытащил из пальто в раздевалке. Потом пошли ручки, карандаши, случайно забытые в партах, черемуха в соседских садах, налеты на огороды. Заводилой был Пашка.

- Пойдем маланку сверкать!- сбивал он мальчишек.
- Поймают – драть будут,- отговаривали его.
- Тру-ус! Кто смелый – за мной!

Налетали мгновенно, как воробы, в испуге хватали, дергали с корнем, что попадется, лишь бы не выглядеть трусами. Перемахивали через плетень и убегали в ближний лесок.

Так делал когда-то Васька – уличный заводила и хулиган. Но однажды приехал в ходке участковый Шалашов, и Ваську уpekли в колонию.

Пашке тоже нравилось быть смелее всех, верховодить. Он все чаще обшаривал карманы пальто и фуфак в раздевалке, тянул из портфелей. Наверно, за это его и прозвали Тёной. Но чтобы верховодить, выглядеть смелым, надо быть и находчивым. И он старался. Сперва предложил играть в чикку. Потом появились карты. Пашка любил банковать. Надвинув фуражку на лоб, полевывая на пальцы, он, как заправский картежник, тасовал, подрезал колоду, раскидывал дам и тузов, приговаривая:

- Раз, раз – тузиком до вас. Ваша бита – борода дома!..

О Тёне заговорили, когда началась война и на станции оживился базарчик. Торговали на нем молоком, вареной картошкой, солеными грибами и огурцами, полевой клубникой и табаком – всем тем, за что можно выручить кое-какие деньги. Торговки – местные бабы – выходили к московским и пригородным поездом, раскладывали товар на полотенцах прямо на перроне, расхваливая на все лады, подавали в открытые окна вагонов, завязывая в носовые платки засаленные рублевки и пряча подальше, чтобы случайные щипачи не запустили ловкую руку.

Суэта, переполненные людьми вагоны, тамбуры, мешки и чемоданы, свисавшие с крыш и подножек, взволновали мальчишку. Все чаще он появлялся на станции в окружении дружков, все ближе подходил и принимался к пассажирам, принаравливался к станционной спешке. Трудно, очень трудно пойти впервые на опасное дело, за которое могут избить,

изувечить, сбросить с идущего поезда. Но надо, надо идти на него, коль не хочешь считаться трусом, коль охота тебе верховодить, быть атаманом. Решайся же: атаман или трус?

И вот маленький, юркий, остроглазый, как кошка, однажды он вынырнул в темноте из-под тронувшегося состава. Уцепившись за поручень, пролез между чьих-то ног, потом вдруг сорвался неизвестно откуда, кубарем скатился по галечной насыпи. Не чуя ушибов, до отчаяния счастливый и гордый, побежал вдоль откоса навстречу товарищам.

- Тёна, чо волокёшь?- спросили его.

- Сидорок,- ответил небрежно, стараясь унять неожиданно нахлынувшую дрожь.

Тут же распутали лямки, вытряхнув на траву содержимое, засветили спичку.

- Смелый ты, Тёна!- восхищались им.

- Сорок семь – делим всем!- с надеждой выкрикнул кто-то.- Верно, Тёна?

Тот не был против, дележка поровну – закон воров. Но его уже почти не интересовала добыча. Какое-то новое, еще не испытанное чувство овладело им, и он почувствовал себя взрослее, умнее, сильнее товарищей. Однако, сплевывая через зубы, сказал с показным презрением:

- Дешевки! Торгуетесь из-за мелочи.

И пошел, шире расправив плечи, засунув руки в карманы брюк, напевая вполголоса слышанную от Васьки песню:

- Жила-была Мурка – девочка блатная...

Сзади поплелись с опущенными головами товарищи.

- Павлик, на! На всех поровну, по-честному,- заговорили, заискивая.- Мы же тоже делимся, когда чего стянем. А может, мы завтра чемодан с деньгами уведем. Тоже поровну, понял? Клянемся могилой!

- Не чемодан, а угол. По фене надо ботать,- поправил наставительно Тёна.- А кто по фене ботает, тот нигде не работает.

Но при воспоминании о чемодане с деньгами в его глазах



вдруг вспыхнули яростные огоньки. Никогда его шайке не удавалось украсть много денег. И хотя он не представлял, на что их можно потратить, в душе засосало, заныло. Какой-то невидимый, душевный зов проснулся вдруг в нем, и захотелось выкинуть такое, чего не представлялось еще в сознании, но что бы придало силу, возвысило на целую голову. Но он еще сдерживался, не показывая этого зова, чтобы не приняли за хвастуна.

- Всему свое время, братва.

О Тёне и его приятелях уже знали. При их появлении в магазинах, на базаре чаще пощупывали свои карманы и кошельки, зло провожали глазами.

- Глядите, опять Конорезов со своей шайкой рыскает. Не дай Бог, карточки свистнут – по миру ребятишек пустят,- волновались не без основания бабы.

Иногда попадались на краже. Их били, вели к участковому, который жил в соседней деревне. Попадался и Тёна, но он был изворотливее, хитрее.

- Да что ты, тетя Стеша, вот, праибогу, нашел, тебе хотел отдать,- оправдывался и нагло врал он, глядя прямо в глаза.- Твой кошелек-то, я ведь знаю его, ей-богу, хотел отдать.

- Врешь ты, сукин сын, из кармана спёр!- пыталась кричать хозяйка. Но его невинный взгляд, голубые откровенные глаза вдруг зарождали в ее душе сомнение. Может, и правда в толчее обронила, говорила она себе, но для острастки отчитывала:

- Я вот Федору, отцу-то, скажу. Он всыплет тебе.

- Боялся он Федора,- сердито ворчали бабы.- Они милиции не боятся.

- У Конорезовых все смотрят, где плохо лежит.

- Хоть на всех не валите,- заступались другие.

- Говорят, люди людей-то портят, а не сами себя.

- Какие люди! В крови у них это. Деда еще при царе за кражу убили. Коней воровал, с кыргызами знался. До самой смерти забили. А теперь всё с ними вожжаются.

- А что, убивать прикажешь? Мало на войне людей хлещут?

- Убивать – не убивать, а всыпать, как следует, стоит по мягкому месту, чтобы другим не повадно было. Ихние сверстники в колхозе работают, фронту помогают.

- Да хватит вам, бабы!- успокаивала их тетя Стеша. - Небось, я сама гаманок по растерянности потеряла. Вернул ведь.

А Тёны и след простыл.

Война на последний год покатила. Тёна подрастал, смелел. В его поступках появлялось все больше дерзости. Все чаще жаловались на него Шалашову. Залетные ли воры заскочат, или кто сам потеряет – все на него грешат. Встревожился участковый, задумал приструнить пацана, да не так просто его найти. Приедет к Конорезовым: где он? Только что был, да весь вышел. Немного времени у Шалашова – участок в полрайона, и почище жулики есть.

Все-таки поймал он Тёну, посадил в ходок, повез в сельский совет для серьезного разговора. Думал поразведать, припугнуть хорошенько, может, и в сарае ночку подержать, чтобы образумился.

- Что ж ты, Пашка, школу бросил, нигде не работаешь, дармоедом у Советской власти живешь?

- Рано работать, маленький еще.

- А воровать не маленький?

- Ей-богу, не ворую, дядя Шалашов,- оправдывался Тёна,- врут все люди.

- А кошель у Чупихи украл, а курицу у Кашигиных подстрелил из рогатки, ягоды у городских отбираешь со своей шайкой.

- Ягоды? Ягоды было. Один раз,- согласился Тёна.

«А-а, раскалываешься,- весело подумал участковый.- Сейчас ты все выложишь, субчик. Передо мною не такие воровские короли раскалывались».

Солнце уже поднималось над лесом, и стало совсем тепло.

Дорога, оставив справа кладбище, заросшее большими ветвистыми березами, пошла под горку. Показалось Пеганово, вытянувшееся вдоль спокойной реки, где водились крупные щуки и желтые караси, похожие на лапти. А седого, уставшего от бессонницы участкового, потянуло в сон.

- Дядя Шалашов, дай вожжи-то, я порулю,- попросил Тёна.- Коней шибко люблю.

У участкового и свои пацаны без ума от коней. Да и, видно, не так уж плох этот Конорезик, как он его прозвал для себя, если по-человечески к нему подойти.

- На, Пашка, порули,- протянул он веревочные вожжи.

Тёна сел на место кучера, помотал над головой вожжами, ударил раз, второй по конской холке. Молодой, справный меринок подхватил под горку резвее, норовя с рыси перейти на галоп. Ходок повело, закачало, совсем стали слипаться очи Шалашова. Тёна озорно оглянулся, увидел дремлющего участкового, показал ему кукиш и, бросив вожжи далеко на коня, к самой дуге, метнулся в сторону от ходка.

Поздно очнулся Шалашов. Пока искал вожжи, кричал: «Стой, тр-р, тпру-у», Пашкин и след простыл.

- Куда ты удрал, рулевой? - озирался по сторонам.

Он еще постоял минут пять, подождал, за что-то матюгнул Николая-угодника, будто святой виноват, подошел к коню, намереваясь пнуть его со злости за то, что долго не останавливался, да побоялся, кабы меринок сам не лягнул хозяина за ротозейство, стегнул его вдоль спины и, недовольный, покатил в Пеганово.

### 3

Сгущались тучи над Конорезовым, да не так он глуп, хотя и молод. До осени скрывался: бродяжил в поездах, отсыпался в чужих банях, чтобы Шалашов случайно не подловил. Сманил как-то Вовку Надыкина, дружка своего закадычного, прошвырнуться в Ташкент. Втиснулись они на Малом Полетаеве на

переходную площадку пассажирского поезда, влезли в вагон. Купе за купе обшаривали взглядом, пока не нашли пожилого узбека в строченом халате и тубетейке.

- Карась!- кивнул Тёна на третью полку.- У этих чучмеков всегда есть гроши. Наверно, урюк продавал, нагреб. Полезай на крышу, веревку мне спустишь, как окуроч выброшу, понял?

Ночь была лунная, душная. Окна не закрывали – в вагоне несло мешковиной, мочой, карболкой. Полумрак. На весь вагон три тусклые свечи. Но у Тёны глаз кошачий, как днем видит. Видит он, как сидит напротив него узбек, скрестив ноги калачиком, держится рукой за деревянный чемодан, как спят уставшие от вокзальной суеты пассажиры, навалившись на мешки, на соседей. Только узбек не спит, хитро посматривает из-под лохматых бровей, водит темными зрачками, как филин. Но к рассвету и у него начинают слипаться веки.

Теперь ты наш, смекнул Тёна. Достал из кармана окуроч, чтобы не вызвать подозрения, прикурил, завернувшись в полы большого пиджака, потихоньку тянул, не давая погаснуть огню. А когда пришло время, раскурил посильнее и выкинул с силой вперед и вверх, чтобы встречный ветер распушил искры.

И тут же, через полминуты, увидел спускавшийся с крыши конец веревки. Его не сдувало, и Тёна понял, что на конце привязана тяжесть. «Молодец!»- похвалил напарника. Загреб неслышно рукой, вытянул на себя. Отвязал увесистую гайку, которой путейцы крепят рельсы на стыках. Положил рядом с собою на всякий случай.

Не дыша, осторожно нагнулся в сторону соседней полки, дважды обмотал веревку за железную ручку чемодана, затянул на узел. Прихватив гайку, начал тихонько слазить, да задел случайно узбека.

- А, щё?- забеспокоился тот.

- Ничего, бабай, отдыхай,- промолвил Тёна вполголоса, еле сдерживая дрожь.- В уборную я, посмотри за моим местом.

- А-а, ладна,- пощупав чемодан,- сказал успокоенно тот и снова закрыл глаза.

Пашка пробрался в тамбур, трехгранкой открыл наружную дверь, кошкой взобрался на крышу. Вовка Надыкин сидел посередине, держась за вытяжную трубу, приготовился выбирать веревку. В рассветной дымке он был похож на кота, готового к прыжку, и Тёна нервно улыбнулся.

- Ну, как там?

- Без шухера,- ответил Пашка. Он поплевал на руки, зацепился ногой за выступ трубы, кивнул товарищу: - Начали!

Изо всех силенок дернули веревку. В вагоне что-то загремело, зацепилось, ударилось раз-другой, послышался всполошный крик:

- Ай, вай-вай, разбойник!.. Рэзать будем...

Но веревка вдруг мягко подалась, и из-за кромки крыши стал выплывать край деревянного чемодана. Быстро подтянули, развязали узел.

- Атаа!- крикнул Тёна, сматывая веревку.- Рви в хвост.

Подъезжали к какой-то станции, поезд сбавлял ход, шел по желтому сигналу. Можно и прыгать, мелькнула мысль у Пашки, когда кинулся вслед за Вовкой.

- Ложи-ись, мост!- вдруг донеслось с насыпи.

Тёна и сам не понял, как услышал этот крик, скорее почувствовал нутром, инстинктивно. Мигом растянулся на крыше, крепко уцепившись за подвернувшуюся трубу, сбив в кровь колени и локти, а когда поднял голову, увидел, как металлическим швеллером ударило Вовку по затылку, как кувыркнулся он и провалился вместе с чемоданом.

Тёна пробродяжил все лето, а осенью, вспомнив о жестоких зимних холодах, о нелегком своем воровском хлебе, поступил в школу ФЗО. Ему выдали новую форму, поставили на довольствие. Но в ФЗО заставляли учиться, ходить на практику на завод. Однажды он, притворившись больным, вернулся после завтрака в общежитие. Заперев на крючок дверь, сорвал

со всех четырех кроватей простыни, наволочки, одеяла, оставив их сверкать дырявыми матрасами. Кинул мешок в окно, ведущее в сад, прошел через главный выход, сказав вахтерше, что идет в поликлинику.

Через две недели его снял с поезда участковый Шалашов, а вскоре состоялся суд, и Конорезова посадили на шесть месяцев в детскую исправительно-трудовую колонию.

#### 4

Пашка быстро понял: жизнь в колонии тяжелая. Харчами не балуют, работу дают не на выбор, а самую что ни на есть черновую. Приходилось мести дороги и рыть траншеи, мыть полы в бараке и месить раствор на стройке. К вечеру так наломаешься, что не можешь дождаться, когда упадешь на нары. Засыпаешь мертвецки. Ждали, когда придут передачи, да только, хотя и кончилась война, на воле еще было голодно.

Кое-как выдержал полгода, а когда вернулся, увидел, что и на воле не хлеб с маслом едят, больше нажимают на картошку. Семьица большая у Конорезовых, одних детей пятеро. Тёна предпоследний. Старшие уже зарабатывают на хлеб.

- Давай, Пашка, определяйся на работу,- сказал хмуро отец,- хватит байдуки бить, пока опять с недобрым делом не связался.

- От работы кони дохнут, батя, трактора ломаются. А на счет харчей не дрейфь, без хлеба не останемся, мир не без добрых людей.

Поступил в заготзерно слесарем, только пятьсот рублей для него не деньги. Хотелось жить широко и богато, чтобы завидовали люди, чтобы веселиться с девчонками, которых после войны вдруг так стало много, что глаза разбегались, как у шального зайца. Все они как-то сразу похорошели и повзрослели, хоть бери да женись.

- Но с красивой гулять, надо гроши ковать,  
Я об этом задумался лично.

И решил я тогда день и ночь воровать,  
Чтоб одеться чуть-чуть поприличней,-  
без стеснения пел Тёна по вечерам поллюбившуюся в колонии  
воровскую песню.

- Хорошо жить!- говорил он друзьям.- А жить хорошо –  
еще лучше. Где-то есть теплые моря, горячий песок на пляжах  
и златокудрые чудачки.

- А если зачат: в колонии-то не хлеб, говоришь,- возра-  
жали ребята.

- Вора бьют не за то, что ворует, а что плохо ворует,- по-  
учал наставительно, поправляя на сторону белый чубчик.- Вы  
на что сегодня гуляете, фраера? На то, что Тёна ночью удачно  
сплавил два сидора пшеницы.

Он сидел, закинув ногу на ногу, поблескивая хромовыми  
сапогами с вытянутыми под самые колени голенищами, на ко-  
торые налегли слегка выпущенные штанины блестящих шта-  
пельных брюк. Коричневая вельветка, перечеркнутая молни-  
ями карманных замков, сияющая на солнце латунная фикса,  
сделанная из пятака в колонии, папироса «Казбек» заметно  
выделяли его.

- В общем, урки, хватит щипачить – дешевка это. Надыбал  
я один ларец в Подпеваловой. Приглашаю на дело. Хватит на  
дурняка шамать. Кто трусит – лучше не ходи.

Молодой, но видит, на что бить – на смелость. Кто же сра-  
зу признается в трусости?

- Иначе: ты зашухарила всю нашу малину, так теперь по  
блату получай,- пропел с намеком.

«Колупнули» они магазин, месяц жили припеваючи, пили  
«Спотыкач», заедали консервированными крабами, знакомых  
девчонок подпайвали, щедро угощали конфетами, потом зажи-  
мали в темных углах. Жизнь казалась прекрасной и удивитель-  
ной, жить хотелось широко, по-барски, красиво, душа пела. И  
Тёна пел любимую свою песню: «Жила-была Мурка – девочка  
блатная...» Пел с легкой хрипотцой, приобретенной в колонии.

А когда деньги кончились и вдруг исчезли девчонки, Пашка снова заговорил о красивой жизни:

А море в Сочи волной хлопочет,  
И сердце урки девчонки хочет,  
Девчонки просит, любви так хочет,  
А море в Сочи волной хлопочет.

Понравилось Тёне пегановское сельпо. Три ночи наблюдал из колхозного сарая, когда сторож уходит домой греться чаем. Это было с двух до трех. Дома находился ровно час, надеясь на привязанного у входа в магазин кобелька-доходягу.

Засели с вечера в сарай, ждали, изредка курили, пряча окурки в карманы, чтобы не оставить следов.

- А если вдруг вернется?- спросил Витька Бузаев, широкоплечий и рослый парень, простоватый и неопытный в подобных делах.

- От радости макушку ему до крови расцелуешь, парень ты здоровый,- играючи, легко сказал Тёна, и все засмеялись, облегченно вздохнули. Разрядка в таком нервном деле – лучший помощник.

По сторожу хоть часы проверяй. Буркнув что-то кобельку, он отправился к своему дому, на край села. А Тёна уж тут как тут.

- Кабыздох, кабыздох! На-ка хлебца тебе да мяска кусок, небось, не шибко сладко на казенных харчах, на ветру да морозе.

Вылез кобелек из конуры, взял несмело с ладони один, второй кусочек, стал слизывать крошки, не заметил, как выше уха пришлось удар топором, удар тупой, обухом угостил Тёна.

Оставив Бузаева на «шухере», от задней глухой стены влезли на чердак. Маленьким ломиком быстро разобрали кирпичную кладку трубы, вдвоем спустились с фонариком, пробежали вдоль полок, заглянули в глухой отсек склада, набили три мешка товаров, подали в дыру. За сорок минут управились,



и ходу в лес. А там сыщи попробуй, визитной карточки не оставили.

Снова по вечерам собиралась «малина». Рекой лился «Спотыкач» под консервированного краба и кетовую икру. Плясали цыганочку под наигрыш двухрядки, усердно, отчаянно дробили и били чечетку, сверкая начищенными хромовыми сапогами. Особенно выделялась Машка Згуменнова. С пронзительно-шалыми глазами, напористая, небольшая, но подсадная, резкая, она верховодила у девчат. Ходила в зеленом пальто, за что и прозвали Атаманом Зеленым.

- Цыганка, раз, цыганка, два, цыганка, три, четыре, пять, а разрешите мне, цыганочка, на картах погадать,- пел хрипловато Тёна, вынося то в одну, то в другую сторону руки, прихлопывая ладонями и ударяя в такт каблуками.

Взмахивая по диагонали руками, напротив шла Атаман Зеленая. Гармонист играл все быстрее, танец набирал темп. Машка с отрешенным лицом и туманными, невидящими глазами неслась с мелкой и частой дробью, будто у нее было, по крайней мере, четыре ноги, вокруг пляшущего вприсядку Пашки. Захваченные бесшабашностью плясунов, все на мгновение замирали, потом разом бросались в пляс, и качались, скрипели половые плахи, прыгали табуретки, ходила ходуном избенка. Казалось, старая русская печка, сложенная еще до коллективизации, вот-вот ударит вьюшкой о вьюшку и бросится вслед за людьми. Это был пьяный угар. Даже хозяйка, одинокая и глухая старуха Просвирлиха, не выдерживала и выползала со страхом из-за печи:

- Хватай, Пашка, будь ты неладный! По бревнышку раскатай избенку, куды тогда дену-усь – одинокая да глухая-ая?-слезно упрашивала она.

- Молчи, бабка Просвирлиха, сам пью, сам плачу. На тебе еще зелененькую на сухари, помни доброту честного вора,- швырял он небрежно полсотню, и бабка, довольная и смиренная, снова уползала за печь.

Распаренные и уставшие, постепенно отваливали по одному к столу, лили «Спотыкач» и водку в граненые стаканы, выпивали махом, стараясь потушить огонь души. Только Тёна с Машкой Згуменновой, два атамана, еще выплясывали вовсю, сверкая голенищами хромочей.

- Цыган цыганке говорит:

У меня давно стоит

На столе бутылочка,

Давай же выпьем, милочка,-

пела прерывисто, в такт дроби Машка. Тёна вдруг подхватывал ее на руки, нес к столу и, посадив на край, подавал стакан.

Он попался по-глупому, продавая на одном из районных рынков вынесенные из пегановского сельпо часы. Всю вину взял на себя, чтобы не пришили групповую, чтобы и его не забыли долгожданные посылки с воли.

## 5

Ворочается Тёна в постели, не может уснуть. А чего надо, и сам не знает. Бывало, мотаясь на переходной площадке или сидя на подножке вагона, мог заставить себя заснуть. А сейчас: в тепле, на мягкой кровати и огромной пуховой подушке сон никак не приходил. Второй месяц мучается он, хотя на воле больше двух лет. На воле, которую с нетерпением ждал длинными годами, каждый из которых другому мог стоять целой жизни.

- Жизнь, свобода! Что знаете вы, люди, о них, пользуясь ею каждый час, каждый день сполна? А ты сам-то знаешь?- спрашивает он себя.- Ты, проживший почти пять десятков лет, больше половины из которых ожидавший свободы? Ты знаешь, что день на свободе дороже года в тюрьме. Тыщу дней на свободе, значит, тыщу тюремных лет? Шалишь, земляк, жизнь проще намного. В ней выживают лишь сильные. Жизнь – это сила. А что же тогда свобода? Деньги, конечно. Когда их много, ты свободен, как птица. Так почему же подлые люди лишают тебя

свободы, почему не дают стать птицей и лететь, куда хочешь?

Нет, Тёна не жалеет о прожитых годах. Он видел деньги и знает свободу. Он имел силу, а значит – жил. Что-то другое его угнетает, которую ночь не дает покоя. Ему не хочется вспоминать о прошлом, оно само стучится в памяти.

За магазин он отсидел три года и попал под амнистию. Вот она, долгожданная свобода, вот они, друзья-приятели-урки! Да нет, разбежалась «малина». Кто завязал, кто сам сел, кто уехал. Но друзья – дело нажитое. Долго ли кому-то помочь в беде, потом не вырвется, как говорится, «не у Проньки, не пролезет». Только на первое время разгончик нужен. Но спрос у Тёны заметно вырос. Жизнь лагерная научила: украсть, так миллион, падать, так с хорошего коня. Звание «в законе» за мелочевку не дается. А когда «в законе» - хорошо и в зоне.

«Подпас» Тёна пехотного капитана, что ехал в Москву за автомобилем «Победа». До Куйбышева глаз не спускал. Все-таки «клюнул» капитан на коньяк три звездочки, на буру в «колотушки», считай, из рук в руки передал чулок с восемнадцатью тысячами.

И снова жизнь покатила безбрежно и лихо. И снова – «жила-была Мурка – девочка блатная». В экстазе плясали цыганочку с Атаманом Зеленым, неизвестно, откуда появившейся, кидали «зелененькую» старухе-хозяйке за «хазу». Снова Пашка Конорезов самый первый, самый сильный человек в поселке: подходите, друзья, всех угощаю, всех напою. Бойтесь, недруги, финочкой поколю, мочкой попишу!

Дорога свобода, но не вечна. Да и работа – не последнее дело у вора. Работа – жизнь, работа – ночной трепет и страх, неудержимое стремление не быть пойманным, битым, битым в кровь, со всего маху оземь, когда лопается печенка и отрываются почки, и ты неделями харкаешь кровью. Жизнь – это напряжение и победа, признание и власть, без которых нельзя вору, без которых свобода хуже тюрьмы, хуже темного карцера.

Сел Тёна ночью на вагон с контейнерами на ближнем разъезде. Тюк-тюк, стучит топором, выворачивая деревянные планки. Думал бостоновым отрезом поживиться, а вытащил пачку детских распашонок, не заметил, что к большой станции подъезжает, что знают о краже в линейном отделе – позвонил кто-то с перегона.

Сунули Тёне не разменянную пятерку со строгим режимом за непочтение подвижного состава, только уж не так страшна она, не впервой, кой-какие законы известны, знакомы зайцы, известны и волки. До звонка две тысячи сто двадцать шесть дней, надо вживаться, ждать матушку свободу. Особото, начальники, работой не загружайте, говорят, от нее конидохнут, трактора ломаются. Ксива с воли не часта, посылка – тоже гость редкий. «Сухарей не надо, сало, масло шли...» «А за окном чудесная погода, а у ворот сидит начальник злой. А мне сидеть еще четыре года, как болит сердце, как хочется домой». Не особо, говорю, начальники работой загружайте, один к трем тут не пролезет, не трактор. Мы и в колотушки поиграем, забурим кое с кем, на деньги, на тряпки, на талоны сыграем, чтобы отовариться в лагерном магазине. Вон сколько народу, и все верят, что карта – не лошадь, под вечер повезет.

Как всегда, ждали амнистии. Поругивали власти, что никаких событий не происходило, хотя, если по совести, то жаловаться особо не приходилось. Харч стал сносный, а если по дому скучаешь, вытягивай трудовую норму на сто двадцать один процент – день за три зачтется.

Недавно умер в Москве большой человек, и вечерами в бараке пели:

Товарищ Сталин, вы - большой ученый,  
В языкознании познавший толк,  
А я – простой советский заключенный,  
И мой товарищ – серый брянский волк.

За что сижу, по совести – не знаю,  
Но прокуроры, видимо, правы.  
Итак, сижу я в Туруханском крае,  
Где при царе бывали в ссылке вы.

Пели с надеждой, ждали. Тёне оставалось немного, да все-таки не от звонка до звонка тянуть. Немного, да помогла смерть большого жесткого человека. Неудобно на чужом горе выезжать, только своя рубашка ближе к телу и беда своя горче чужой, а свобода – кто знает ее истинную цену лучше старого зэка?

По одному и группами вызывали в канцелярию. Был сам начальник колонии. Человек пожилой, лысый, глаза всегда пытливые, вьедливые, вдруг показались серыми, добрыми.

- Прими, Конорезов, мой дельный совет. Хватит тебе попадать сюда, ты еще молодой, не поздно свое наверстать. Молодежь идет на стройки, заводы. Жизнь сама просится в ваши руки, так не пройдите мимо нее. Думаешь, хочется вас держать тут? И вот тебе снова дают возможность, не упусти ее, по-отечески говорю.

Глаза серые, добрые, нельзя им соврать. В первый раз увидел Тёна начальника без шапки, лысого, по-домашнему, и что-то шевельнулось в груди, подступило к горлу. Вытер он ладонью пот на стриженной голове, посмотрел в глаза старому человеку и сказал откровенно, будто отцу:

- Все, гражданин начальник, завязал навсегда.

И сам поверил в то, что сказал, ведь нельзя обмануть старого человека, отца.

- Завязал, ей-богу.

## 6

Отец старый у Тёны, признал не сразу. Долго всматривался в вечернем полумраке, шурил подслеповатые глаза. И вдруг не заревел, а застонал с полусмехом, покачиваясь, неуверенно пошел навстречу.

- Пашка приехал, Пашка!

- Он, батя, он, сукин сын!- обнял старика Тёна.

- Пашка приехал, Пашка!- повторял отец, повиснув на плече у непутевого сына.

- Я, батя, я вернулся. Да не плачь ты, старик, Конорезовым не к лицу.

- Думал, уж не дождусь, совсем ведь плохой, как бобыль, один живу. Слягу когда, некому ковшик воды подать. Девки-то ходят редко: ребяшня, хозяйство. Другой раз маковой росинки целый день не бывает во рту.

- Я им, двустволкам, хвосты-то накручу! Мою помощь забыли, когда строились,- сказал он, сердито посмотрев куда-то за дверь.- Братья-то помогают?

- Кому помогать? У Кольки своих пятеро, пимы по очереди надевают и носят. Васька сам недавно пришел из тюрьмы, кое-как вот женился, да больно молодую взял.

- Ничего, старик, не горюй, теперь не погибнем. Давай перекусим с дороги, устал я чего-то.

Посадив отца на лавку, вытащил из вещевого мешка консервы, колбасу, хлеб. Снял с плиты чугунок с горячей водой, поискал чайник с заваркой.

- Командуй, отец, я схожу во двор покурю.

В сенцах стал на пороге, распахнул дверь в ограду, обвел взглядом вокруг – все знакомое с первых шагов. Увидел под навесом двухколесную тележку. Когда-то на ней они с Васькой возили из леса дрова. Когда это было? В углу – столярный верстак, на котором отец, бывало, целыми днями строгал рубанком, гнал змейки пахучей стружки.

Над ним, на том же месте, будто повесили только вчера, висели рогатки для кроличьих и заячьих шкур.

В сенях, во дворе все так знакомо, словно ушел отсюда вчера. И у него вдруг засосало в груди, закружило, понеслось в голове от нахлынувших чувств. Было радостно и обидно: старая тележка, верстак, скребок для обуви – все осталось по-прежнему, а вот в нем, человеке, что-то безвозвратно ушло, поте-

рялось, изменилось за эти годы, чего не вернешь, не купишь всеми краденными деньгами, прошедшими, словно ливень, через его руки.

Не вернуть и мать. Он отчетливо помнил себя пятилетним мальчишкой и мать. Она уже не вставала, лежала в горнице на широкой кровати, лежала с измученным от болезни, изможденным лицом. А отец, как всегда, был на заработках. Не работало ему дома.

В тот день ей стало легче. Он это понял, когда, забывшись, бойко вбежал в горницу. Увидев ее, он замер в испуге. Но мать, приподнявшись на локте, вдруг улыбнулась ему добрыми голубыми глазами. Легкий румянец, выступивший на ее щеках, упавшие на сухую грудь льняные волосы делали ее молодой и здоровой. Так, улыбаясь, она протянула ему руки и ласково позвала:

- Иди ко мне, мой сыночек, иди, жаворонок светлый.

Он, задрожав всем телом, заплакав, бросился к ней в объятия.

- Живи долго, будь счастлив, мой жаворонок. Господи, помоги ему...

Она целовала его в лоб и глаза мягкими теплыми губами и долго ласкала, пока он не обмяк, не уснул рядом с ней. Когда же проснулся – ее не стало...

Всю жизнь он тосковал по материнской ласке, а это видение часто являлось там, в лагерях, и он тогда тосковал и рвался на волю, и жизнь была не мила, как собака.

Вспомнив это, Тёна качнулся, крепко вцепился в косяк, прильнул лицом, губами, вцепился зубами в округлившийся от времени угол. Не почувствовал, как две свинцовые слезины выкатились из глаз, соскользнули с оттопыренной губы, лишь услышал их удар об сапог и отпрянул от косяка, осматриваясь стыдливо – не увидел ли кто в темноте. Как не стыдиться, коль старый лагерный волк по-бабьи пускает слезу? Но, кроме звезд, разгоравшихся в вечернем небе, никто не заметил минутную слабость Тёны, и он зло пригрозил им упругим кулаком.

- У-ух, падлы!- скрипнув зубами, прошептал и направился в дом.

Отец сидел, как оставался, пристально разглядывая сына помутневшим от лет взглядом. Тот открыл тушенку, легкими движениями нарезал колбасы, хлеба.

- Ешь, батя, теперь с голоду не помрем. Теперь отдыхать будешь, ты свое отпахал, понял?

- Опять ведь за свое примесся, и снова тебя упекут.

- Все, батя, баста. Завязал я, понял? Хочу по-человечески жить.

- Дай-то Бог, дай-то Бог!- с надеждой закивал отец.

- Жену приведу – дом-то вон какой гробина! Нарожаем тебе внуков, будешь качать на ноге – радоваться. А где Витька Бузаев?- будто мимоходом спросил.

- Человеком стал, в леспромхозе главным механиком работает, по праздникам в штиблетах, при галстукe ходит. Большой человек! Учительницу в жёнки взял, двоих детей народили, дом-пятистенок вымахали. Обрези выписал мне – печь топить зимой.

- Вот видишь, отец, можно и без воровства прожить?

- Да за каким лядом оно нужно-то!- с радостью подхватил старик.- На еду, табак заработаешь, не война ведь теперь. Огород вон, какой пустует. Интересовался Виктор Егорыч тобой, жалел шибко.

- Ну, меня еще рано жалеть, пусть себя пожалеет,- недовольно проговорил Тёна.- А где Атаман Зеленый, не залетала?

- Про нее и не спрашивай,- с неприязнью махнул рукой отец.- Истрепалась вся, босятвы нарожала, не поймешь, от кого.

- Дешевка!- зло сплюнул Конорезов-младший и вдруг сквозь зубы запел:

А ты зашухарила всю нашу малину,

Так теперь по благу получай...

- Дури давай, мало баб-то тебе.



- Да так я, батя, нервным что-то стал. Особенно когда меня учат. Любят у нас учить. На суде учат, в лагере учат, на свободе учат. Не знаешь, куда и деться неученому да убогому. А может, я не хочу учиться, может, я уже большой ученый?

- Тебе ведь, дураку, добра желают.

- Ты не сердись, старик, угорел я от свободы. Такое случается, когда годами одну песню поешь: «Опять этап, опять вагоны». Это пройдет, как с белых яблонь дым. Вот получу паспорт, пропишусь и пойду к Витьке Бузаеву на поклон, устройюсь слесарем или монтером, небось, по старой дружбе не откажет?

- Он-то? Да рази такой откажет! С ним районские за ручку здороваются, Виктор Егорычем величают, голова-а, куда там...

- А вот вора не получилось из него, жидким в коленках оказался,- саркастически заявил Тёна.

- Дай-то Бог,- возразил отец.- В наше время и без этого проживешь. Папаня мой вон коней крал, так при царизме, голодно было. Поймали его и насмерть засекли. Я хоть и шабашил, но за всю жизнь копейки не украл. И не помер. Наверно, по наследству тебе досталось от деда. Последнее это дело – воровство.

- Скажешь тоже. Да если разини не перевелись, если само в руки идет – отказываться прикажешь?

- Как придет, так и уйдет,- твердо заявил отец.- Я вот раньше картишками баловался. Сколько ни выигрываю, все равно проиграюсь. Пустое это дело, жадностью дано, а она к добру не приводит.

Недолго отдыхал Тёна. На следующий день обошел родню, а на третий поехал в район хлопотать насчет паспорта. И когда получил, прописался, пошел в леспромхоз к Бузаеву.

- А-а, Павел!- приветливо встретил главный механик.- С прибытием тебя. На работу? Это ты правильно надумал. Пойдем ко мне, поговорим.

В маленьком кабинете выделялся большой стол с неуклю-

жими тумбами, на нем беспорядочно лежали бумаги, стояла полная пепельница окурков.

- Понимаешь, просидели вчера с ребятами,- радостно заговорил механик, складывая на этажерку разбросанные чертежи, вытряхнув в урну окурки.- Подачу на пилораму хотим облегчить, автоматику вводим. И производительность увеличим, и экономия будет.

- В твой карман, что ли?- с усмешкой посмотрел Конорезов.

Виктор Егорович слегка обиделся, но виду не подал, лишь ответил негромко:

- И в твой тоже, и в карман государства.

- Сознательным больно стал.

- Такова жизнь, говорят французы,- попробовал перевести на шутку и улыбнуться Бузаев, и его широкое лицо на секунду стало еще шире,- а против нее не попрешь, жизнь – это общество, оно диктует человеку законы, а не человек обществу.

- Ну-ну,- недовольно зыркнул глазами Тёна,- товарищ Витя, вы - большой ученый. Небось, коммунистом стал, чистеньким прикинулся?

- Не ворую, обхожусь. А коммунистом не стал, Паша.

- Или не каждому туда дорога открыта?

- Много у человека дорог,- тяжело вздохнув и глянув в окно, сказал главный механик.- К сожалению, не всегда он их правильно выбирает. Потом мучается всю жизнь, пока не найдет настоящей дороги. Ты бы сейчас пошел в коммунисты?

- С тремя-то сроками?

- То-то и оно. И у меня до сих пор висит на душе то сельпо, хотя сопляком, меньше всех вас был. Да чего мы в грязном белье-то копаемся, что было, того не откинешь, но не убиваться же. У нас рабочих рук не хватает, а стране вот так,- он провел большим пальцем по горлу,- нужен лес. Если надумал по-настоящему – милости просим. Пойдешь электриком на лесозавод? Платят неплохо, за сверхурочные – вдвойне.

- Давай, начальник, подписывай ксиву,- протянул заявление.

- Ну и договорились. Только по старой дружбе тебя прошу, пойми меня правильно, на работе я – главный механик. Сачков не люблю, махинации пресекаю жестоко. После работы – к твоим услугам.

«А ты, видать, рыба»,- подумал Тёна, недовольно посмотрев исподлобья.

- Волк не режет овец, где живет, пора бы знать лесные законы, в лесу живешь.

- Да не волк ты!- как-то с болью вырвалось у Бузаева.- Зачем же так-то себя дерьмом мазать?

Он вдруг подумал о годах, проведенных Конорезовым в лагерях, и ему по-человечески стало жаль Павла.

Терпимая работа у Павла. Иногда сгорит вставка или порвут лесиной провод – вот и все дела. В ночную, когда нет начальства, можно вздремнуть, сделать кому-нибудь вешалку или подставку под сковородку из медной проволоки. Если попросят – подшить пимы. Отказывать не умел, да и время бежало быстрее.

Бузаев не обманул. В первую зарплату Конорезов получил восемьсот рублей. В приподнятом настроении зашел в магазин, купил продуктов, бутылку водки, сапоги. Домой заявился с полными руками гостинцев, с шумом:

- Принимай, батя, подарки! Вот кони тебе купил,- бросил к отцовским ногам тесемкой связанную пару сапог.

Кирзачи черно-торжественно блестели на дневном солнце, и отец, пряча радость в усы, вдруг засуетился, зачем-то выбежал в сени, вернулся, длинно высморкался в ведро с золой, никак не мог впопыхах развязать тесемку.

- Зачем мне-то, я и так обойдусь, в галошах, тебе на работу надо, пройтись в выходной. Не надо мне,- скороговоркой говорил он, однако сунул ногу в сапог и усердно тянул голенище.- Как на меня, едри ее мать...

- Вот и баста,- ответил сын,- подарок с первой зарплаты. Ты ведь всю жизнь шабашил на себя и пенсии не заработал. А теперь за рубон.

Никогда старику Конорезову не было так хорошо. Наконец дождались получки, наконец-то младший сын берется за ум, стал работать. Так и пенсию может заработать. И дома не сидит без дела, то в спальне заменит подгнившие от сырости половицы, отец-то ведь старый, то посадит на петли огородную калитку, то намахает поленицу дров. Неужели в их несчастливый дом пришли семейный уют и человеческое тепло? Пашка – парень услужливый. Если не попадет шлея под хвост, не свяжется с трижды проклятым своим воровским делом, хозяином добрым станет. Он и поможет, и пожалеет, последнюю рубаху отдаст с плеча, если надо. «Помоги же ему, Господи,- молил Бога старик,- стать человеком, пожалей ты его и старость мою недостойную!»

- Чего задумался, отец, давай выпьем в честь праздничка,- весело предложил сын,- брось свои кислые думы. Скоро заживем, как надо. Я уж и бабёнку присмотрел – буфетчица в чайной, баба при выгоде, насчет пошамать не подведет. Вот так, старик, жить в этой жизни можно, если с умом.

- Как же, как же, рази нельзя,- согласился отец.- Возьми вон Виктора Егорыча – голова, почет. А не остановись он тогда – из тюряги бы не вылезал, пропал бы.

- Чо вы все носитесь с ним?- недовольным взглядом сверкнул сын.- На работе – Виктор Егорыч, дома – Виктор Егорыч!

- Тебе ведь добра хотим,- обиделся отец.

- Ну, хрен с ним, не сердчай,- успокоился Тёна.- Давай лучше за тебя выпьем. А выстрел грянул громко – Мурка зашаталась и упала навзничь на песок,- пропел он, наливая в стаканы.

И отец снова подумал с надеждой, что сын уймется, хозяином станет. Тёна и, правда, унялся. Аккуратно ходил на работу, в выходные дни звал соседского мальчишку Женьку Кашигина на охоту. Тот приходил чуть свет с длинноствольной,

старой переломкой за плечом, которая едва не касалась земли, с завернутыми в чистую тряпицу кусками хлеба и сала, сунутыми за пазуху, робко брал за плечо еще спящего Тёну:

- Паш, вставай, дичь вся разлетится.

- А-а, охотник пришел,- весело поднимался Конорезов, будто и не ложился, и, как равному, подавал руку.

Женька садился на лавку, ждал, пока Павел брэнчал умывальнойником. С интересом разглядывал самодельные ножи, светил через окно фонариком на снег в палисаднике.

- Нравится?

- Нравится,- неловко отвечал Женька.

- Тогда бери, дарю.

- Не надо,- пробовал тот отказаться, но глаза азартно блестя,- если бы за деньги – взял.

- Бери-и! Тёна не жалеет для хороших людей.

- Спасибо, Павлик!- радостно восклицал Женька, благодарно и преданно глядя в глаза.

Они становились на лыжи, торопливо скользили к лесу, направляясь к Грязям – небольшим болотам, избитым заячьими тропами, зорко всматриваясь в снежную гладь. Вдруг где-то сбоку, откуда совсем не ждали, взрывался снежный комок, и, петляя между кустов, неся длинноухий лохматый заяц-русак. Женька от неожиданности вскрикивал, хватался за переломку, долго скидывал варежку, палил в кусты, падал с лыж.

- Ушел, ушел, Павлик!- кричал восторженно, перезаряжая ружье.

Конорезов вскидывал двустволку, секунду ждал, держа пальцы на спусках. «Чау-чау!»- распарывали морозный воздух выстрелы, и Женька вместо охотничьего пса во всю прыть летел на коротких лыжах туда, где, кувыркнувшись несколько раз, русак вспарывал рыхлый снег. Приплясывая на лыжах, нервный и возбужденный, паренек метался туда-сюда.

- Ты так всех косых распугаешь,- замечал ему Павел,- не суетись.

Когда Женька возвращался с пустыми руками, по-мужски хмуря бровь, сердился. Тёне было потешно и жалко смотреть на него. Он клал руку на плечо, отечески успокаивал:

- Не грусти, кентяра, придет время твоей охоты, парень ты заводной, моторный. Э-эх, в воровском бы деле далеко пошел.

В который раз он осматривал его с головы до пят, останавливал взгляд на руках. Пальцы длинные, как у музыканта, тонкие черты лица, умный, пытливый взгляд выдавали будущую интеллигентность. Хороший бы карманник из него вышел, гроссмейстер по тонким кражам. В его душу вдруг поселялась непрошенная тоска по чему-то утраченному, ушедшему.

- Возьми себе зайца-то,- предлагал с улыбкой,- неудобно охотнику без добычи,- и его пронизательные глаза вдруг добрели.- Бери-бери,- предлагал он стыдливо опустившему голову Женьке.- Когда-нибудь и ты подкинешь лишний кусок старому ворюге.

- Паш, ты не бойся, я не останусь в долгу,- старался убедить его подросток.- Паш, а в тюрьме тяжело?

- Вот отволокёшь срока два, тогда узнаешь, что такое свобода.

В долгу Женька не оставался. То принесет кастрюлю солевой капусты:

- Возьми, не солили ведь. У нас-то много.

То кусок мяса.

- Зачем ты?- спросит Тёна.- Отец заругается. Он в войну меня чуть за курицу не убил. Припомню когда-нибудь я ему!- скажет со злостью.

Женьке стыдно за отца и жалко отца. Он краснеет.

- Зачем последую-то нарушил? Семьица у нас, жрать нечего самим было. «Припо-омню!» Пятеро нас, мужиков-то, дружно возьмемся – всю деревню разгоним!

- Ух, ты, мужик нашелся!- хохотал Тёна, прогоняя гнев.- А мясо не возьму, батя будет ругаться.

- Бери-и, бери, мы быка зарезали, жалко разве. Люди ведь,- откровенно смотрел в глаза.

У Тёны вдруг сжималось сердце от нахлынувшего незнакомого ранее чувства. Он видел что-то общее в себе и Женьке, чувствовал какую-то связующую людей нить. Тогда казалось, что не все подло и зло в этом мире.

- Спасибо, брат!

Он трепал Женьку за черный чуб и думал, что нелегко будет такому доверчивому и наивному в этом человеческом лесу, где надо быть хватом, уметь постоять за себя.

Как и все, зажил Тёна. С работой справлялся. К праздникам премию получал.

- По благу, что ли?- спросил у Бузаева.

- Заработал – и дали. Нелишни они тебе, пока твердо на ноги не встанешь.

- Тогда спасибо,- поблагодарил с усмешкой.

- Трудись на здоровье,- парировал главный механик,- да в бутылку не лезь, не в лагере ведь правоту качать, среди людей живешь, а они всегда помогут в трудную минуту. Спасибо скажешь потом.

Все чаще Павел заходил в леспромхозовскую чайную. То за куревом, то обед закажет, будто невзначай, слово за словом заговорит и разговорится с Тоськой-буфетчицей. Тоська – бабенка с косинкой на один глаз. Но пышненькая, как подушка, миловидная, хотя не первой свежести, замужем побывала. Нос у нее особенный – прямой, к концу острый, немножко внутрь загнут, будто клюв у ястреба. Ноги икростые, длинные и красивые. Заприметила и она его. Взгляд суровый, пронзающий, но глаза голубые, отходчивые, нет-нет, да и промелькнет в них тень доброты, уважения. А что больше нужно деревенской женщине, пусть даже леспромхозовской буфетчице? Тоже ведь не нецелолванная девочка, давно отсмотрела розовые сны, была в переделках, видела Крым-рым и прочие местности.

Тоська то кусок ему получше сунет, то колбасы побольше подбросит, то из кухни принесет добавки.

- Ешь, Паша, горячий борщ-то, небось, проработался с лесом-то.

- Спасибо, Тося,- поблагодарит он.

Приглянулась она ему. Пусть и косенькая немного, но душа женская – прямая, отзывчивая и добрая. А он редко видел такое, растя без матери, скитаясь по колониям, не до доброты там, каждый норовит объегорить, придавить, чтобы самому вольготней жилось. А если вякнешь без поддержки, без «мазы», так и дорого поплатиться можешь. Только в «трюм прыгай» - просись в другую колонию, хотя и там смогут достать. Вот и не спи ночи, жди расплаты.

Приглянулась ему Тоська, да и чего лучше искать: у самого характеристика не комсомольская, ночью встретится кто из селян в лоб – ломанет в сторону с перепугу, будто от волка шального. А эта симпатии выказывает и при деле находится. По миру с такой не пойдешь, без куска хлеба спать не ляжешь. И он мужик пробивной, себя не обнесет при случае. Стал он к ней домой захаживать. Когда в кино сходят, в подкидного дурака поиграют. Иногда до утра останется. А однажды сказал:

- Хватит мыкаться. У нас такая домина пустует. Вместе легче будет. Собирай барахло.

Сказал уверенно, будто не сомневался в исходе.

- А получится у нас, Павлик?- только и спросила.- Сестрёнка ведь со мной.

- Получится. Жалеть тебя буду, нежить. А Нинке тоже замуж пора.

Немного вещей у одинокой женщины. Взял он чемодан, она – две сетки с посудой – вот и все богатство. Да не в богатстве дело, нетрудно его нажить, если взяться с умом. Главное – в человеке, в том, что по-другому пошла жизнь в конорезовском доме. Большой и старый, он как бы помолодел, обновился. Неделю отмывала, оттирала пол, столы, табуретки. Повесила новые занавески на окна. Теплей, уютней стало в избе, приветливей. Даже соседи нет-нет, да и забегут на минутку, будто



дело какое. А сколько уж лет не бывали. А Женька Кашигин так с утра до вечера пропадал, словно медом там намазано. Все ему интересно, все не так, как дома. В другой раз и ночевать оставался.

И Тосе спокойней: не боится вечером идти с выручкой – кто с таким мужем отнимет! А Павел, проходя по улице, стал выше держать голову и не так пристально сверлить взглядом прохожих.

Но больше всех обрадовался отец. Теперь он спал на чистых простынях, был вовремя накормлен, ходил в заштопанных, выстиранных носках. Он словно помолодел лет на десять, и когда проходил мимо сидящих на лавках соседок, еще нестарые вдовушки почтительно кланялись и о чем-то долго шептались.

## 7

День за днем текла жизнь. Кончилась зима, наступило лето. Зелень кругом, глаз радует. Тепло. Весной Конорезовы копали в запущенном огороде, посадили лук, картошку, собирались купить капустной рассады, но Павел сказал однажды:

- Да ну ее к черту! Осенью купим на солку.

Он вдруг заметил, что с тех пор, как зацвела, ударила в нос белой пылью, дурманом черемуха, что-то случилось в его душе, будто какой механизм вверх ногами перевернулся. И захотелось ей чего-то особого, не то томительно-сладкого возбуждения, не то психологического взрыва, как это случается иногда с уставшими от однообразной жизни людьми. То он целыми днями валялся в постели, то вдруг просыпался среди ночи, выходил в сени, садился на порог у открытых дверей, курил одну за другой папиросы, уставившись в одну точку, прислушиваясь к ночным шорохам. Его тянуло куда-то, так звало, что посасывало под сердцем и мутилось в голове.

- Что с тобой?- тревожно спрашивала Тося.- Стряслось чего или жена надоела?

- Ну что ты, разве может она надоест?- успокаивал он.-

Кому война, кому тюрьма, кому хлеба закрома, а мне – милая жена,- пытался отшучиваться, улыбаться, но улыбка была натянутой, не искренней.

И чтобы захлестнуть эту тягу, он стал пораньше заходить за ней, брал графинчик с водкой, садился в дальний угол, не спеша, опрастывал его, дымя папиросами между рюмками. Иногда к нему приходило хорошее настроение, тогда он снова пел:

- Жила-была Мурка – девочка блатная...

Иногда оно больше портилось. Тогда взгляд мутнел, глаза наливались кровью, подозрительно шарили вокруг, пока не останавливались на каком-нибудь изрядно подпитом лесорубе, которого официантка просила очистить помещение. Лесоруб упирался, бранился, и тогда неслышной, кошачьей походкой подходил красный от водки и возбужденный от злости Конорезов.

- Долбать мой рот, пойдем выйдем!- сквозь зубы цедил он, и на его скулах нервно дергались желваки.- Баклан!

Но Тося была начеку, тут же вмешивалась, оттягивала его, а хмельной лесоруб, вдруг увядший и отрезвевший, хватал шапку в охапку и выскакивал за порог.

Тёна кое-как успокаивался, садился за стол, ждал, когда жена подсчитает выручку, но его руки все еще нервно подрагивали, метались туда-сюда, не находя места, то ныряли в карманы, то ложились на стол беспокойными рыбинами, хватали и сжимали стальную вилку. Он еще не признавался себе, боялся признаться, что чувствовал, что начинается все сначала, словно приступ падучей. Он крепился, боролся с тем душевным зовом, зная наперед, что не выдержит этой борьбы, рано или поздно уступит – он слабее того зова. Ему хотелось забыться, занять себя чем-нибудь большим и серьезным, что бы отнимало все силы и время. Его тянуло поделиться с кем-нибудь, сходить к Бузаеву. Однажды он даже пришел к нему, заглянул в кабинет.

- Заходи, Павел, что у тебя?- пригласил механик. Но пригласил, как показалось Конорезову, с неприязнью, для вида.

- Да так я, насчет пускателей хотел узнать,- смутившись, соврал он.

- Вчера привезли, выпиши требование и получи. Что-то вид у тебя. Ничего не случилось?- и вновь неискренне, для приличия.

- Все ништяк,- опять соврал Конорезов.

Как, как сказать Бузаеву о таком? Разве скажешь, а где же мужская гордость? Придешь и распустишь нюни, старый вор. Да тебя любой баклан засмеет, оправдывался Тёна. И Виктору, видать, до лампочки твои беды. Небось, своих забот невпроторот?

Все началось с мелочи. Зашел как-то вечером Женька Кашигин с дружкой Мишкой Шараповым. Сидели у ворот на скамейке, болтали о том, о сем.

- А что, уркачи, уже огурчики поспевают,- сказал Тёна мальчишкам.- Наверно, в огороде у агронома Теплова уже хорошие. Может, маланку сверкнем?

- У нас есть, я принесу,- простодушно признался Женька.

- Волка ноги кормят, а не подачки,- возразил Конорезов,- запретный плод-то вкусный, собака. Иль струсили, урки?

- Чо струсили-то, никогда не сверкали, что ли!- прихвастнули мальчишки.

Прихватив мешок, вышли на зады. Присев в бурьяне, прислушались. Никого. Поднялись. Одного за другим пересадил через плетень мальчишек, следом сам перелез. Пробрались к огуречным грядкам.

- Осторожней шарьте, плети не поломайте, шухару меньше. Кладите за пазуху или в фуражку, потом в мешок. В панику не бросайтесь, чуть чего – ложитесь в картошку,- учил их.

Полмешка нарвали отборных молодых огурцов. Подошли к плетню. Опять Тёна пересадил мальчишек, подал мешок и только потом перелез сам. Домой пришли через его огород. В кухне скинули на пол мешок.

- Соли, Тоська, огурцы, захотелось что-то малосольных.
- Где взяли-то?- тревожно спросила жена.
- Женька из дому принес. Урожай у тёти Мани,- соврал

Тёна, не моргнув глазом.

Был он веселый и по-детски довольный, будто праздник явился в душе. Вскоре завалился спать и сразу заснул. Проснувшись утром, корил себя за минутную слабость, пытался успокоить, мол, так это, несерьезно, ради детской забавы. В колониях и на пересылках ему приходилось встречаться со многими чудаками, ворами «в законе» и мелкими жуликами. Был в Воркуте старый вор дядя Петя. Человек безобидный, добрый, но без кражи не мог. Хоть портянки, да украдет. Как ни прячь, ни старайся, хоть всю ночь карауль – не поймаешь. Утром подойдешь к нему:

- Дядя Петя, отдай портянки.

- А-а, проворо-онил, карась!- радостно восклицал он.- Это чтобы бздительными, то есть бдительными были. Возьми в изголовье у Чайника.

На него не сердились, не били. Что возьмешь со старого человека, воровского гроссмейстера? Да и воры его уважали, отмазывали.

Другой был в Казахстане, татарин Анвар. Молодой, но бывалый и ловкий. Проснешься ночью – он неслышно ходит вокруг стола, положив самодельный нож. Тихо крадется, на нож не глядя. Резкий взмах руки, будто росчерк, и нож в кармане. И идет Анвар, как ни в чем не бывало, отрабатывает мастерство, готовится к воле.

- Вот почему не спалось тебе, старый вор,- говорил он себе.- Дорого обойдутся эти огурцы. Дешевка, по мелочам работаешь! Позор всему воровскому миру – Тёна, вор в законе, перешел на маланку!

И началось все сызнова. Давно заметил Тёна, что заискивают, ищут дружбу с ним Федька Козловский, стропальщик леспромхоза, и его приятель Борька Подколзин по прозвищу Кияля.

Федьку он знал давно. Еще в войну тот водился со щипачами, не проходил мимо, если плохо лежало. Но больше его тянуло к хулиганам – бакланам. Федьку побаивались в поселке. Кривоногий, с залысинами на угловатой голове, он вел себя вызывающе, смело вступал в драки. Судьба миловала его, в колонии не был. В последнее время крутился возле Тоськиной сестры – Нинки, девчонки видной, с городской прической. Катал по пыльным улицам на новом зеленом Иже, не раз привозил к Тоське.

Борька-Киля – парень симпатичный, чернявый, лет девятнадцати. Носил брюки-клёш, ходил, пританцовывая, поднимая обрямканными штанинами пыль. Часто менял работу, услужничал, ужом вился вокруг Федьки. Если надо, заводил драку, а Козловский был тут как тут.

«Шестерка», - сказал как-то про него Тёна. Но Федька ему приглянулся. Слышал, однажды в Пеганове из хорошего переплета вышел Козловский. В кружок взяли его местные ребята, но не сробел. Вперед, назад, налево, направо бил в зубы угловатой, как ящик, головой, потом перемахнул через кого-то лежачего и был таков.

- Счастливчик,- признался Тёна,- колобком станешь.

Все чаще пересекались их пути-дороги. То на работе встретятся, посидят, покурят, то в чайной за одним столом окажутся. В другой раз на мотоцикле в соседнюю деревню поедут.

- Не к добру это,- забеспокоился Пашкин отец.

- Что-то высматривают, вынюхивают, хмыри,- заметил новый участковый Иванов.- Поджидай, лейтенант, подарка

А они совсем сдружились, друг без друга не могут – не разлей вода. По ночам пропадают где-то, а в выходные собирают сумку с выпивкой и, прихватив Тоську с Нинкой, уезжают в ближайший лесок, что примостился рядом с дорогой, неустанно бегущей в высокой ржи. Расстилают скатерть, вытаскивают богатые закуски – буфет свой, что хотим, то и едим. Все наше. И не с высокими должностями, а господа! А не хватит – быст-

ро в чайную скатаемся, ключи всегда при себе. И закрутилось, пошло, поехало: «Жила-была Мурка – девочка блатная...»

Цыганочку не плясали – возраст не тот и время хромовых сапог на исходе. Стоит ли шуметь на весь лес, когда у каждого куста могут оказаться уши? Зато разговоры деловые, слова смачные – «срок волок», «волчара», «мусор».

Иногда их подвозил на отцовском «козлике» Женька Кашигин. Вина он не пил, но с открытым ртом слушал воровские байки, многих слов не понимал, «не сек по фене», как говорилось, отчего они казались еще загадочнее и интереснее.

- А хотите – ломанём сегодня квартирку?- хвастливо спросил однажды Борька-Киля.- С наваром придем. Хозяев дома не будет. Выставим шибку, малыша вон просунем,- показал на Женьку,- и вся любовь. Ты хочешь, малый, быть уркой?- спросил у Кашигиа, потирая потные ладони.

- Вы, бакланье, этого пацана не троньте!- заступился вдруг Тёна, презрительно глянув на Килю.- Рано ему по тюрягам скитаться.

- Да пошутил я, Паша. Век свободы не видать, пошутил,- оправдывался Борька.- Давай лучше вмажем за клевое дело. Карась тут один прибыл, направо-налево сорит валютой. Залетный, с Севера.

- Знаю я ваши шуточки. У меня они не пролазят, не у Проньки.

Тёна сердился, но выпил, откусил кусок колбасы, пожевал лучину, потом сказал Женьке:

- А ты, брат, канай домой, рано тебе по малинам таскаться. Вечером отвезешь нас с Тоськой.

Женька пошел к мотоциклу, завел.

- Постой-ка, Женя!- крикнула Тоська.- На хоть конфет. Не связывайся ты с ними, затянут в кражу, всю жизнь изломают,- пьяно шептала, целуя мокрыми губами куда-то в ухо. Из глаз ее выкатывались слезинки, падали мальчишке на плечо, за ворот. Он неприятно ёжился, ему тоже вдруг захотелось запла-

кать.- Ведь затанули, затанули меня, пропала я, Женя, посадят меня, дуру, о-ох, поса-адят...

Женька слез не терпел и, чтобы самому не разреветься, рывком включил скорость, выскочил на дорогу и запылил в сторону поселка. А в лесу хрипло пели:

А море в Сочи волной хлопочет,  
И сердце урки девчонки хочет,  
Девчонки просит, любви так хочет,  
А море в Сочи волной хлопочет...

## 8

Странное чувство было у Тёны. Нет, он не клял себя за кражу, не проклинал те почти тридцать лет, что отдал колониям. Не идут они ни в какое сравнение с волей, да ведь сам знал, на что шел, нечего теперь и локти кусать – не достанешь. А старому вору это совсем не к лицу. Вор – человек особый, живет и думает по-другому, не как остальные. И психология у него не как у других, особая, сложная, тонкая, как и работа. Настоящий вор – большой мастер, стратег, психолог, думал Тёна, одиноко лежа на кровати, часовых дел мастер ему и в подметки не годится – ремесленник с воткнутой в глазницу лупой. А у вора глаз – прибор. Ошибись на самую малость – и отхватишь не разменянный червонец, а то и Богу душе отдашь, если на горячего попадешь.

Срок не смущал Тёну. Если уж разобратся на совесть, то все по закону. Смущало другое: судили его почти всегда по мелочевке: то за дешевые простыни, то за драку. И если нама-тывали срок, то потому, что проходил как рецидив, что раньше судился. Всегда его затягивало туда, куда уважающий себя вор не пойдет ни за какие деньги, ни за какую свободу, даже если сам районный прокурор закроет на это глаза. Уважение профессии – вот главный принцип настоящего вора.

- А ты настоящий,- спрашивал он себя,- или суррогат, смесь баклана и фармазона? Не гнушался ты ни мешка пшени-

цы, ни контейнеров с детскими распашонками. Там, в лагере, ты выжил те тяжелые пятнадцать лет, а стоила ли того охота, в которую втянули тебя щипачи? Ты, старый волк, у кого пошел на поводу?

Он сознавал, что тот год был самым лучшим из лет, прожитых на свободе. Худо ли, бедно ли, а жил по-нормальному, своей семьей, хотя и в законном браке не состоял. Где она теперь, семья? Отцовы и косточки сгнили. Тоська тоже покати-лась в яму, пока не одумалась, не уехала за тридевять земель, чтобы уж никогда не встретиться со своим непутевым возлюбленным. И, пожалуй, нашел бы ее, но устал от всего, на покой потянуло. Но покоя не стало.

- Как же вышло все это тогда?

Как набежавший вихрь залепляет глаза, сбивает с пути, влечет за собой, так и воровская страсть, этот томный весенний зов, когда дурманом запылили черемухи, увлекли за собой Конорезова. Началось вновь с огурцов, с машины строевого леса, ночью вывезенного Федькой Козловским, когда на лесозаводе почему-то неожиданно погас свет, с графинчика водки, взятого в буфете у Тоськи. Это он понимал сейчас отчетливо, как понимал то, что был на свободе.

- Мелочишься, Тёна,- смеялся он по утрам. А вечером уже не мог осадить себя, отступить, будто бес вселялся внутри, правил им, как хотел.

Беда пришла неожиданно-негаданно. Утром закрыли чайную на ревизию. Увидев ревизора, Тоська ахнула и схватилась за сердце. Не ожидала она, перехватила бы деньжонок, покрыла недостачу. Хотела, было, выскочить в магазин к знакомой продавщице, но ревизор, сухой, маленький, как гороховый стручок, старик, замахав руками-ногами, велел запереть двери на ключ.

- Крупная недостача у вас, деточка!- сказал он весело, будто радовался чужому горю.

- Не может быть,- опустил глаза, возразила она.



- Конь о четырех ногах, и то спотыкается,- с надеждой проворковал старичок,- пересчитаем, авось ошиблись на старости лет.

Несколько раз перевесили конфеты, колбасу, пересчитали консервные банки, бутылки с водкой, переложили весь товар в складе, пересмотрели фактуры, накладные.

- Шесть тысяч не хватает, деточка, что прикажете делать?

- Не может быть!- не поверила растерявшаяся буфетчица.

Она догадывалась, что недостача будет, но чтобы шесть тысяч! Полгода надо бесплатно работать. Где взять такие деньги? Продать пальто, плащ, часы, наберешь ли? И останешься, в чем мать родила. Судить ведь будут, посадят! Она нервно заметалась по чайной, как ласточка в клетке. А там уже Павел в окно заглядывает, беспокоится, услышал, что неладно у нее. Махнула ему тихонько рукой, чтобы ревизор не видел, иди, мол, потом расскажу, дома. Сейчас еще раз все бумаги проверю, может, с какой неладно чего, мало ли случается, товар возят издалека, все спешка, все бегом.

Поехала в контору сельпо в Пеганово, заглянула в склад, спросила у экспедиторов – никто ничего не знает. Добейся теперь у них, скажут, как же! Каждый только надуть норовит. Что же делать-то? Сроду такого не случалось. Как-нибудь да выкручивалась. А тут врасплох захватили. Никак, стукнул кто, куда следует. Как же так, что же будет?

Забрали у нее ключи, отстранили от буфета. Вечером все выложила дома, плакала-убивалась, жаловалась Пашке на свою невезучую судьбу: он со своими дружками подстроил, выдоил ее, как колхозную корову, под суд подвел. Стыда, стыда-то не оберешься теперь!

- Не реви, Тоська, слезами горю не поможешь,- успокаивал Тёна.- Не дам я тебе погибнуть, падла буду, достану гроши, могилой матери клянусь! Ты знаешь, я слов на ветер не бросаю, не трепач. Через неделю принесу, прямо на белом подносе с красненькой каемочкой, как Остап Бендер. Так шесть кусков и

принесу. Выкрутимся как-нибудь, откупимся, не я буду.

Днями Тёна на работе, а ночами все пропадал где-то с Федькой и Килей. Тоська ни за что не бралась, руки не поднимались. С утра до вечера лежала на кровати, плакала. Вспоминала бедное детство. Дед не тревожил ее, не показывался на глаза, не лез в чужое дело. Лихо на душе у Тоськи, жить не хотелось. Собралась руки на себя наложить, да вдруг пришел Женька Кашигин, сел рядом с кроватью, смотрел печально. Жалко ее мальчишке.

- Что ты, Женя?- спросила сквозь слезы.

- Да вот... молока тебе принес, прямо из погреба, холодное. Ты попей, Тося, а. Помога-ат шибко.

- Спасибо, Женя, добрая ты душа,- протянула ему вялую руку.

- Своя корова-то, жалко, что ли?- будто оправдывался он, глядя ее руку, словно совсем маленькая она, несмышленная, словно дитя успокаивал.

А она совсем разревелась, навзрыд:

- Пропала, Женька, я, о-ой, пропала-а-а!

Стала губы кусать, нервно биться всем телом. Испугался Женька, выскочил во двор.

- Дядя Федя, дядя Федя!- закричал ошалело.- С Тосей неладно, плохо ей, давит ее...

Вбежали в горницу. Женька схватил кринку с молоком, плеснул в кружку, крикнул деду:

- Держи руки!

Поднес молоко ко рту. Тоська стиснула зубы, не вольешь. Вспомнил, как когда-то старшего брата на свадьбе от браги давило, ложкой тогда разжимали зубы. Сбежал к залавку, схватил алюминиевую ложку, сунул в угол рта к коренным зубам: «Держи, дядя Федя!» Лил потихоньку из кружки, молоко на подушку текло. Но вот раз, второй глотнула Тоська, наконец, разжала челюсти. Подняли голову выше, выпоили всю кружку. Реже вздрагивать стала, успокоилась потихоньку. Накрыли

ее теплым одеялом, запосапывала, уснула. В первый раз после ревизии уснула.

Утром чуть свет пришел Женька. Робко поскреб в дверь, открыл одну половину, заглянул в спальню.

- Здравствуй, Тося, как жила-ночевала?- спросил твердым голосом, будто не видел ее вчера мечущейся на кровати.

- Спасибо, Женя, уснула я вечер, успокоил ты меня.

- Я вот чо ночью удумал, Тося. Мотоцикл продать. Он, конечно, отцов, но можно что-нибудь придумать. Много за него не дадут, новый стоит две тыщи, но куска полтора дадут,- сказал он, покраснев на слове «куска».

- Не надо, Женя, как-нибудь сами.

- Ты не бойся, подумаешь, батя отлупит. Вытерплю. Да и Павлик придумает что-нибудь, знаю, в беде не бросит.

- Поможет, Женя, поможет. Только слов блатных не перенимай от них, не личит тебе.

- Ладно,- пообещал он и поднялся.- Ты не переживай, устроится. Я вечером забегу.

Он постоял немного, протянул руку, погладил ее по голове и убежал.

Поздно вечером вернулся Тёна. Уставший, заросший, с налитыми кровью глазами.

- Пляши, Антонина, половину принес. На днях принесу другую. Выкрутимся, не в таких переплетках бывали.

Сняв легкие тапочки и не раздеваясь, завалился в постель. А через три дня они пошли на дело. Наводил Борька-Киля. К старухе Рычковой приехал какой-то дальний родственник. Сказал, что с Севера, с заработков. Он кутил и сорил деньгами. Раз в неделю исчезал, возвращался с последней электричкой, снова кутил.

- Денег у него тьма!- азартно говорил Борька.- Котлы золотые, зубы в коронках, лепень с иголочки. В общем, по фразам. Бабка сказала: завтра с аккредитива поедет снимать – в Сочи собрался. Колупнем – на всех хватит. Встретим в хутор-

ском переулке. Мы сзади погоним с Федькой, ты будешь на перехвате.

- Закон, урки, заметано! Утопающий за соломинку ловится. Но смотрите, дешежку не прощу.

Когда подошла электричка, они стояли у переулка. Глянули на огни: кто-то двигался.

- Он!- шепнул взволнованный Киля.

- Я канаю в тот конец,- ответил Тёна и неслышно исчез в темноте.

Затаившись, стоял у плетня, напрягая зрение, слух. Еще не видел, но чувствовал нутром, слышал, как добыча подходила ближе, вот-вот войдет в переулок. Радостно и тревожно заняло в груди, будто впервые такая работа. Со сладкой дрожью застучало сердце, ударила кровь в виски, дрожь дошла до коленей. И так вот всегда, какой бы раз ни ходил на дело. Вот он, манящий трепет, вот она, работа вора!

Расслабился на секунду, дернулся телом, словно хотел сбросить лишнее, снова замер. И вдруг на том конце переулка послышался тупой щелчок, треск плетня и глухой удар о землю, будто свалился мешок. Готов, с облегчением подумал Тёна и собрался двинуться туда, как вдруг услышал быстрый топот и пронзительный крик:

- Тё-она-а!

Прямо на него бежали двое. Первого он узнал – Килю. Второй был намного крупнее. Сжав сильнее ремень свинчатки, хотел ударить по голове второго, но промахнулся, попал в плечо, упустив свинчатку. Винтом пошел здоровяк, но тут же выпрямился, вскочил, двинулся навстречу с вытянутой вперед рукой.

«Нож»,- догадался Тёна и отступил на шаг. Его рука метнулась в карман, клацнула кнопка, и он услышал твердый удар пружины.

- Так, говоришь, Тёна? Конорезов, что ли? Лагерный волк? Вот где мы с тобой повстречались! Своих не узнаешь, фуфло.

На разбой перешел. Тебя же в лагере за это повесят...

Что-то знакомое мелькнуло в голосе, но парень тут же бросился на него, стремясь ударить сверху. Пашка кинул в сторону корпус, ударил под руку, назад, со всей силой и почувал, как нож уперся во что-то твердое. В это же время резкая боль пронзила его бедро, и он упал бы, но помог устоять плетень. Упал тот. Он сходу взрыл головой землю, корни крапивы у огородного плетня, затрещал городьбой, захрипел и затих. Тёна ощупал бедро, услышал, как по штанине разливалась сырость, осмотрелся по сторонам. С улицы несмело трусил Киля.

- Готовый, Паша?

- Где Козел?

- Там лежит, крепко он ему врезал!

- Щипачи!- гневно прошептал Тёна, зло сплюнув.

Не спеша, подошли, обшарили карманы, вытащили несколько помятых пятерок, засветили спичку.

- Котлы, котлы надо снять – золотые!- засуетился Киля, расстегивая браслет.- Может, фиксы сдернем? Надо его еще пырнуть, Паша, здоровый, бес, оклемается.

- Молчи, шакалье, вы и душу готовы вынуть из человека!

Он наотмашь ударил Килю по лицу, и тот упал на карачки.

- Паша, за что?

Тёна еще зажег спичку, осветил лицо лежащего и узнал. Подошли к Козловскому, тот сидел, навалясь на плетень.

- Цел?- шагнул к нему Конорезов.

- Вроде цел,- тихо прохрипел стропальщик.- По горлу ударил, пес.

- Пошли,- поднимая его, сказал недовольно Пашка.- Такого кента загубили, вора в законе. Я с ним в одном лагере чалился. На кого наводите, бакланье! Под вышку хотите подвести? Если срок схлопочу – из-под земли достану. Тёна никому не прощает.

Слепыми улицами обошли освещенную станцию. Первым, заметно прихрамывая, шел Тёна. За ним, покачиваясь, Федька

Козловский. Киля плелся сзади. Никто не попался им навстречу, не обогнал, и каждый надеялся замести следы, не попасться. Каждый надеялся и боялся. Но ночь была безлунная, темная и работала на них.

9

Тося встретила испуганно. Уставшая от своего несчастья, от бессонных, со слезами, ночей, она выглядела постаревшей. Левый глаз еще сильнее косил.

- Где тебя угораздило?- с отчаянием спросила, увидев мокрые от крови брюки.

- Зацепился за гвоздь,- ответил как можно спокойней.- Дай марганца промыть.

Он снял брюки, вывернул карманы, бросил в печку.

- Потом протопи.

Она поняла. Найдя марганца, развела и промыла рану.

- Глубокая, кровоточит.

Положив ваты, крест-накрест залепила пластырем.

- Что теперь будет-то?- ложась рядом, сухо спросила.

- Не знаю.

Больше не спрашивала.

- Боюсь я, Паша.

Он не ответил, и она замолчала, положив руку на его шею.

Утром приехал Женька Кашигин. Заглушив у ворот мотоцикл, вошел в избу.

- Долго дрыхнете, соседи! А я поступил в ремеслуху!- похвастался он.- Прошел комиссию и сдал документы. Строителем буду, дома буду строить!

- Сколько лет тебе, Женя?- спросила Тоська.

- Четырнадцать.

- Больно мал еще.

- Лучше на электрика учись,- посоветовал Павел,- работать легче и шабашку всегда собьешь. А там поворочай-ка

кирпичи, потаскай раствор – с пупка сковырнешься.

- Да, чуть не забыл!- подскочил Женька.- Ночью в рычковском переулке мужика порезанного нашли. Родич бабки Рычковой. Говорят, с большими деньгами откуда-то приехал, сорил ими.

- И где он теперь?- встрепенулась Тоська.

- В больницу отправили. Вот уделали мужика,- не унимался парнишка, поглядывая на Тёну. Но ни один мускул не дрогнул на его лице.

- Женька, послужи еще разок, а,- попросил он через минуту.- Воскресенье сегодня, отдохнуть хочется. Поезжай за водкой да отвези нас в лесок.

Кашигин смотался мигом. Потом по одному отвез их в лес. Там раскинули скатерть, разложили закуску, достали бутылки. Взрослые выпили по одной, по другой. День был теплым, хотя время шло к осени. Тёна разделая до пояса, оголив разрисованное татуировкой тело. Чего там только не было! И могила с крестом и надписью «Не забуду мать родную», и бутылка, карты и женщина со словами «Вот, что нас губит», и жалящая змея, и орел во всю грудь, и красивая голая женщина в широкополой шляпе с распущенными, упавшими на плечи волосами, с маленькими точками сосков на крутых грудях. Она сидела, закинув ногу на ногу, вызывающе вытянув левую, на которой красовалась изящная туфелька на высоком каблуке. Казалось, она сейчас спружинит и вскочит, подсядет к закуске, и Женьке захотелось закрыть глаза. Румянец выступил на его лице, но он, наклонив стеснительно голову, все не отрывал взгляда, думал, что жизнь у Тёны была интересной, и в душе слегка позавидовал.

А тот сидел молча, с грустным лицом и неподдельным взглядом. Тоська то и дело услужливо подкладывала ему закуску, подрезала колбасы, сыра, хлеба.

- Ешь, Паша, ешь,- ласково говорила она, словно собиралась накормить на долгие годы вперед, заглядывая ему в глаза.

Но там была могильная тоска. И он вдруг запел хрипло, со стоном:

Не бери во вниманье, что я заключенный,  
Ведь чувства мужские хранятся в груди.  
Тоской и обидой я так утомленный,  
Осталось немного мне ждать впереди.  
Весна наступает, и все оживает,  
И птицы из жарких краев прилетят.  
А вечер прохладный всю кровь возбуждает,  
Когда слышу звонкие песни девчат.  
Давай же подружим с тобой хоть немного,  
Остывшее сердце мое ты согрей,  
Оно заблудилось, не зная дороги,  
Прошу не молчать, отвечай поскорей...

Песня заунывная, нагоняла тоску, переворачивала что-то внутри, вызывая несогласие с чем-то, боль за другую тоскующую душу. У Женьки засосало под ложечкой, вдруг захотелось зареветь, и он часто и резко зашмыгал носом. Потом вдруг поднялся, подошел к мотоциклу, закрыл краник бензобака, открутил его крышку, заглянул внутрь, из стороны в сторону покачал мотоцикл, прислушиваясь к всплеску бензина.

Тоська подседа ближе к Тёне, слегка навалилась на его плечо, обвила руками. «Сколько раз тебе приходилось там петь эту страшную песню?»- подумала она со страхом.

- Упекут нас обоих, Паша,- сказала она,- и будем мы мотаться по этапам. Целой семьей. Хотя я и не зарегистрирована с тобой. Ни жена, ни сожительница, подруга по «малине». Э-эх, жизнь наша – копейка! Прощай, свобода...

Тёна вдруг рывком отбросил ее, схватил граненый стакан с зеленоватым отливом, наполнил до краев водкой и выпил одним махом.

- Падла, что вы знаете о тюрьме, что вы знаете о свободе?- хрипло прокричал он.- Я – вор в законе, а тюрьма мне родной



дом. И этого старого вора покупают на туфте щипачи, бакланы! Не будет мне прощенья в воровском мире. Тёна стал шакалом, пиратом.

Он схватил раскрытый нож, свободной рукой хватал себя за лоснящуюся на груди кожу, оттягивая от тела, и чиркал вдоль ножом, словно бритвой. Пьяные глаза его остекленели, будто застыли. Из ран брызгала кровь на траву, на скатерть с закуской. С искаженным от ужаса лицом Тоська замерла на мгновение, потом крикнула раздирающим душу голосом:

- Не на-адо!

Она поползла к нему на коленях, но он замахнулся.

- Не подходи! Всех напишу!

Она отпрянула назад, за куст, а он, упав на траву, бил себя ножом в руку, в тыльную сторону ладони. Не ожидая такого, Женька замер в испуге, опешил. А когда увидел кровь, вдруг кинулся напропалую с пронзительным воплем:

- Па-аша, не на-адо!..

Низкорослый, худой, как былинка, он налетел стремительно, бросился всем телом на Тёну, схватился тонкими музыкальными пальцами за нож, вырвал, забросил в кусты. И тут же упал, заревел, уткнувшись в траву от увиденной крови, от бешенства Тёны, от испуга. Завздрагивали, затряслись его острые плечи. А в трех шагах от него, стоная, скрипя зубами, катался, хватаясь за траву, вырывая ее с корнями, тычась лбом в кротинные норы, Тёна. И было в этом порыве что-то тоскливо-звериное и безвозвратно потерянное, человеческое отчаяние и душевная боль, среднее между жизнью и смертью, как казалось Кашигину. Что-то общее с разъяренным, красноглазым от крови быком, случайно нашедшим падаль и бешено рвущим ногами землю.

Но вот мальчишка затих, поднялся и подошел, робко коснувшись рукой голой спины Конорезова, дрожащим, умоляющим голосом заговорил:

- Паш, не надо, ну успокойся, чего ты, Паш? Давай пое-

дем домой. Умоешься, забинтуешь. Вон и Тосю перепугал.

- Прости меня, Женька, прости-и старого уркагана,- стонал и хрипел от бессилия Тёна.

## 10

«Коль случилась беда – отворяй ворота, крикнул я: до свиданья, молодка! Здравствуй, каменный дом, мать-старушка тюрьма, и цемент, и замок, и решетка...»- поется в одной старой воровской песне.

Родственник старухи Рычковой умер через несколько дней. Он оказался вором-рецидивистом, разыскиваемым за ограбление сберкассы. Тёну взяли на третью ночь. До угла подъехали на машине, окружили дом, с маху выбили двери и прямо в постели надели наручники. Судили его одного. Федьку с Килей не выдал, чтобы избежать «вышки». На срок не скупилась – пятнадцать лет строгого режима – таков приговор суда. Значит, если не добавят в колонии, выйдет сорока с лишним лет. В этом возрасте молодые да ранние уже становятся дедами, качают на ноге внуков.

Пятнадцать лет – срок немалый даже на свободе. Пятнадцать лет строгого режима – не на блинах у тещи, а за колючей проволокой, за высоким забором, по краям которого вышки, на них люди в зеленых фуражках с красным околышем, с автоматами в руках. Вот она, драгоценная матушка воля, рядом, в пяти шагах, а не птица, не вырвешься, если не хочешь, чтобы по твоей груди полоснула бессердечная очередь, чтобы по твоему следу шли с огромной собакой, которая одним прыжком способна сбить тебя наземь, в ключья изорвать не только бушлат, но и тело, строго замереть победителем, расставив ноги на твоей груди. Какую силу надо иметь, чтобы выдержать пятнадцать лет строгого! Какая воля нужна, чтобы сознательно пойти на это? Почти пять с половиной тысяч дней, каждый из которых не подарок. И посылка раз в полгода, и письмо – долгожданный гость.

И сидишь ты с такими же воровскими китами, про которых сказать разбойники, значит, ничего не сказать. Тут все ребятки битые, умные, стреляные, в рот палец не клади – с плечом откусят.

Все это знает Тёна – за плечами большая школа. Не новичок он, а «в законе». А кто «в законе» - элита, живет кучкой, дружно. Твоя посылка – моя посылка. Да не вздумай пикнуть начальнику – схлопочешь и в «трюм» не успеешь прыгнуть, везде достанем, мелочиться не любим: отхватить, так «четвертак» и знать, за что, украсть, так миллион, переспать, так с королевой. Такова воровская элита, таков непреложный закон, а законы соблюдать надо, ребятки, иначе – пикою поколю, мочкой попишу.

А ты, начальник, работать не принуждай, не мужик я тебе, не в краткосрочную командировку прибыл, а на долгое место жительства. Пять тысяч четыреста семьдесят восемь денечков, их надо выдержать, прожить, чтобы увидеть и понять эту скользкую, как змея, свободу-развратницу, эту милую, подлую бабу, которую каждую ночь обнимаешь во сне. От работы, начальник, конидохнут, трактора ломаются. А я – человек тонкой кости, гроссмейстер своего дела. Уважать таких надо, совсем их мало осталось, переводится хороший люд. Сейчас все за пьяные драки сидят – бакланье, не люди, только под ногами мешаются, лишнюю заботу вам создают.

Год, два, пять отсидел Тёна. Вжился, не первый раз замужем, как говорится. Каждому-то не дастся, «не у Проньки – не пролезет». Да только законы сторожат, и похлебка редееет. Видать, здорово насолили ребятюшки, что и харчами не стали баловать. От посылок тоже не поправишься – за три года вперед в карты проиграны, а больше играть не на что, кроме одного, но это святое, иначе опустят. Да и желающих нет, когда ты в паре и «коваными» картами играешь.

- Что за жизнь пошла, падла!- все чаще возмущается Тёна.- Никакого удовлетворения от нее, никакой свободы деятельности в зоне!

Все чаще мутится от недовольства его взгляд, все чаще он остается сам с собой, один на один. И видит мать, и слышит ее нежные и ласковые слова: «Иди ко мне, мой сыночек, иди, жаворонок светлый. Господи, помоги ему...»

А кто ему помог? И приходит тоска, несказанная, злая, могильная. И хочется выть по-волчьи, протяжно, густо, забиться куда-нибудь в нору и в одиночестве выть. Или б напиться вусмерть, в доску. Чего напьешься-то, чефирнуть бы или выкурить планчик. И зарыдает, заплачет душа, замечется, как ласточка в клетке, ища свободы. И все чаще с губ Тёны срывается, рвет душу на части тоскливая песня: «тоской и обидой я так утомленный, осталось немного мне ждать впереди». Он поет прерывисто, с остановками. Больше похоже на хрип, чем на песню.

И вот он, долгожданный денёк! Целую вечность не был на воле, будто из прошлого века воскрес. От звонка до звонка оттянул. Как выжил, трудно сказать. Еще повезло – не сорвался, не добавили срока, хотя не в санатории был, не с интеллигентами вожжался. Счастливчик, в рубашке родился! «Наверно, в детстве дерьмо ашал», - сказал на прощанье мужикам.

Вышел из ворот, хлебнул свободы, и помутилось в голове, зашатался от счастья.

- Здравствуй, свобода!- крикнул, что было мочи. И дико, исступленно захохотал, и сел у обочины дороги, от радости ковырнул каблуками землю.- Так вот ты какая, подлая бабенка, что снилась каждую ночь, с нетерпеньем звала и звенела в ушах и сердце! Мы поладим с тобой, курвешка, поладим...

Ехал в плацкартном вагоне, лежал на белоснежной простыне, но не спал. Ехал по-человечески, как равный, как гражданин, как человек. «Че-ло-век! Слышите вы? Человек я!» - хотелось крикнуть ему. Он еще не думал, как будет жить, знал только, что хорошо. А в поселке, подходя к дому, вдруг застыл в недоумении. Не было дома. Палисадник их, старый, раскидистый тополь на месте. Где была ограда, стоит новая, недавно

срубленная изба. А где же их, конорезовский дом? Не помещался ли от избытка чувств?

И только тут вспомнил, что отец давно умер, а дом продан Лешке Кудрину. Зашел в палисадник, обнял широкий корявый тополь – последнюю память о домашнем гнезде. Побрел к брату Ваське – через два двора. Обнялись, ударили друг друга по плечу на радостях, присели к столу, задымили папиросами.

- Откинулся, говоришь?- спросил старший брат.

- Все, отволлок, что положено,- ответил с невеселой улыбкой Тёна.

- Тамара, сходи-ка в сельпо,- сказал Василий жене, худой, не по годам постаревшей, длиннолицей и нервной.- А я, слышь, решил ближе к отцовскому дому. Уверенней себя чувствуешь. Купил развалюху покойницы Коновалихи, домик поставил – картинка! Все своими руками, слышь?

И Тёна впервые позавидовал брату.

- А где Тоська?- спросил он, когда вышла сноха.

- Смотралась куда-то. Кровно обиделась на тебя. Ее тогда от недостачи тетка выручила, корову продала. Выкрутилась баба.

- Не дождалась, дешевка!

- А Киля-то, слышь, из ружья застрелился в бане. Федька Козловский куда-то смылся. Женился, ребятишек трое.

- Очко не железное, играет.

Вновь закурили, помолчали, не глядя друг на друга.

- Женька Кашигин приезжает?- вдруг вспомнил Тёна.

- Бывает реденько. Он теперь большой человек, стихи пишет. Был в прошлом году, про тебя спрашивал, слышь?- с шипением, свистом говорил Василий, сверкая полным ртом коронок из нержавеющей стали.

- Не забыл, значит, музыкант? Стишки пописывает. А ведь какой карманник из него мог получиться! Пожалел я его тогда. Как-то читал и запомнил даже.

Он снова помолчал, припоминая, и стал читать:

И в той березовой стране,  
В заречной звонкой стороне –  
В тумане сизом – родина моя.  
И днем, и ночью, и во сне  
Я мчусь на яростном коне  
Туда, где уж давно не ждут меня...

- Будто про меня написал.

Неделю прожил в деревне Тёна. Ночевал у Василия, у сестер, пока не получил паспорт.

- Поеду я, поброжу по белу свету,- сказал однажды.

- Снова набродяжишь. Опять сесть захотел?!- возмутились сестры.

- Цыц, двустволки! Загудели, как осы. Тоську поеду искать. По-человечески хочу пожить.

Куролесил долго по весям и городам. Не нашел. Понял: скрылась от него Тоська, значит, не поверила, устала.

Обидно стало ему. Одиноко. На всем белом свете один, хоть руки наложи на себя. Куда все подевались, какая жестокость!

И вот мучается, второй месяц страдает, не спится ему по ночам. И хочется вскочить от бессилья, схватить острый сапожный нож, распороть горло от уха до уха, бросить людям последний вызов.

Трудно, мрачно, невыносимо ему. Мучается, не найдет места человек, живущий на пятом десятке. Жаль, очень жаль человека. Помочь бы ему, а как? Ну, как помочь человеку?!



# ЗАКОН ТАЙГИ

## I

В понедельник вечером, когда над Сосновкой разбушевалась метель, конопатя тяжелыми хлопьями пазы черных приземистых изб, залепляя снегом оттаявшие после недавних морозов стёкла, в дверь Устюжаниных кто-то тревожно постучал.

- Кто там?- вздрогнув от испуга, проворчала хозяйка, укладывавшая спать детей.- Входите, не заперто,- выскочив в сенцы, сказала она и, чтобы не настудить, нырнула обратно в комнату, сняла с вешалки свой рабочий полушубок, укрыла им поверх одеяла детей, косо глянула на позднего гостя.

- Здравствуй, Клава,- сказал вошедший крупный мужчина, мастер с лесоповала Запевалов.

- Здравствуй, Федотыч, что случилось?- испытующе глядя на него и предчувствуя неладное, с тревогой спросила она и замерла с прижатыми к груди руками.

- Иван-то дома?

- Как дома? На работе. В субботу утром ушел.

- Нету его.- Он недоуменно развел руками.- Нет его на участке!

- Как это нету, ты чо?

- Беда, знать-то, Клава.

И опустил на табурет, стянул мокрые рукавицы, бесцельно глянул на свои крупные, мозолистые, липкие от древесной смолы руки.

- Чо с ним, Федотыч, чо?- подступила она, схватив мастера за рукав полушубка. Но тот что-то обдумывал, молчал, не отводил напряженного взгляда от своих заскорузлых, словно березовые сучья, рук, словно ждал от них вразумительного ответа.

- И Фильки Степанова нет,- добавил, не поднимая патлатой головы.

- При чем тут Филька?- встрепенулась она.

- При том, что поцапались они в пятницу чуть не до драки.

- Ты в своем уме, Федотыч?- вскрикнула хозяйка, и ее глаза полыхнули злостью.

- Я-то в своем, вот они не в своем. Совсем обезумели, дураки. Филька по пьянке болтнул о краже леса, а Иван, хоть и трезвый, в драку кинулся. Хорошо – мужики разняли. Но твой грозился прищучить его. Филька в субботу ушел на охоту. Боюсь, как бы Иван не увязался за ним. Постреляют друг друга, в душу их мать,- распаялся Запевалов, сердито шмыгая носом.- Я им задам перцу, я им устрою баню! Где мне взять таких бригадиров?

От услышанного у Клавы затряслись колени. Она осела на лавку, зашлась слезами. От рыданий ее плечи завздрагивали, на шее в нервном тике забилась проступившая из-под кожи жилка.

- За что такая напасть? А о детях подумал?- сквозь слезы выкрикнула она.- Что же делать-то, Господи! И на работе он сегодня не был?

- Обоих не было.

- Искать ведь их надо.

- Завтра организуем. Да ты не волнуйся, Клава, может, все обойдется,- перед уходом успокаивал ее Федотыч и, переживая сам, беспомощно мял в руках темно-бурую телячью шапку.- Мало ли чего может случиться. Будем надеяться на лучшее.

Он ушел, а она долго сидела, блуждала невидящим взглядом по комнате. Потом, не раздеваясь, прилегла с краю к детям, но уснуть не могла. Ей виделись тайга и Иван с поднятым на человека ружьем. «Нет-нет!- кричала ее душа.- Иван – добрый охотник, а не убийца!»

Всю ночь она прислушивалась к каждому звуку, вскакивала, выбегала в сенки. Двери были прикрыты. Лишь ветер гремел железным листом сарая. Клава разочарованно возвращалась и снова ждала. Ждала с нетерпением и боязнью.



## II

В пятницу, как всегда, Иван Устюжанин приехал с делянки. Долго парился в пахнущей сосновой смолой новой бане, срубленной прошлой осенью. Потом пошел купить на неделю курева. Из магазина вышел вместе со знакомыми лесоповальщиками, троевшими после недельного устатку. Был там и Филипп Степанов, сосед по делянке. Покачиваясь от выпитого, он хвастал Ивану:

- Что, чемпион по валу, в прошлом месяце заткнул я твою бригаду за пояс?

- Мы еще посмотрим, кто кого заткнет,- недовольно ответил Иван.- Или снова припиской заткнешь?

В последнее время он с неприязнью встречал Степанова, мужика видного, но хвастливого и вертлявого, как сорока.

- Нам все равно, что деревья валить, что чужих баб.

- Дурное дело нехитрое. До добра-то не доведет.

- Эх ты, законник! Таким вот рога-то и ставят.

Иван вдруг вспомнил, как Филька, в юности считавшийся ему товарищем, когда-то приударял за Клавкой, и старая неприязнь к Степанову вновь проснулась в его душе, проснулась резко, словно ножом полоснула.

- Уж не ты ли?- вскипел он мгновенно.

- Хотя бы и я. Клавка сбитая, как пружина. А ты все добро творишь и не видишь, как объегоривают на каждом шагу, как зло приплясывает на твоём добре, над тобой же смеется.

- Ты, что ли, объегориваешь?

- Хотя бы и я.

- Засадить бы тебе, стоеросовая дубина, по лбу, чтобы настоящие рога вскочили, да руки марать не охота.

- Давай стукнемся,- стягивая рукавицы, предложил Филька.

- Не ты ли с нашей делянки лесок фуганул?

- Я, не я – дело прошлое, мраком покрытое. Теперь не докажешь.

- И меня чуть в тюрьму не упрятал, скотина!

Он схватил Степанова за грудки, но разом вмешались мужики и разняли.

- Заткнись, помело!- рявкнули на Филиппа.

- И ты хорош, слушаешь пьяные бредни.

- А чо он, трепло поганое...

От обиды и злости Иван чуть не задохнулся.

- Я объегорил его,- бормотал пьяный Филька.

- Подловлю я тебя в лесу, объегорю,- зло процедил напоследок Иван, сворачивая к своему дому.- И как лазить по чужим капканам припомню.

Он попил чаю, молча покурил в приоткрытую очажную дверцу, укрыл потеплее детей, разметавших во сне ручонки, разделся и лег, ткнув рукой жену:

- Подвинься, пружина.

- Ты чо такой смурый?- удивилась она.

- Я ему объегорю!

- Кому – ему?

- Бывшему твоему воздыхателю.

Он тут же уснул сном здорового человека. Но проснулся чуть свет, долго ворочался, вспоминал вчерашнее. Ссора с Филькой ясно выплыла перед ним, отчетливо помнилось каждое слово, и вновь в душе, будто ножом полоснуло.

- Заткнет он за пояс, хвастун! Кишка тонка,- недовольно ворчал в сердцах.

Жена его крепко спала, похрапывая с посвистом, а он, сам не зная, зачем, поднялся, не зажигая света, пошел на кухню, да в темноте запнулся за чугонок с водой, стоявший у печки. Тот опрокинулся на половик, а Иван, застонав от боли, тихо заматерился.

- Так тебя перетак! Дрыхнешь, словно медведь. Я вот до тебя доберусь!- полушепотом стращал он спящую жену.

Потирая ушибленные пальцы, он сел на табурет, заговорил сам с собою:

- И чего вызверился, дурак? Пятнадцать лет прожил – не материл. Что-то неладно со мной. Не-ст, надо в лес подаваться, от греха подальше.

Он еще не знал, куда пойдет: на охоту или участок. Но быстро собрался, снял с печи валенки, натянул полушубок, рассовал по карманам курево, тихо вышел, встал на лыжи и покатил мимо рубленых домиков. Поселок еще крепко спал. Ни из одной трубы не курился в смирное лунное небо дымок, и в душе его отлегло: самый первый поднялся, радостно подумал, удлинняя шаги и певуче поскрипывая снегом.

На участок он пришел еще затемно. Воткнул в снег у входа в избышку лыжи, обмел щетинистым голиком валенки, дернул заледенелую дверь.

- Спишь, Сергеич!- бросил прикорнувшему на топчане у печки сторожу.- Медведь в берлогу утащит.

- Ась?- испуганно вскочил седобородый сутулый старик, протирая кулаками заспанные, выцветшие глаза.- Йде медведь?

Иван знал, в далекой молодости Сергеича крепко помял на охоте медведь, и тот до сих пор питал к косолапым отвращение и испытывал страх.

- Пошутил я, остынь. Небось, с перепугу в штаны наложил?

- Вот, грёб тебя по пузе, все шуткуете. И пошто ты в выходной шляешься, пошто телу отдыху не даешь? Чевои тут забыл?

- Не спится что-то,- откровенно признался Устюжанин.- Недовалил я тут хороший участок. Кубометров двадцать вытянет.

- Хозяева! Дай вам волю – вы всю тайгу опрокинете. А того не знаете, что зверью некуда деться, что орехи, ягоды гибнут. Сами себя обворовываете,- беззлобно ворчал старик, распутывая клочья сваявшейся бороды.

- Тайгу омолодим, насадим новую,- выгребая золу из печки, убедительно говорил Иван.- Строевой лес во как нам ну-

жен.- Он провел по горлу рукой.- Любая стройка без него не стройка. А у нас строек тысячи.

- Неча делать, грёб тебя по пузе, вот и строите, материал переводите.

- Ты чо раскипятился, как холодный самовар? - с улыбкой посмотрел на старика Иван.- Сейчас нагреем чаю, напьешься, тогда и кипятись.

Весело, со свистом горели припасенные с вечера дрова Хрипловато, простуженно бормотал на плите алюминиевый чайник. Старик брякал рукомойником, пригоршней плеснул на волосатое, в складках, лицо, вытерся ветхим полотенцем, расчесал бороду редкозубой, как грабли, расческой, лежащей под мыльницей.

- Что-то кости болят, видать, к непогоде.

- Как не болеть – сутками спишь.

- Какой это сон? Так, бессонница. Бывалочи, в молодости, неделю мог проспать.

- Силен, дед, пузыри пускать.

Пока пили чай, говорили, темнота за окном поредела. Тайга дыбилась лохматыми елями, словно поднятыми из берлог медведями. Страшные и сердитые, они обступали избушку со всех сторон, будто хотели разом наброситься на нее и подмять под себя.

Заправив пилу, Устюжанин вышел навстречу им. Он любил утро, лес, любил свою работу. Сколько раз с началом рассвета он выходил один на один с тайгой. Она обнимала его своими огромными лапами, а он, внимательно присматриваясь, обходил каждое дерево, выбирал место, откуда лучше начать пилить, куда удобнее завалить, ласково гладил ладонью могучий ствол. И заводила бесконечную песню его пила-хлопотунья, рассыпая веером еще теплые, живые опилки.

- Наддай, Дуняша, еще наддай! - с веселой злостью прикрикивал он на пилу.

И падала вековая махина. Сначала неслышно, мягко, по-

том со свистом, со стоном. Чха-ау!- снарядом обрушивалась на стылую землю, взметая снежное облако. И в душе Ивана появлялись грусть и радость одновременно: жаль губить такую красавицу и радостно сознавать свою силу. А дерево еще билось в предсмертных судорогах, словно заваленный крупный зверь.

В тот день он работал до усталости, пока не свалил весь угол. Вытер тряпкой пилу, выпрямился во весь рост, огляделся вокруг.

- Кубиков двадцать дернул,- сообщил сам себе и наивно, по-детски, осветился счастливой улыбкой.

Шел не торопко мимо вытянутых, как струны, деревьев, оглядывал еще нетронутый лес, прикидывал, с какой стороны вместе с бригадой начнет валить в понедельник. Не заметил, как вышел на делянку бригады Степанова, оглядел месячную выработку, сложенную в штабеля.

- Не будет тут тысячи кубометров. Восьмисот не наберешь. Трепло ты, Филька, больше никто. Опять хочешь взять припиской.

В нем вновь проснулась обида на Степанова. Проснулась весенней змеей. Он даже услышал, как змея недовольно зашипела и поползла, терзая и жаля беспокойную душу.

«Значит, вот кто чуть не подвел под тюрьму. Десять лесовозов сплавил, а свалил на меня. Сухим из воды вышел,- зло вспоминал Устюжанин.- Чужие сети трясет, ловушки обшаривает. И откуда столько подлости вмещается в одном человеке?»

Радость, полученную от работы, как ветром сдуло. В избушку он вернулся мрачным. Убрал в кладовку пилу. Повесил на гвоздь полушубок, достал картошки из-под кровати, наладил варить в кастрюле. Рядом поставил чайник. Ровными кусочками нарезал сала, лука, отполосовал несколько ломтей хлеба.

Вошел сторож, обил ледяшки с пятнистых, как рябчик, старых пимов.

- Как поработал, Иван?

- Хорошо поработал. Садись ужинать.

Кряхтя и приволакивая ногу, старик подошел к сбитому из досок самодельному столу, достал из сумки двух больших вяленых сазанов.

- Посолонцуем с картохой.

Ели молча. Обьедки смахнули в газету, бросили в печку.

- Никто не приходил?- сядься на кровать, спросил Устюжанин.

- Филька забёг, на охоту дунул, грёб его по пузе.

- Что ж ты сразу-то не сказал?- встрепенулся Иван.

- Ты не спрашивал. О-ох, кости болят, и теплее стало,- тяжело вздохнул старик.- Дым долу стелется – погода изменится.

Приход Степанова насторожил Ивана. Добра от него не жди, может и ловушки прошарить. И он решил: надо идти. Но взволнованности не показал. Сказал, будто между делом:

- Завтра тоже пройдуся, проверю капканы. Неделю не был. Кабы не завьюжило.

Не добавив ни слова, он посмотрел на висящую на стене двустволку, постоянную свою спутницу, рано улегся, но спал тревожно, часто просыпался, ждал с нетерпением утра, всматривался в вязкую глухую темноту. Думал про Фильку, зло на которого росло и росло, словно чирей над паром. Вспоминал следователя Шванько с мутными, зеленовато-голубыми глазами. Казалось, они видели человека насквозь, угадывали еще не пришедшие на ум мысли.

- Запираться бесполезно, молодой человек. Статья ваша серьезная – хищение социалистической собственности в крупных размерах, в лучшем случае приписка, и срок намотают немалый. Советую чистосердечно признаться, это облегчит вашу участь,- не говорил, а словно строгал рубанком следак.

- Значит, работа Фильки,- спрашивал он себя и тут же отвечал: - Его, больше некому, сам признался. И это за мою доброту? Казнить его мало...

Вспоминал и Клаву: «Неужели она?.. Не может такого быть,- успокаивал он себя, но тут же возражал,- такой прохиндей хоть кого окрутит».

### Ш

Он ждал утра и мучился. Хотелось сейчас же выяснить: так это или нет, снять с сердца непосильный груз. Он готов был простить Фильке многое, только не вчерашнее. Хотелось вскочить и бежать вдогонку за ним. Но ночь, неумолимо-резиновая, тянулась бесконечно.

- Нет! Нет!- кричало все его существо, и капля холодного пота, проскользнув по щеке, утонула в подушке.

Иван успокоился, когда пробежал километром пять. Его широкие охотничьи лыжи мягко похрустывали рыхлом снегом, доверчиво раскидавшим от ели к ели строчки птичьих следов. Свежесть раннего утра умыла его лицо, неназойливый, легкий мороз бодрил тело и душу, и Ивану бежалось легко, как в молодости, когда не было лесозаготовок и он промышлял охотой.

Родные уголья встретили его полным рассветом. Он сбавил ход, посмотрел вокруг, с неудовольствием отметил твердую серость низкого неба, слепые толчки молодого, несмелого ветерка, ночевавшего где-то рядом, возможно, за косогором. Раздумывая, достал пачку «Памира», намереваясь покурить перед охотой в последний раз.

- Однако, к снегу дело.

Бросив и лыжей засыпав окурок, тронулся навстречу расставленным снастям, стороной обходя нетронутые ловушки, капканы, петли. На заячьей тропе попалась затянутая петля. Снег вокруг окровавлен, вытоптан, усеян белыми клочками шерсти.

- Лиса закусила. Вон как хитро петляла, шельма,- проронил он, осмотрев следы.- Вчера пиrowала. Все равно попадешься.

Иван еще долго ходил, проверял снасти, то и дело погля-

дывая на север, в сторону невидимого за тучами хребта, откуда набегал, все крепчая, низовой ветер.

- Не приведи бурану случиться...

Но чем меньше оставалось проверить снастей, тем больше в душе Ивана появлялось надежд на удачу. Одержимый азартом, он забыл про Филиппа. Направляясь к ближнему капкану, он вдруг вышел на свежий лыжный след, от неожиданности вздрогнул и стал. Потом, спохватившись, кинулся рядом со следом, забыв о предосторожности, сбивая снег с веток, цепляя кусты. Выхав из-за разлапистой ели, все понял. Захлопнутый капкан лежал на боку. Клочок рыжей шерсти, убеленный на концах нежной невесомой сединой, примерз к его стальным челюстям. В стороне валялась приманка.

Не спрятав капкана, он бросился вдогонку. На ходу переломив ружье, послал в ствол патроны с картечью. «Собачье чутье,- нарежая из последних сил, подумал он.- Где же ты ночевал? На участок не приходил. Наверно, в зимовье».

Лыжный след был недавним, и начавший пролетать снег не успел его притрусить. Он вывел на опушку, скользнул в неглубокую впадину, запетлял меж кустов. Справа начинались гольцы. Слева тайга темной линией уходила на юго-запад. Здесь, на открытом месте, ветер был злее и снег падал гуще.

Устюжанин уже не ждал хорошего от погоды, знал, что нужно немедленно возвращаться, пока не разыгралась метель, но сознание обиды не позволяло свернуть с лыжни. Впереди шел худой, пакостный человек, от которого нельзя ждать добра, как от бешеного волка, которому не место в тайге. Таков железный ее закон. Еще в детстве дед-медвежатник рассказывал Ивану, как в старину нещадно расправлялись с такими. Пусть это заведено в старину, пусть люди стареют и умирают, но законы тайги вечно молоды, как сама тайга. И она добра к тем, кто уважает ее законы. В поселке, на лесоучастке, охоте они были разными. Но отношение к ним было одно – человеческое. Поэтому Иван везде чувствовал себя правым, ибо не нарушал



их. Поэтому сейчас закон был на его стороне, и он шел без сомнения, как без сомнения чувствовал свою правоту.

А лыжня скатывалась в низину, петляя между кустарниками. Пробежав метров двести, Иван остановился перевести дыхание, оглядеться. Впереди, прячась и выплывая из-за верхушек молодняка, двигалась черная точка, и легкая тень улыбки скользнула по сосредоточенному лицу Устюжанина.

- Теперь не уйдет,- скорее подумал, чем сказал он. И в его темно-синих глазах зажегся злой огонек.

Он бежал наперерез, мощно работая ногами, далеко вперед выкидывая руки. Давно уже не юноша, сорокалетний мужчина, он обладал завидной подвижностью и выносливостью. И точка все приближалась, росла. Вскоре Иван узнал знакомый трюх.

- Не ошибся я, Филька,- прошептал злорадно,- все-таки ты...

Он спешил и с неприязнью думал о беглеце. Степанов забирал правее. Туда гнал его крутой берег реки. Иван надал еще пуще, бросился под уклон, на ходу снял двустволку. Совсем рядом мелькнула заячья шапка Фильки. Он отчетливо увидел красное от натуги, красивое лицо Степанова и неприязненно поморщился. В нем было много самодовольства, уверенности и еще чего-то, непонятного бесхитростному Ивану. Но он не увидел в нем и тени испуга, и это его смутило. Он мешкал.

А река круто повернула влево, и беглец оказался к нему спиной. Их разделяло не более ста метров. Устюжанин знал силу картечи, но по-прежнему медлил. Он вдруг взглянул на себя со стороны, и на него повеяло липко-мерзким, противным, словно ступил в дерьмо. Он даже плюнул с досады и сбавил шаг. Когда хватился, Филька был далеко. Раздумывая, не спеша, Иван еще круче взял вправо, навстречу речной петле.

Он знал, где его искать. Сбавив ход, перевел дыхание, встал за ветвистую елку. Скоро сюда должен выбежать Филька, и Устюжанин изготовил двустволку. Он еще не решил, что с ним делать. Скорее побьет его и изломает ружье, чтобы не

схлопотать в спину чужого заряда, и ругнул сам себя:

- А он бы тебя пожалел? Жаканом бы влындил между лопаток...

Мысли Ивана прервали легкий шорох и глухой недалекий выстрел. Он встрепенулся, выбежал из-за ели, глянул кругом – никого.

- Может, зайца прищучил Филька?

Подождал, потом тронулся потихоньку вперед, мягко ступая на лыжи. Увидел, как у самой реки оголился высокий берег, как еще сбегали по сугробам мягкие снежные шарики. Пристально вглядываясь, прячась за деревцами, пошел вдоль берега, остановился близ только что съехавшей лавины. Увидел на середине реки широкую охотничью лыжу. Забыв о предосторожности, бросился к месту обвала, заметил одиноко торчащую из снега красную волосатую руку. Ивану стало не по себе. Он догадался: Филька попал в обвал. Но кто стрелял?

Он кинулся назад, съехал по пологому скату, низом заспешил к уснувшей лавине. Схватив лыжу, как лопатой, начал отгребать, отбрасывать снег. Вскоре появилась Филькина голова в мохнатой шапке, потом воротник белой шубы. Устюжанин работал быстро, спешил, аж взмок. Скинул рукавицы, полушубок. Выпростав Фильку, положил на истоптанный снег, припал ухом к груди. Вместе со слабым дыханием услышал ненавязчивый, бархатный сип.

- Жив, падла!

И только тут заметил рваную дыру на левом рукаве полушубка, капельки крови. Расстегнув пуговицы, освободил раненое плечо.

- Однако, разворотил.

Он выскреб сгустки крови, снегом вытер свои пальцы, задумался на секунду. Потом достал из рюкзака кусок старенькой тряпки, прихваченной на всякий случай, как мог, перевязал Степанову рану, осторожно застегнул полушубок, пристально осмотрелся, презрительно глянул на неподвижно лежавшего,

ненавистного человека. Вновь вспомнил пятничный вечер, хвастливые Филькины слова: «Я объегорил, я... Не видишь, как зло приплясывает на твоём добре...» С отвращением от-вернулся.

- Тайга справедлива, она поймет,- поднимая рюкзак, сказал как бы в защиту себя, надев лыжи и взяв ружье, Иван пошел старым, заметаемым снегом следом. А молодой ветер суровел, крепчал. Близился вечер, надвигался буран.

#### IV

В Сосновке Филипп появился лет около двадцати назад, довольно побродив по свету. Поселок, утонувший в сосновом лесу, дохнул на него древесной смолой, утренней радостью тайги, засветился мягким теплом новых срубов, и в его памяти всплыло родное село, давно умершие родители. И ему, бездомнику, захотелось вдруг остаться тут навсегда, построить свой угол, завести семью. Утром уходить на работу в тайгу, вечером возвращаться домой, качать на колене сына.

- Принимай, глухома-ань!- крикнул он приглушенно и, испугавшись этого крика, посмотрел по сторонам.

На лесоповале было тяжело. За день Степанов выбивался из сил, собирался бежать, но бригада, принявшая его хорошо, понимала, сочувствовала. Особенно молодой бригадир Устюжанин.

- Втянешься, не горюй. Мужик ты здоровый, многих за пояс заткнешь, коль работу полюбишь.

Филипп не любил сочувствия, но и некуда уходить, весь свет облетел. Иван сам настойчиво объяснял ему, как лучше подойти к дереву, куда завалить, чтобы удобнее было разделить.

- Так зажмет, видишь, куда наклон?- поправлял терпеливо.

Скрепя сердце, он втягивался много месяцев, пока не услышал однажды от мужиков:

- Филька-то ничего-о, проворный, собака...

Радостью обожгло сердце. Лучше всяких похвал воспринял он слова неразговорчивых лесорубов. Так и остался в бригаде.

В субботу Степанов проснулся с чувством вины. Долго лежал с закрытыми глазами, прислушивался к шорохам в доме. На душе было гадко. Он оделся, прошел на кухню, увидел сидящего за столом сына Мишку.

- Ешь? А где мать?

- Ушла на работу,- ответил высоколобый, чернявый мальчишка, сильно смахивающий на отца.- Пап, ты куда?

- Пройдусь по тайге.

Он шел тихо и долго, с неприязнью думал о вчерашнем, казня сам себя. «Ну что ты привязался к человеку? Мстишь за бабу, которая отказала когда-то?» Он вспомнил, как вывозили с его делянки лес, как под шумок велел погрузить десять лесовозов с делянки устюжанинской бригады, стоявшей рядом. Как чуть не подвел под суд Ивана, как гадил ему на охоте.

- Отвратительно, гнусно,- сказал сам себе.- Да разве хуже Клавки моя жена? Смалодушничал, черт! Ну, дала от ворот поворот, разве мало ты их перевидал?

Он знал, что Иван с Клавой любили друг друга, что пара была неразлучной. Почему-то зло заело Филиппа, красавца и сердцееда. Как ни подмазывался, ни старался, не вышло, и это сильно задевало его самолюбие. Клава относилась к нему как к товарищу Устюжанина по работе, на подарки смотрела с усмешкой, отрицательно крутила головой. Крепко осерчал Степанов, удивлялся:

- И чего нашла в неотесанном медвежатнике?

Однажды, перед самой свадьбой, Филипп встретил Клаву случайно в лесу с лукошком в руке: собирала грибы.

- Здравствуй, Клавдия Александровна.

- Здравствуй,- глянула исподлобья.

- Все такая же гордая или поумнела?

- Что ты кружишь вокруг, как коршун?

Степанов говорил о любви, одиночестве, невезении в жизни, умолял, обещал носить на руках и в эту минуту верил в свои слова, готов был на любое, что обещал.

Она презрительно засмеялась и пошла. Тогда он, взбешенный от обиды, кинулся к ней, схватил за плечи, стал целовать глаза, щеки, шею. Его уцепистые руки метались по ее телу, лукошко отлетело в сторону, рассыпав грибы. Она не успела опомниться, как он повалил ее наземь, начал нервно срывать одежду. Клава увидела близко его искаженное от злости звероподобное лицо, страшный оскал зубов, и в ней проснулся зверёк.

- Уйди, гад, плохо будет!

Она вспомнила про нож, которым срезала грибы, ощутила в руке его твердую рукоятку.

С остервенением, вложив всю силу, ударила Фильку в бок. Нож, разрезав крепкую брезентовую спецовку, прошел неглубоко, краем, но Филька взревел и вскочил, схватился за рану. Где-то близко залаяла собака, и он ошарашенным от испуга медведем ломанулся через кустарник, хрустя валежником, не замечая больно жалящих лицо колючих и липких лап молодых сосенок.

Ему было стыдно и скверно.

- Ну, чего привязался к людям?- спрашивал себя Филипп.

Он сознавал, что злился и пакостил им напрасно, но, казалось, рубцом залегли в его душе обида и зависть, рубцом чугунным, неудалимым. Ни вырвать, ни срезать его нельзя. А может, открыться, повиниться Ивану, поймет, ведь мужик же? С такими мыслями он и вошел в избушку.

- Долго спишь, бугор, грёб тебя по пузе,- встретил его Сергеевич.- Настоящие хозяева давно на делянке.

- Каркаешь, старик, как ворона. Кто это «настоящие»?- подозрительно глянул Степанов.

- Иван Устюжанин давно прибежал.

- А-а, ему больше всех надо, хапуге.

Филька сдержался и замолчал. Однако губы его задрожали от бешенства.

- Пойду на охоту,- как можно спокойней и безразличней объявил Филька и сильно хлопнул дверью.

Снова накатило под сердце, снова занял в душе чугунный рубец зависти и обиды. Хорошо работал Степанов, в узде держал подчиненных. Но до бригады Ивана ему далеко. Вроде шел по пятам, вот-вот догонит, но вдруг вырастала между ними стена, отбрасывала Фильку назад. И не в работе вовсе дело – в первенстве. С детства он привык быть первым, а в Сосновке не мог.

- В чем же сила Ивана, не в Клавке ли? – спрашивал он себя.

Знал: Иван - не хапуга, работал спокойно. Но уж больно все слаженно в нем, отточено четко, будто в часах механизм. Это вот и бесило, разжигало обиду, не давало покоя, бередило болочий нарост в душе. Его тянуло сподличать, сделать больно Ивану, вышибить из седла, увидеть в спокойном взгляде растерянность и тоску. Тогда бы он успокоился, возможно, помог, пожалел. Но теперь, когда он на вторых ролях, нет ему самому покоя, как побитому гордому волку, еще недавно верховодившему стаей.

Весь день Степанов проходил по лесу, забыв про зверье, не снимая с плеча ружья. К вечеру вышел на ветхое зимовье, построенное давным-давно, затопил печурку, долго кидал кем-то заботливо припасенные поленья, вскипятил чай, разогрел застывшую за день вареную оленину. Ел неторопко, прислушиваясь к пению искр в печурке, поглядывая, как «плакали» оттаивающие от тепла стены насквозь промерзшей избушки, как они, усердно посеребренные изморозью, опаляемые отсветами огня, искрились, словно утренняя роса на солнце.

Потеплевшее зимовье походило на сказку, незаметно и мягко убаюкивало, словно дитя, большого, сильного человека. И он, успокоенный и уставший, клевал носом, клонился, вздрагивал, не хотел расстаться со сказкой. Потом нехотя поднялся, взбил на лежанке прогорклое от времени, ломкое сено, отдающее застоявшейся зеленой сыростью, прелью, накрылся полушубком и крепко заснул.

Проснулся оттого, что сильно замерз. Подлеповато светилося задымленное за годы оконце. Быстро оделся, вышел. Было позднее утро. Пахло невидимым теплым снегом. Плотно прикрыв и подперев дверь березовым чурбаком, направился на северо-запад, в заречье. Вспомнил вдруг, что не оставил в избушке дров, но лениво махнул рукой. Встретил один след, другой, снял ружье, проверил тугие курки. Долго распутывал, «читал» следы, искал недавние, свежие. К обеду набрел на лисий. Он метался туда-сюда, неровный лисиный след, словно хитрая вязь на старушечьих вышивках.

Степанов шел осторожно, то и дело осматривался вокруг, боялся спугнуть хитрого зверя. И вдруг услышал впереди полувзлаивание-полухрип. Взведя оба курка, неслышно бросился вперед, вынырнул из-за куста и ахнул. Большой красно-рыжий лисовин, задрав вверх пушистый, с проседью, хвост, рвался и грыз капкан. Осторожно спустив курки, он дважды ударил его прикладом. Лисовин, дернув отчаянно лапами, оскалился, завалился на бок, обмяк. Только его пушистый хвост еще нервно подрагивал, да из-под полуприкрытого, остывающего глаза вывернулась звериная слезинка.

Филька мгновенно пришел в себя. Воровато посмотрел по сторонам, наступил на пружину капкана, высвободил добычу. В другой раз он, возможно, не взял бы ее. Но это были места, где охотился Устюжанин. Он на секунду представил, как шуба этого великолепного красно-рыжего зверя укутает шею Клавы, придаст еще большую величавость ее фигуре, и вновь почувствовал в душе не изживаемый рубец от ненависти к Ивану, его жене. Он хорошо знал, что за это полагается в тайге, твердо знал ее суровые законы. Но что сделала слепая тайга вместе со своими дикими законами для него, Филиппа Степанова, чем помогла ему в тоске, в обиде?

- Не-ет, шутишь, карга, все, что вижу, мое-о!- спешно толкая добычу в огромный рюкзак, говорил он уверенно.- Законы твои для Ивана, медведей, а я – челове-ек, жить хочу,

пользоваться природными благами, слышишь, старая сука?!

Уверенный в себе и своем действии, он запетлял меж кустов, замечая следы, резко крутнулся в сторону, побежал к реке. Пусть валит деревья Иван, пусть кажилится, гонит план. Скоро начнется буран, все скроет колючим бездушным мраком.

Он поздно понял, что ошибся. Река, скованная льдом, запорошенная снегом, лежала далеко внизу. Их разделяло метров тридцать, но пройти эти тридцать метров было невозможно. Берег обрывался круто. На его кромке нависали сугробы, готовые в любую минуту сорваться. Чтобы попасть в заречье, нужно идти вправо, на север. Выругавшись, Филька свернул навстречу ветру, снежинками колющему лицо. Ему давно показалось, что он здесь не один, что кто-то следит за ним. Зыркнул глазом на восток и тут увидел заячьи следы-вилочки, неторопкие, мягкие. Даже показалось, что от них исходит молочный парок. Забыв об осторожности, он цепко ухватил двустволку, бросился по следу. А тот пошел ближе и ближе к обрыву и вдруг исчез совсем, значит, заяц пошел на лежку.

Степанов пробежал еще метра два и будто сразу споткнулся. До его уха донеслись легкий скрип и шипение. Увлекаемый лавиной, он ринулся вниз. В зацепившихся за что-то ногах послышался хруст. А еще он услышал глухой выстрел своего ружья и тупую боль в левом плече.

## V

Устюжанин шел, не оглядываясь. Ёлочкой ставя лыжи, миновал крутой подъем, первые деревья, стоящие на берегу, как придиричивые часовые. Он спешил, пока не разыгралась метель, проскочить вдоль гольцов, до наступления темноты добежать до густого леса.

Тайга сгладит метель, укроет его. Но чем дальше он отходил от реки, тем больше сомневался в правильности своего поступка. С одной стороны, считал себя абсолютно правым, и Филька наказан по делу. Наказан самим собой, без участия Устюжанина. С другой – брошен в беде человек, и ему нельзя



не помочь. Тайга этого не простит и невольно станет на сторону виновника. И у Ивана появилось сомнение: тасжный закон противоречил самому себе. Это смущало бригадира. «Кто узнает, буран сделает свое дело,- успокаивал он себя, но тут же возражал: - а совесть забудет, простит? И Клава. И дети, и люди? Пропажи его хватятся, а ты принародно обещал прищучить, словно бес тянул тебя за язык. Пришьют преднамеренное убийство, по судам затаскают, по тюрьмам. Тоже хорош: злом тычешь в глаза, добра требуешь от других, а сам-то так ли уж добр? Сначала зло-то в себе победи, потом уж в других».

Иван сбавлял ход, сбавляя, мысленно спорил, не соглашался с собою, пока не повернул обратно. Вернувшись к Степанову, достал моток бечевы, вырубил палки, привязал к лыжам, сделал подобие санок. Бросил сверху несколько веток – чем не сани-розвальни?

Осторожно затащил Фильку. Тот зашевелился, застонал. Прикрыл ему лицо от снега, накинул себе на плечо веревку и, утопая выше колен, тронулся в путь.

Тяжел был его путь. Сначала шел по своей лыжне, с трудом взял подъем и вывез поклажу на берег. Наклонившись далеко вперед, тянул и тянул. Но вот лыжня кончилась, наст стал рыхлее. Иван быстро взмок. Забирал все левее, к гольцам, где новый снег выдувало ветром. Но по буграм сани шли наперекос, Филька сваливался, освобожденная повозка легко подавалась вперед, и Иван беспомощно тыкался головой в снег. Но возвращался, затаскивал Степанова обратно. Потом привязал к поперечине, тронулся дальше.

А буран все крепчал. Налетая из-за гольцов, с воем несся по голому месту, поднимая снег, принося въедливые хлопья нового. Он бил с севера, в бок, угоняя в низину, к молодым деревьям. Филька покрылся снегом. Временами Ивану казалось, что везет не человека, а не освежеванную тушу только что убитого медведя или человеческий труп. И становилось не по себе, и он думал: хоть бы не умер Филька. Господи, от-

врати! Но тот иногда стонал, и Устюжанин вздрагивал:

- Так твою мать! И на кой черт я тебя волоку? Дерьма в тебе пудов пять, подлости и того поболее.

Он недовольно сплевывал и шел, раскачиваясь из стороны в сторону, утопая в снегу. Казалось, топтался на одном месте и пути его не видать конца. А ветер свистел и свистел, хлопьями сек лицо, будто тёр металлической тёркой. «У-у», - неслось над гольцами, и Иван не знал, то ли ветер гудел, то ли вышла на след голодная волчья стая. «В степи от волков не спастись», - подумал он грустно. - Надо в лес, к костру».

Но до леса было далеко. Иногда даже казалось, что и нет его тут совсем, лишь на сотни верст угрюмая степь. Обессиленный Устюжанин все чаще падал, все больше лежал после каждого раза, боясь, что скоро совсем не поднимется. И тогда невероятным усилием воли, даже не усилием, а животным инстинктом, заставлял себя встать, тянуть невероятно тяжелую лямку дальше. Ему нужно было только зимовье. Только тепло спасет их от гибели. Но зимовье далеко на юге, там, за низиной. С поклажей туда не дойти, не хватит у него сил. Можно добраться лишь одному.

- Может, бросить все к черту, встать на лыжи, пока не замерз в этой адской кутерьме? Замерзнуть из-за подонка – непростительный стыд!- доказывал он себе.

Но разум, хоть и помутненный усталостью, еще был сильнее нее. Не давал бросить в беде человека, поднимал на ноги и гнал вперед, навстречу вековой тайге. Но где она, эта долгожданная и трижды проклятая тайга? «Тебе не везет,- невесело думал Иван,- потому что ты отступил от жестоких законов тайги, и она по делу карает тебя. Брось эту тварь, и будешь спасен! Хорошенько подумай. Останутся дети-сироты, останется Клава. Клава...»

Со стоном упав, он то бессильно плакал, то яростно бил снег остывающими кулаками, презирая весь свет, ругая себя за секундную слабость. Степанов глухо застонал, и он вско-

чил, ему захотелось сдернуть с плеча двустволку. Изнурительная борьба добра со злом продолжалась в его душе. И таяла ярость, возвращался рассудок. Воспоминания о семье поднимали дух. Вновь появилась надежда на лес. Не мог он заблудиться, не мог!

Просто еще не дошел, смертельно устал. Лес укроет их от бурана. В нем можно разжечь костер.

Охотничье чутье не подвело Ивана, и упорство вознаградила тайга. Она выросла неожиданно из снежной круговерти, аж он вздрогнул, чуть не попятился, но тут же пришел в себя. От радости даже ослабил. Надежды придали ему новые силы. Обнимая теплыми лапами, тайга все шире распахивалась перед ним, в стороны расступались деревья, давая проход. Ветер сразу обмяк, потеплело заметно.

Оставив Фильку за громадным кедром, Иван пошел искать сухостой и случайно наткнулся на огромный каменный валун. Южная сторона его была пряма, будто стесана топором, верхом выдавалась далеко вперед, являя подобие крыши. Это уже было укрытие. Нарубив кучу сухостоя, натаскав веток, закрыл голый бок, попробовал разжечь костер. Снег повалил поверху, выше него, и все-таки промерзшие сучья долго не разгорались. Он шарил голый рукой по холодным расщелинам камня, срывал редкие сухие травинки, нашел кусочек бересты. Поставив дрова шалашиком, загородив собой от струй низового ветра, подпаливая пальцы, старательно поджигал двумя спичками сразу.

И огонек, маленький, несмелый и легкий, как одуванчик, стал разлетаться мелкими вспышкам, зализывать коротенькими, хилыми язычками тонкие щепки, пополз выше и выше, затрещал хворостом, задымил. От костерка вдруг повеяло древесной смолой, теплом, жизнью. Помягчели суровые складки на уставшем лице Ивана. Не веря своим глазам, он вытянул голые, без рукавиц, руки. Пламя ужалило пальцы, но он не отдернул их тут же, а только шире развел ладони. Потом под-

нялся, настелил хвойных веток между костром и стеной, смел с Фильки снег, осторожно втащил на лежанку. От боли тот застонал.

- П-пи-ить,- попросил сквозь зубы.

- Жив, прохиндейка?- потеплевшим голосом пропел Устюжанин.- Ща-ас, напою-у.

Он натаял снегу в алюминиевом котелке, вынутом вместе с продуктами из вещмешка, бросил щепотку чая, сахару, размешал и поставил остывать. Потом приподнял Филькину голову, начал осторожно вливать в полуоткрытый рот.

- Вот та-ак. Пей, не захлебывайся – быстро согреешься.

Не открывая глаз, трясясь всем телом, Филька судорожно глотал. Потом Иван готовил ужин, то и дело подкидывая дров, и костер нервно вздрагивал, поплеывал искрами, сердито дымил и сопел. Потом вдруг весело схватывался огнем, его отсветы жадно бросались на каменную стену валуна, словно хотели опрокинуть, выделявали на ней шаманьи пляски.

Косясь на них одним глазом, Устюжанин разулся, повесил меховые портянки на палки, подсушил полушубок, ватные брюки. Закусив и напившись чаю, подвинул ближе к огню Степанова, привалил сверху хвоей, сам улегся рядом. Спал беспокойно. Часто просыпался, растирал замерзший со стороны камня бок, поворачивался другим. Иногда подбрасывал дров. Снег падал и в костер и тут же таял. Тот шипел, искрил, не сдавался. Но буран, обтекая валун, обходил стороной, щадил огонь и людей.

Утром Иван проснулся от чьего-то близкого взгляда. Чуть приоткрыл веки, увидел повернутое к нему лицо Фильки. На нем застыли страдания, ужас.

- Не спи-ишь?

Не услышав ответа, поднялся, подул на затухающие уголья, подбросил сучьев. Вышел из-за укрытия, поглядел вверх. Буран заметно опадал, и видимость, хоть недалекая, но была. Снова грел чай, поил раненого, пил сам. Тронулись еще затем-

но. Высоко, в верхушках деревьев, пьяным чертом просвистывал ветер. Но тут, внизу, было значительно тише, и снег падал мягко, неслышно. Иван увязал еще больше, с трудом бил глубокую тропу, шел, нагнувшись вперед. Он быстро вспотел, пот заливал глаза, падал с подбородка в белое крошево. Иван часто отдыхал, примостившись на край лыжи.

«Вот ведь как,- уже беззлобно, но грустно думал он,- бит небитого везет. Я его учил работать, взял к себе в помощники, в бригадиры рекомендовал, а он готовил мне тюрьму, зверье из капканов вытаскивал, невесту хотел отнять. И я же, дурак, за все эти пакости его волоки. В себе ведь, подлец, а виду не подает и едет на другом. Так тебе, дурню, и надо».

День пробежал незаметно. Иван же двигался медленно. На его пути вдруг вырос взгорок. Обходить его не хотелось, и он решил взять в лоб. Он почти лежал на снегу, разметав в стороны руки, походил на распластанную, подбитую птицу. Поклажа тянула назад, он же, прикусив губу, закрыв веки, волок из последних сил. И уже почти взял взгорок, но вдруг почувствовал такую легкость, что не удержался, ткнулся головой глубоко в сугроб. Веревка лопнула, и повозка, набирая скорость, пошла вниз. Иван с минуту полежал неподвижно, потом поднялся, побрел к Степанову, стал над ним, чуть не плача, и разразился бранью:

- Как не стыдно тебе, подлец, в себе ведь, хоть в горушку зайди своими ногами. Хоть заползи. Зато козни строить мастак, кобелина. Кобель и есть, влундить по харе бы!- Он даже механически замахнулся, но тут же опустил руку.- Сил моих нет, давай поднимайся, войди в горушку, ведь оба погибнем. Дети у нас.

Иван умолк на минуту, ждал. Потом вновь завелся:

- Чалдон ты обделанный!..

Но злость как неожиданно накатывала, так и отступала. «Чего взъерепенился на беспомощного человека?- корил он вскоре себя.- Тайга, закон... Правосудие тут нашлось! А в душе

ты его побывал, в потемках ее разобрался? На первом месте у тебя план, лавры победителя. Знал ведь: мучается парень, который год не найдет места, душу свою не выльет. Вот и злобствует, вредничает. Каждому, что ли, злобствовать? А о сыне его подумал, ведь ты сам рос сиротой – безотцовщиной, с детства лиха хлебнул. Не-ет, Филька, отступлюсь я от суровых законов тайги, может, пользы-то больше будет. Ты мне – пакость, а я – добро. Ты мне – зло, а я – беззлобие. Как ни упорствуй – все равно моя верх возьмет. Добром-то лучше примешь...

И снова впрягся и повез, наклонившись вперед, как бурлак. Он все вез и вез. Падал, с каждым разом лежал все дольше. Всматривался вперед, ожидая увидеть лесоповальный участок, боясь сбиться с пути. Вдруг услышал далекий жалобный волчий вой и почувствовал в груди неприятный холодок. Он их увидел минут через сорок – двух матерых волков, идущих по проторенному им следу.

- Вот нам и крышка, Филька. Уснем и попадем волкам на закуску.

Раненый зашевелился, застонал. Иван снял ружье, дважды выстрелил в сторону волков. Звери бросились в чащу.

- Если до ночи не дойдем, ночью точно сожрут, ни одной косточкой не подавятся.

Он опять вез свой нелегкий груз, стонал от смертельной усталости, вез, стиснув зубы до боли, надолго закрывая глаза. Вдруг остановился, прислушался к далеко тарахтевшему мотору.

- Филька-черт, мотосани! Нас ищут, слышишь, чертяка чалдонский?

Бабахнул вверх дуплетом для пущей слышимости, не устоял от толчка, сел в снег. Не вставая, выхватил из патронташа два патрона, еще выстрелил. Но мотор вдруг замолк, мотосани пропали, видать, показалось. Устюжанин пошел в том же направлении. Через полчаса тайга расступилась. В лицо Ивана ударило ветром и снегом, но, изобразив глуповатую улыбку, он закричал изо всех сил:

- Просека, Филька!

Но радость быстро сменилась разочарованием. Он понял, что они отклонились влево. Сегодня им не дойти. Надвигалась ночь, и нужно было устраиваться на ночлег. Он нашел подходящее место, нарубил сушняка, запалил костер. Еда кончилась, вскипятил только чай.

Чтобы забыть о голоде, Иван думал о своей жизни. Мало в ней было хорошего.

Вспомнил похоронку на отца, пришедшую с фронта в феврале сорок пятого, недоедание, бедность, которой единственно было в избытке в их доме. Отчетливо помнил первую охоту, первый день работы на лесоповале. Теперь жизнь изменилась, зарплата большая. «Жить бы да жить до ста лет и умирать не надо,- невесело думал он,- а вот на тебе, судьба Фильку подбросила. Кинуть бы его к ляду, по всем статьям кинуть, да как кинешь – человек ведь, не скотина».

Освободив Филькин полушубок, осторожно отодрал от раны повязку, наложил новую. Чай его согрел, но еще сильнее почувствовался приступ голода. И снова сердито смотрел на Степанова, и вновь корил себя, оправдывал Фильку. Чем больше он уставал, тем больше был уверен в правильности своего решения.

- Спасу, а там сам смотри, если хочешь остаться в поселке. Только подличать тебе не позволю. Не-ет, парень, если б зло приплясывало на добре, вечно лежать бы тебе в сугробах...

Ночью он спал тревожно. Несколько раз слышал волчий протяжный вой. Не выпуская из рук двустволки, то и дело открывал глаза, внимательно прощупывал темноту. Ему казалось – то там, то тут вспыхивают алчные огоньки взглядов голодных зверюг, и он целился в них, но не стрелял: огоньки вдруг пропадали.

- Мерещится, черт побери!

Весь следующий день он снова волок измучившую его поклажу, все больше забирая вправо. К вечеру вышел на знакомую

просеку. До поселка оставалось километра четыре прямого пути. Буран заметно поутих. Голодный, с обмороженным, заросшим щетиной лицом, смертельно уставший, он тянул свою лямку, утопая в снегу. Казалось, его помертвевшие ноги, уставшие руки, налитые холодным свинцом, медленно отмирали, будто не принадлежали ему. Мороз пробирался под полушубок, неумолимо сковывал тело. На тайгу опускалась вечерняя темнота, но в ней еще виделись стальные кресты опор высоковольтной линии. Издали они походили на могильные кресты-великаны. А тайга казалась кладбищем-великаном. Но он тянул свою лямку и падал. Падал и вновь поднимался.

## VI

Во вторник мастер участка Запевалов пришел в контору раньше обычного. Еще вчера он скомплектовал поисковую группу из двадцати восьми человек. Разбившись по двое, кто на вездеходе, кто на мотосанях, а кто и просто на лыжах, люди должны были выйти в тайгу на поиски лесорубов. Как и было договорено, все собрались к шести.

- Все пришли?- невесело спросил Запевалов.

- Но.

- Задачу знаете?

- Но...

- Тогда по коням.

До участка ехали на вездеходе. Затем, разделившись по звеньям, пошли по своим квадратам. Найти было трудно. Буран замел все следы, мешал видимости. Первым на участок вернулся вездеход. Тормознул у избушки. Водитель, двухметровый парняга, выскочил из кабины, с силой распахнул дверь.

- Ну, как?- с надеждой спросил Запевалов.

- Весь квадрат прочесали – не нашли.

- Снова езжайте. Пока не найдете – не возвращайтесь!

- Добро.



Взревев, вездеход умчался в тайгу. Начали подходить лыжники.

- Федотыч, третий квадрат обшарили.

- В шестом не нашли.

- Четвертый пуст.

- Плохи дела, хлопцы. Не провалились же они сквозь землю.

- Что же будет, Федотыч, у нас ведь двое детей?- заламывая руки, спрашивала жена Устюжанина, постаревшая за ночь лет на пять.

- Успокойся, Клавдея, разберемся. Быть такого не может, чтобы коренные таежники не нашли. Медведя поднимали, соболюшку били, а людей и подавно найдем. В зимовье были?

- В избе у горелых кедров.

- Ну?

- Ночевал кто-то ночи три назад. Куда пошел, неизвестно. Все следы запуржило.

- Вот видишь, уже кое-что!- старался он успокоить Клаву.

- Нашел таежника – Илью Бундюка!

- Он, конечно, не таежник, на Юге родился, но парень что надо, за своего бригадира душу отдаст,- неуверенно возразил Запевалов, отводя глаза в сторону.

Клава была права: Илья таежником не был. Вырос он на Кавказе, на речке Большой Зеленчук. На лесозаготовку приехал лет пять назад. Маленький, верткий, как юла, он когда-то был футболистом, за что его и прозвали Хусаиновым. Мячом он владел мастерски, а вот хорошим лыжником, охотником и близко не был. Он бежал рядом с Володькой Жировым, коренным лесорубом. Часто спотыкался, падал, отставал и вновь нагонял упорно бегущего вперед товарища.

- Что-то ты зачастил падать, Хусаин?- смеялся Володька.

- Лыжи скользят, гады. Наверно, кривые.

- Ноги у тебя кривые, а не лыжи. Это не футбол гонять.

- Брешешь, ноги прямые,- оправдывался Илья и будто в

доказательство поднимал поочередно ноги.- Я ими мяч в девятину вколачивал.

Они шли высоким берегом замерзшей реки, внимательно посматривали по сторонам. Следов не было.

- Вова, что это там?- указал Илья вниз.

- Доска, что ли, воткнута.

- Кто ее воткнул? Да лыжа это! Доска-а. Сам ты – доска.

Найдя пологий спуск, они подбежали к находке. Начали разгребать снег.

- Смотри, тут рюкзак! Лиса в нем!- распутав завязки, воскликнул Бундюк.- Почему бросили их?

- Рюкзак Филькин. Кранты ему пришли. Срезал его Иван.

- Трепаться-то будет, бугор ведь не такой.

- Постой, сорока. Вон видишь заметенные следы? Будто возом ехали.

Они побежали по еле заметному, местами начисто заметенному следу, с силой налегая на палки. В лесу след был виден лучше и быстро привел к валуну.

- Что ты тащишься, Хусаин? Смотри, костер жгли!

Он не дождался, пока подбежит Бундюк, бросился дальше, не замечая заливающего глаза пота. Буран почти стих, перешел в мелкую поземку. Выходя на вторую просеку, Жиров крикнул Илье:

- Заблудились ребята, такого кругая дали. Давай короче, чего плетешься!

День уже угасал. Тайга успокаивалась. Только ветер еще пошумливал, но и он, по всем приметам, торопился уняться. Впереди, в матовой мгле, появилась еле различимая точка. С каждым шагом она увеличивалась, росла, вскоре разделилась надвое.

- Люди, Хусаин, люди!- закричал Володька изо всей мочи и кинулся им на помощь.

...Узнав, что Иван нашелся, Клава на босые ноги надернула валенки, не застегнув пальто, кинулась по вечерней улице,

разрисованной, словно шахматная доска, белыми неровными квадратами тихо светящихся окон. С ошалелыми глазами ворвалась в больничную палату, глянула в одну, другую сторону и не узнала мужа.

- Куда я попала, где он?

- Вон он, красавец твой!- любовно сказала старая няня Захаровна, их соседка по улице, старушка вдовая еще с войны, ласковая и добрая.

В углу на кровати лежал заросший рыжей щетиной, изможденный старик. Лицо его было черно, словно смолили над костром. Грудь беспокойно поднималась и опускалась, спеленатые бинтами руки неподвижно лежали на опавшем, видно по одеялу, животе. Они казались чужими руками, на время приложенными к Иванову телу. И Клава не заплакала, а завывала – негромко, протяжно, бросилась на колени рядом с кроватью, бережно, словно боялась уронить и разбить, взяла голову, стала тихо ощупывать, целовать.

- Что с тобой сделали?- тягуче повторяла она.

И он пришел в себя, зашептал непослушными помертвевшими губами:

- Дошли мы, дошли. Успокойся, Клавушка.

Обессиленная от бессонных ночей и переживаний, испуганная и обрадованная одновременно, она долго не могла подняться, с любовью, радостно смотрела на мужа и в этот момент чем-то сильно смахивала на преданного хозяину собачонка. Голова ее тяжелела, клонилась к земле, глаза предательски слипались. Она не заметила, как ткнулась лбом в его бок, как уснула, стоя голыми коленями на полу, не чувствуя холода. Уснул и он, положив забинтованную руку на ее плечо, будто снова продирался сквозь метель и искал надежной поддержки.

Степанова оперировали ночью, и он очнулся на другой день. Тревожно дернулся, намереваясь подняться, но тело показалось чужим, не слушалось. Тяжелым, чугунным взглядом поворачивал вокруг. Нашупал гипс на левом плече и руке. Уви-

дел забинтованную ногу, беспомощно дремлющую на какой-то подставке. Попробовал шевельнуть – не смог. Показалось, на ней очень болят пальцы. Он даже пошевелил ими. В углу на стуле, в полутьме, заметил клюющую носом жену. Попытался поднять голову, увидел обрубок правой ноги, пальцами которой, казалось, только что шевелил, и перед глазами поплыл оранжевый туман. Из них покатались холодные слезы, попадали в уши и щекотали их. Но он этого почти не слышал. Мысль, что навсегда останется инвалидом, была для него хуже ружейного выстрела, хуже смерти.

- Калека! На всю жизнь калека!- лихорадочно шептал он, чувствуя, как внутри его что-то большое и несгибаемое дает огромную трещину, залатать которую уже невозможно. «Почему же Иван не бросил в тайге?»- хотелось крикнуть ему.

Он представил, как будет шарашиться на костылях, раз в месяц ожидать пенсию, постоянно торчать дома, говорить о беде с нелюбимой женой, слышать ее неприятный, по-ворбьиному чирикающий голос, и вновь провалился в бездну.

## VII

Участковый инспектор Самойлов происшествием в Сосновке был обеспокоен с того понедельника, когда на лесоучастке хватились пропажи двоих бригадиров. С начала поиска и до самой ночи не покидал он вездехода. Старший лейтенант был опытен и настойчив, до усталости загонял водителя, пока прочесывали отведенный им квадрат.

- Давай еще разок, вот сюда,- с надеждой указывал он рукой, выглядывая из кабины. В Сосновку инспектор приехал недавно и местность знал плохо.

- Там не проскочим, в расщелину угодим,- стойко пояснял водитель, с неприязнью думая: всем дали людей как людей, а мне – милиционера.

- Тогда с той стороны обходи!- не сдавался дотошный участковый. «Смертоубийство надо предотвратить,- думал он мрач-

но,- или найти пострадавших, виновных, во всем досконально разобраться. От этого зависит твоя карьера, повышение по службе и в зарплате, что совсем не лишне в семье, где грибной ватагой тянутся три девчонки».

Он вспомнил вдруг младшую, Оленьку, двухлетнюю мышку с частыми острыми зубками, которая то и дело норовила ухватить отца за палец, и это воспоминание теплым комочком шевельнулось в его милицейской душе.

Ночью он узнал, что пропавших нашли у поселка, и вся история стала выглядеть в ином свете. Он обрадовался такому исходу: дурного не произошло, облегченно вздохнул, собираясь закрыть еще не начатое дело. Но его, опытного инспектора, вдруг смутила одна деталь – выстрел. Как он мог произойти? Человек бежал за добычей, ружье держал в руках и сам себе засадил в плечо?

Мало-помалу эта мысль крепко озадачила Самойлова. Пусть стихия, обвал, но не сам же по себе произошел выстрел? Кто-то в этом помог. Выстрелил сзади или сбоку, того и кинуло на край обрыва. Расчет верный: снегом завалит – не найти до весны, а там половодьем унесет, рекой, не сыщешь с собаками. И Филька на операции проговорился.

- Дела-а. Дыму в глаза нагнали тебе, старлей, ты и уши развесил. Не смотри, что тайга.

Тоньше надо в этих вещах, иначе инспектору грош цена,- размышлял он, отмеряя по кабинету круги, дивясь, как за окном загорелось розовым цветом закатного солнца стадо горбатых сугробов, как вспыхивали и тут же гасли замерзшие иглы сосен.

Приехав утром на лесоучасток, он взял Жирова с Бундюком, повел их на место обвала. Уставшая от бурана тайга успокоилась. Приветливо попыливалась с еловых веток мелкими снежными шариками, и они, разлетаясь в пыль, горели на утреннем солнце тысячами веселых радуг, веселили душу и сердце, напоминали о ласковом теплом лете.

Воткнутую в снег лыжу увидели еще сверху. Тихо спус-

тились, деревянными лопатами начали разгребать снег, внимательно просматривая каждый улов. Перед самым обедом Жиров вдруг резко нагнулся, блеснув на солнце коричневыми веснушками, извлек ружье, старательно очистил от снега.

- Курки спущены. В одном заряд, в другом стреляная гильза,- заглянув в стволы, сказал он и подал ружье участковому.

- Давайте поищем еще.

- В таком-то Монблане?- удивился Бундюк.

- Для следствия все важно,- занося что-то в голубой блокнот, с умным видом изрек Самойлов.- Мы должны не виноватого искать, а доказать невиновность. Таков мой стиль.

Осторожно и долго перелопачивали сугроб, почти не надеясь на удачу. Пора было возвращаться, и лесорубы все чаще поглядывали на быстро увядающее за лесом солнце, вопросительно смотрели на участкового, но тот не видел или не хотел замечать их взглядов.

- Ну-ка!- вскрикнул Илья, вынимая из комка снега зеленый комочек. Потом подал его с виноватой улыбкой.- Пыж.

Самойлов бережно развернул и внимательно осмотрел находку, словно в жизни не видел бумаги, затем завернул в платок и спрятал во внутренний карман полушубка.

- Кажется, из «Пионерской правды». Кто у нас выписывает «Пионерку»? У Устюжаниных двое детей? Разберемся. Собирайся, ребята.

До участка добирались проложенным утром следом, в темноте. Возшедшая луна то освещала их путь, то скрывалась за высокие облака, словно играла с путниками в прятки, и они часто ступали мимо лыжни, зарывались носками лыж в снег, снова нащупывали след, молча двигались дальше. Лесорубы думали об одном, и у обоих на душе было тревожно и гадко, словно незаслуженно оболгали кого-то и еще должны оболгать.

А по Сосновке уже ползли черные, как воровская ночь, сплетни.

- Слыхали? Передовик-то наш показал нутро? Уходил

человека, законник! Потом решил честеньким прикинуться, на себе приволок. Теперь схлопочет,- злорадствовали по-за углами.

- Из-за дурака сам чуть не замерз. Дребедень ты порешь!- возражали злопыхателям.- Врежу вот по соплям.

Потом заговорили в открытую. Дошло и до Устюжаниных. Клава услышала на работе. Пришла домой – сама не своя. С красными пятнами на осунувшемся лице. Диковато и нездорово посмотрела на мужа, настороженным взглядом обвела детей, опустилась на кровать, не в силах вымолвить слова.

- Что с тобой, Клавдеюшка, лица-то нет?- встрепенулся Иван, подходя к ней, и в его сердце родилось недоброе предчувствие.

- Разговор, Ваня, страшный идет про тебя.

- Ну-у!- не выдержал он, застыв на мгновение, как горностаи.

- Будто... Будто ты стрелял Фильку.

- Что за хреновина? Кто это распускает?- он нервно заходил по комнате, не в такт шагам замахал забинтованной рукой.- Как ты-то могла поверить?

- Я в жизнь не поверю, да люди... Хоть убегай из поселка.

- Пойду объяснюсь с Самойловым,- в сердцах выдавил он и стал одеваться.

Свежесть зимнего утра шибанула в голову. В ней зашумело и закачалось туда-сюда, словно лодка на гребне волны. Качнулось и небо, и Иван здоровой рукой ухватился за перила крыльца, постоял так немного, пока качка не успокоилась, направился за ворота. Ядреное солнце тугим и красным ударило по его глазам, и он на мгновение сомкнул веки, приставил ладонь. Такое бывало с ним в детстве. Скоро придет весна, с надеждой подумал Устюжанин, но радости, как в прежние годы, не ощутил. Почуял лишь, как в душе росли негодование, обида, и быстро и нервно зашагал в центр поселка.

## VIII

О том, что в Степанова стрелял Устюжанин, участковый инспектор услышал от главврача вскоре после операции.

- Ванька, говорит, стрелял, мстил мне,- доверительно сообщила Ангелина Семеновна,- хотя говорил в бреде, могло и привидеться.

Смутили старшего лейтенанта и рюкзак с лисой, принесенные лесорубами, и их рассказы.

Крепко задумался Самойлов. Пострадавшего он пока не тревожил. Перво-наперво появился в сторожке. Сергеевич, увидев милиционера, заволновался, занервничал, словно вновь попал в лапы медведю.

- Ванька-то как узнал, грёб его по пузе, что Филька пошел на охоту, аж позеленел,- то и дело тербя свалывшуюся бороду, рассказывал сторож.- Всю ночь проворочался и ушел чуть свет. Чо, говорит, ты мне раньше не сказал? А он и не спрашивал.

- Что еще говорил?

- Так, мелочевку. Про Фильку ни слова. Враз как-то сник.

Наконец врачи разрешили встретиться с больным. Участковый вошел медленно, поправил халат, не спеша, подал руку.

- Здравствуй, Филипп.

- Не Филипп, а пол-Филиппа осталось,- ответил со злой усмешкой Степанов, нехотя протягивая вверх ладонью свою – длинную и волосатую.- Остальное ищите в тайге.

Около часа присидел инспектор в палате, смотрел на нервного Фильку.

- Ты не суетись, расскажи по порядку,- успокаивал он.- Мы должны детально во всем разобраться.

- Вы же не верите,- возмущался Филипп, насупив черные брови.- Проверял я свои капканы. Лисовина взял. За косым увязался. Берегом проходил. Чувствовал: кто-то следит за мной. Сердцем чуял. Никого не видел, а чуял. На самом обрыве меня и прищучили. Как я мог выстрелить в себя? За каким лешим? Подумай-ка головой. И дробь из



плеча достали не мою. Не было у меня третьего номера.

В разговоре он то поднимал забинтованный обрубок ноги, то снова клал на проволочную подставку, морщился от подступившей боли, стискивал зубы, и старший лейтенант отводил глаза.

- Кого подозреваешь?- спросил напрямую Самойлов.

Тот долго молчал, напряженно думал, потом неуверенно пожал здоровым плечом, отрицательно покачал головой

- А что произошло в пятницу? - Ребячество. По пьянке поцапались.

- Хорошее ребячество! Чуть двух жизней не стоило. Лес-то их ты фуганул?

- Не трогал я,- отводя взгляд, проговорил Филипп.- Во хмелю трепанулся, нервишки его пощипал. Государство-то не в убытке.

- Бригада его в убытке. Запятнали ее. Мог Устюжанин за это выстрелить?

Инспектор вновь посмотрел в глаза Степанову, стараясь уловить в них хоть малейшую тень неправды. Но они казались откровенными, как у дитя.

- На повале он был, на охоте не видел,- твердил тот свое.

И инспектор вспомнил недавнюю встречу с Иваном. Устюжанин вошел, когда участковый заканчивал писать деловые бумаги. Он поставил число, расписался, закрыл папку, и Устюжанин успел прочитать: «Дело № 16», вопросительно посмотрел на Самойлова, не на него ли это дело заведено? Долго говорили о несчастье, переходили на другие темы, возвращались к начальной, пока инспектор вдруг не спросил о патронах с дробью третьего номера. Отлично помнил Самойлов и ответ изумленного бригадира:

- У меня патроны были и с дробью, и с картечью, все забиты войлочными пыжами. С газетными не было, хотя «Пионерку» выписываю!- надтреснутым голосом, но с уверенностью и надеждой выплеснул бригадир.

- Я проверял,- согласился Самойлов.- Но там было много пустых.

- А может, мои осенние?- от радости, что вспомнил, Иван даже подскочил.- Занимал я Фильке на охоте.

- При свидетелях?- встрепенулся инспектор, всем телом подавшись вперед.

- Одному.

Разочарованный участковый вновь отвалился назад, забарабанил короткими, приплюснутыми в суставах пальцами по столу, пристально посмотрел в окно, не поворачивая головы, произнес:

- А если отопрется?

Иван растерянно промолчал. На него жалко было смотреть. Обмороженное лицо сбрасывало старую кожу – это отдавало чем-то животным и зловещим,- и она висела черными коробящимися лохмотьями. А там, где уже сошла, лежали розовые прогалины, отчего лицо казалось пестрым и нездоровым, будто прошлись по нему картофельной теркой. Инспектору стало жаль его. Подумалось: не мог он выстрелить в человека.

«На повале он был, на охоте не видел!» – передразнил он Степанова. Напрямую не говорит, а так подводит, что больше думать не на кого. С этим и покинул больницу.

Вскоре приехал следователь районной прокуратуры капитан Шванько. Приезд его Самойлову не понравился. Не доверяют, уныло думал он. Но виду не подал, баба с возу – кобыле легче, долго и детально объяснял, показывал протоколы допросов. Шванько, казалось, не слушал, смотрел за окно туманным взором, лишь однажды спросил:

- Это тот Устюжанин, что сплавил лес? Сорвался он тогда у меня. Теперь не сорвется.

Заявил уверенно, с легкой злостью, и участковый почувствовал к нему неприязнь, назло хотел сказать, что внутренне верит Ивану, но промолчал.

день после приезда он вызвал в самойловский кабинет необходимых свидетелей. Дождался своей очереди и Запевалов. Он вежливо постучал, спросил разрешения, стеснительно потоптался у дверей, прошел к столу и представился:

- Мастер участка...

- Оч-чень хорошо,- с головы до ног весело осмотрев посетителя, заговорил капитан.- Вы вызваны по делу Устюжанина и Степанова. Нужны их трудовые характеристики. Только чтоб без прикрас, а то вы иногда любите похвалить своего брата-производственника, вместо преступника изобразите героем.

- Мы врать не привычны,- после некоторого молчания торжественно объявил Запевалов.- Бригадиры они самые лучшие. Степанов из месяца в месяц выполняет план. Устюжанин – постоянный победитель, толковый трудяга, своего не отдаст и чужого не присвоит. С таким не только план перекрыть, горы можно перевернуть.

- Наворочал он! Шестьдесят восьмой статьей пахнет.

- В статьях не разбираюсь, а людей своих, как родные ладони, знаю. Не мог Иван стрелять. От имени всех лесорубов заявляю.

Капитан мгновенно посерьезнел или даже рассердился. Выпроводив стойко настроенного Запевалова, он упорно заходил по комнате. Наверно, член поселкового совета или почетный наставник, подумал он невесело, врос в землю, словно скала, бульдозером не столкнешь. Какие-то все ненормальные. У одного виноват Устюжанин, другие за него горой. Не-ет, надо брать быка за рога.

Надев шинель, он направился в больницу. Шел, аж развевались по ветру полы, слушал, как поскрипывал снег под сапогами из оленьей шкуры. Долго говорил со Степановым. Выпытывал.

- Что за патроны вы брали у Устюжанина? Осенью-то, забыли?

- Не помню. Не брал.

- Ружье само могло выстрелить во время обвала?
- Как оно может? Он стрелял, больше некому.
- А гильза в ружье?
- Я зайца стрелял.
- Почему же он вас откопал, трое суток волок?
- Спросите у Ваньки.

Теперь он в открытую говорил и сваливал на Ивана, хотел отомстить и за то, что не бросил в тайге, сам чуть не сдох, но не бросил. Разве бы сам Филипп поступил так, стал с кем-то вожжаться и рисковать собственной шкурой? «Значит, Ванька победил? И впредь будет всегда побеждать, уж такой настыр-ный! А калека-то кому нужен?»- подумал.- Не-ет, все равно до-конаю. Не мытьем, так катаньем»,- говорил себе Филька.

- Вы сами не валяйте Ваньку!- вскипел капитан.- За лживые показания знаете...

- Знаю.

Разговор тяготил Филиппа. Он вновь то и дело ворочался, удобнее укладывал обрубок ноги. Щупал больную руку, гипс, показывая, что ему тяжело.

Шванько это понял и вновь рассердился. Обратно шагал уже не так устремленно. Думал. Свернул зачем-то в переулок, направился широкой улицей за поселок, с удивлением глазел на курящие голубыми дымками избы. Э-эх, бросить бы все, мечтал он, купить домик в Сосновке, устроиться лесорубом, летом ходить на заре на рыбалку, и хоть трава не расти. Ни следствий тебе, ни допросов! По пятницам – магазин и баня вместе с братвой лесорубов, вместе с Филькой и Ванькой. Золотая мечта сыскаря...

Постоял, подивился высокой ледяной катушке, с которой лихо мчались на санках бесшабашные мальчишки. Рассмеялся: вот кому благодать! Ни судов, ни ошибок. Как добраться до истины, не свалить ваньку?

А Иван в последние дни жил, как на весенней льдине: не ломается, так растает. Выйдет утром на участок, склонится

к дереву и долго стоит так, подперев сосну головой, не думая ни о чем конкретно. Потом встрепенется, возьмет пилу, с грехом пополам завалит громаду. Рухнет столетняя богатырша, зазвенит, запоет, все отдаст миру, что за век накопила, а он уж не слышит ни звона, ни песни, не порадуетя всей душой, как бывало.

«Где справедливость?– очнувшись, спросит себя.- За что муки такие? Лучше бы уж замерз. Подлость-то почему живуча, как бацилла чохотки? Не спаси ты Фильку – сам себе б не простил. Спас – не прощают люди. Добро и зло – разве одно и то же?»

Видя страдания бригадира, подходили ребята, сочувственно говорили:

- Хватит изводиться, Иван, понапрасну, не дадим мы в обиду, всем участком пойдем на суд.

Ночами было совсем невмоготу. Он страдал и крутился в постели. Если и засыпал ненадолго, то видел Фильку с обрубком ноги. Он целился им в грудь Ивана, кричал: «Отдай мне ногу! Зачем вывез меня?» После увиденного просыпался в нервном напряжении и холодном поту, выходил покурить на мороз под топырящиеся медведями ели. В избушку возвращаться не хотелось, не хотелось встречаться с людьми. Тянуло все бросить и, как раскольнику, уйти в глушь тайги, жить по соседству со зверями. Они не сделают зла.

В пятницу его вызвали по повестке. Он медленно брел в расстегнутом полушубке, глубоко вдыхал прохладный воздух, словно делал это в последний раз. Край съехавшего набок шерстяного шарфа мягко похлопывал по колену, будто хотел убаюкать. Потухший, пустой взгляд. В розовых латках лицо. Вопросы Шванько – глухие, словно из-под земли.

- Вы преследовали Степанова?
- Шел за ним.
- С какой целью, убить?
- Хотел проучить.

- За что?

- За лес, за лису, за все.

- И за ревность?

- Возможно, и за ревность.

- Вот она, главная причина, старлей!- обратился капитан к Самойлову.- Все против вас, Устюжанин. Как же вы выстрелили в него?

- Никак.

- Шестьдесят восьмая корячится. Завтра отвезем вас в район, там заговорите...

Устюжанин долго, не мигая, смотрел на него наливающимися кровью глазами. Смотрел и не видел. Вновь явился Филька с обрубком ноги, вновь нацелил его, как ружье. По телу Ивана пробежала предательская дрожь. Уцепившись за спинку стула, он пытался поднять его.

- Вези, гад, вези! В тебя б выстрелил без раздумья.

От неожиданности капитан замер, привалившись к стене, удивленно и часто моргал. Но тенью мелькнул участковый Самойлов.

- Ты что одурел! Пойди успокойся.

Так же медленно Иван опустил стул, молча вышел в прихожую, побрел меж осевших к весне сугробов по заснеженному поселку. И снова серый шерстяной шарф мягко баюкал его колени.

- Псих! На должностное лицо,- возникал следователь Шванько.

- Так нельзя, капитан, с людьми!- выкрикнул гневно Самойлов и зло хлопнул дверью.

\* \* \*

Эту ночь Иван с Клавой не спали. Она месила тесто, пекла, варила. Сквозь слезы кратко взглядывала на мужа. Он сидел успокоенный, молчаливый, сыпал порох и дробь в патроны, молотком загонял пыжи. Набивал патронташ. Собирал походный рюкзак. Проверял одежду, обувь.

- Куда ж ты от дому? - в который раз горестно спрашивала жена.

- За большой рекой есть заброшенный скит. Помаленьку устроюсь. Там будет видно. Пойми меня правильно: я устал. Люди людьми, а правда - правдой. Пока не верят мне, и ты не веришь... пока. Но поверят, надеюсь. Хочу побыть сам с собою.

В четыре утра он прошел в детскую, постоял, привыкая к темноте, нагнулся поцеловать ребятишек. Потом надел полушубок, рюкзак, закинул на плечо ружье. На улице встал на лыжи, приготовленные у крыльца. Клава, тихо давясь слезами, повисла не его шее. Он обнял ее некрепко и отстранил, бесшумно открыв калитку, выскользнул в темноту.

Вскоре он миновал поселок, вышел на проторенную лыжню, сбавил ход, оглянулся на родную, как мать, Сосновку, и широким шагом заспешил от нее. Набегавший из низины ветер бодро толкал его в спину. Ветер ему помогал.

## **СЕРБИЯНКА БЕДНАЯ**

Он и сам не понимал, что с ним случилось. Наверно, это была болезнь. Скорее всего – она, окаянная, наехала, накатила, и пошло-поехало. На такого серьезного, рассудительного человека, журналиста, писателя. Еще недавно он такие статьи отгрохивал, что пальчики оближешь. Да и сейчас выдает. Пожалуй, в городе всех газетчиков за пояс заткнет. А книжки и того лучше, и тут бери куда выше – на уровне края. Если не самый лучший, то рядом с ним. Трилогию накатал, выдержав-

шую два тиража. Впервые за всю историю края. О своем промышленном городе.

- Во, дает, собака!- радостно восклицали мужики, прочитав очередную статью или роман, где среди героев узнавали себя или своих близких, знакомых.

- На-аш, доморощенный самородок. На вид неказистый, а внутри матёрый. И дети – одни сыновья у него получаются. Наверно, на правом боку шурует.

- Будет брехать-то, как кобелюке,- успокаивали таких.

- А что, разве неправду говорю?- делая ударение на второе «о», не отступал всезнайка.- И у сыновей – пацаны. В корень растут михайлята. Берсенев вон какой богатырь, пятерых таких сомнет, а у него одни дустволки получаются.

- Может, на этой почве и шизанулся. Ну, кто умный почти в шестьдесят лет на последние деньги купит гармонь, когда внукам жрать нечего, и будет целыми днями пиликать «Комаринскую» да «Амурские волны»? Такая жизнь при демократах пошла, хоть в петлю лезь, а он на гармошке наяривает, душу веселит, меломан с седой потылицей! Александра Иванович! Вольтанулся ваш Александра Иванович...

- А что лучше пить с горя, руки-ноги в гору поднять? Вечно вы, Берзянкины, притурашные. Сами вольтанулись. А ему в девяносто шестом чуть «пятерку» за статью не присобачили. За правду...

Конечно, обсуждали не при нем, по-за углами. Его еще уважали или побаивались. Но Александр Иванович сам догадывался, что на него показывают пальцем и у виска крутят, мол, сломался правдолюб Михайлов, делая ударение по-кубански на последний слог. Не все в козырях ходить. Но что на таких обижаться, ведь еще Грибоедов изрек, что злые языки страшнее пистолетов. Их бы вот туда, «наверх», направить! Клянут они демократов и власть, только тоже по-за углами клянут. В открытую боятся, хотя недовольство в народе зреет. На недавней акции протеста ораторы без стеснения призывали



брать дубины и рушить выросшие вокруг города и внутри его крепкие, как откормленные поросята, особняки. Не побоялись присутствующего на митинге главу городской администрации Самойленко.

- Значит, до беды осталось совсем немного,- с сожалением констатировал Михайлов, делавший об этом митинге газетный материал.

Он не помнит, когда впервые взял в руки гармонь. Первым начал дядя Гена, пришедший с войны – вся грудь в орденах и привезший русскую гармонь. У него научились Сашкины братья. От них и он, совсем мальцом-дошкольником, мало-мало пиликал: «Сербиянка, сербиянка, сербиянка бедная...» Но в моду входили хромки. Однажды, классе во втором или третьем, Сашка проснулся и не поверил глазам. Возле его кровати, на старом сундуке, стояла маленькая гармошка, полухромка, кажется, двадцать три на двенадцать. И он вспомнил, что старший брат Сережка вчера ездил на рынок.

- Серый привез!- радостно воскликнул он и бросился к инструменту.

- Купил гармозелю,- с улыбкой обронила мать, на секунду оторвавшись от дел.

Сашка взгромоздил ее на колени, аж за голову надел длинный ремень и попробовал лады. Строй был не такой, как на русской. На тех кнопках, на которых игралась «Сербиянка», шел какой-то разнобой. Но он попеременно нажимал лады и басы и как бы вылавливал из них нужные звуки, как из невода рыбок. Занятый своим делом, он не слышал, как подошла мать, остановилась сзади него, мгновение полюбовалась своим младшим, мол, авось человеком станет. И помогла мягким шелковым голосом:

Меж крутых бережков тихо речка течет,

А по ней по волнам быстро лодка плывёт...

Так и подобрал мелодию малец. Но что в том удивительно-

го? Тогда, в послевоенные сороковые, гармошка была самым модным музыкальным инструментом. У брата Бориса Сашка научился играть «Коробушку», у Вовки – «Чешскую польку», у Сергея «Подгорную». Сергей, когда отец уходил в ночную смену, весь вечер играл, как называл их Сашка по словам из песни, «Под городом Горьким» или «У ручья калина». Пиликал долго и нудно, не давая заснуть младшему брату.

Но гармошка в жизни Сашки была делом временным, проходящим. Он сам научил играть на ней своего дружка Хамата Юсупова. Крепко тот взялся и серьезно. Уже подросли парни, стали учиться танцевать у девчонок на весенних полянах, с которых первым сходил снег. По очереди пиликали, а девчонки пели:

Горят костры далекие,  
Луна в реке купается.

А самой любимой песней у ребят была про Баренцево море:

Неспокойно наше Баренцево море,  
Но зато спокойно сердце моряка...

Хамата на всю жизнь захлестнула музыка.

- Хромка вологодская? Ой-ё-ёй! Специфические голоса.

- Нет, самая лучшая – тульская. Это вещь на все времена и народы!

- Вот саратовская звучная, зараза. Певучая.

- А голоса стальные? Быстро отпоются, отвалятся. Особенно на морозе. Нужны медные.

- А калужская?

Куда там с грыжей! Как из тумана пищит, не услышишь..

- Не-ет, что ни говори, а Шуйская лучше всех.

- Точно, это вещь, как лещ,- оба сходились на Шуйской.- Э-эх, двадцать пять на двадцать пять, нам на ней бы поиграть.

- И попроси у меня за это сердце, вырвал бы вместе с корнем!- клялся Хамат, и в его раскосых татарских глазах загорался трепетный зайчик.

Он не изменил своей детской мечте. Уехав в большой город в ФЗО, Хамат окончил и вечернюю музыкальную школу, научился играть на баяне. День и ночь пиликал, «гонял гаммы». Зато «фуговал» «Карусель» и молдавский «ЖОК» Куда за ним было угнаться? Да и гитара входила в моду, завораживала душевным перебором серебряных струн:

Когда в море горит бирюза,  
Опасайся шального поступка.  
У нее – голубые глаза  
И дорожная серая юбка.

На гитаре было легче, можно только аккомпанировать, то есть знать несколько аккордов и брэнчать по струнам до посинения.

Но и ее пришлось отложить. Новое увлечение, казалось, навсегда захватило Михайлова. Сперва стихи, потом проза, статьи в газетах, семинары молодых, обсуждение рукописей, «избиение младенцев», после которых одни бросали литературные увлечения навсегда, другие становились еще упорнее и злее. Он относился к последним.

- Из Михайлова выйдет толк,- заявил однажды старейшина краевых писателей Михаил Васильевич Бородин.- Хотя и простой рабочий, а видение удивительное, и какая проникновенность! Глаз мастера. А язык?! Таких пестовать надо.

Но, как говорится, отошли крыловские времена. Сашка работал на механическом заводе шофером, воспитывал сыновей, а вечерами корпел над рукописями. Кое-что получалось, даже печаталось в альманахе, что было неповторимым праздником для него. Но большинство уходило в стол. После выхода первой книжки ему предложили место редактора заводской многотиражки. Поразмыслив, согласился. Потянул новый воз. Плюс заочный институт – факультет журналистики. Пять лет рвался на пять фронтов: газета, литература, учеба, семья, которые требовали всего без остатка, и собственная душа, разобраться в которой не хватало времени. Но для того и молодость, что-

бы шагать семимильными шагами, не зная усталости и покоя, рваться и рваться вперед, чтобы трещали от напряжения мышцы и пищали мысли.

Хоть с потугами, руганью, спорами с издателями вышли вторая и третья книжки. Его приняли в Союз писателей СССР. По голове вдруг поползла белыми мурашками неумолимая седина. А сделано еще так мало! И знаний еще мало. Замахнулся на трилогию, хотел добить в десять лет. А она заартачилась, руками-ногами заупиралась, словно сказочный Лутонюшка на ухвате бабы-яги. На Высшие литературные курсы надо, восполнять образовательный пробел, будто он – доски недокрашенного кузова – раз-два пшикнул из краскопульты и восполнил. Но при Литинституте, единственном в мире, в котором конкурс двести человек на место... Заманчиво. Краевое отделение Союза писателей рекомендацию дает, а у жены Галины свои рекомендации, не терпящие возражения:

- Какая учеба в сорок три года? Деток накашлял, а теперь в кусты?

Попробовал уговаривать – ни в какую. Пришлось «взять на рэ». Так и уехал чуть ни врагом. Позже уже в письмах помирились. А лекции интересные, и преподаватели почти все знаменитости: Ишутин, Ерёмин, Селезнёв, тихий и дико плодовитый Розов, чьи спектакли шли почти во всех театрах Союза. А про Георгия Ивановича Куницына и говорить нечего: не только весь Литинститут собирался на его лекции, но и из других приходили. Такой правды и любящий очернять Солженицын не скажет. Поведал Михайлов в поезде двум попутчикам-офицерам, тех как ветром сдуло. Наверно, за провокатора приняли. Гласность только начиналась. А Эрнст Иванович – на вид спокойный, флегматичный, с благородными семейными усиками! Это он в Рязани, возглавляя писательскую организацию, не придет на собрание по исключению из Союза писателей Александра Исаевича.

Всю оставшуюся жизнь Михайлов будет благодарить

судьбу, что она свела его с таким человеком и с такими педагогами.

- Самый честный и смелый!- скажет он про Сафонова через несколько лет, когда тот станет редактором «Литературной России».

Эрнст Иванович вел у них семинар прозы. И хотя до курсов они знакомы не были, между ними быстро завязался душевный контакт. Руководитель семинара хотя и казался тихим, но было в его натуре что-то уверенное и надежное, как глыба, исконно русское, доброе, что вселяло в окружающих правоту и уверенность в поступках и взглядах. Роста не богатырского, но крепкий и кряжистый, казалось, он излучал на окружающих невидимую душевную силу, уверенность в себе, веру в литературу и русский народ, который целое тысячелетие кто-нибудь да пытался подмять под себя, сделать своим рабом. И не только французы или фашисты, но и «других времен татары и монголы».

И педагогу чем-то нравился слушатель Михайлов. Он был помладше буквально на два-три года, слыл человеком принципиальным, но сквозь эту принципиальность просматривались и талант, и любовь к России, к своему народу, и непосредственность суждений, и прямота высказываний, от которой тот, вероятно, не раз пострадал.

Кроме Михайлова, на его семинаре был еще один крепкий прозаик – Павел Клеверов из Судиславля. Бывший председатель колхоза. У них обоих проза была приземленной и сильной, держалась на крепком жизненном фундаменте. А в некоторых вещах, как говорил Твардовский, «светилась». Чувствовалось, что эти авторы знают жизнь не понаслышке. Поэтому обсуждение их рассказов, повестей всегда проходило бурно и интересно. Чувствовалось, их не любили те, кто рвался в литературу любыми путями, кто выдавал скоропалительные кирпичи жидких романов, зиждившихся на незнании жизни. Да,

они стремились любыми правдами и неправдами пробиться на литературный Олимп. При обсуждении рукописей они, словно шавки, пытались побольнее укусить Михайлова и Клеверова. Те же в свою очередь доказывали свою точку зрения обстоятельно и уверенно.

- Эти будут коренниками литературы,- довольно говорил себе Эрнст Иванович, гася улыбку в коротких упругих усах,- и за кусок пожирнее не предадут народ и свои взгляды. Но жизнь у них будет нелегкой...

Незаметно проскочило два года. Михайлов не искал выгодной работы в московских издательствах и журналах. На другой день после возвращения домой пошел на родной завод, которому отдал двадцать лет. Там, бывает же такое, вновь предложили ему редактировать многотиражку. И он, не задумываясь, впрягся в знакомую редакторскую телегу. Призывая коллектив к перестройке, помогал переходить на арендный подряд, по наивности души поверив в призывы политического проходимца и недоумка. И вновь взялся за свои романы. На душе было хорошо, словно только родился, и работалось легко и плодотворно. Он капитально переделал первый роман трилогии. За три года написал второй, а вскоре и издал. Третьему отдал четыре года.

Это были самые напряженные годы его творческого вдохновения и работы. Даже провал перестройки и обещанной демократии не сломал его, не выбил из седла. Он весь отдался борьбе с коррупцией, разбоем, развалом страны, так тонко задуманными ее правителями-расстригами.

- Все эти гласности, перестройки, демократии, обновления, права человека – блеф капиталистов и наживка на крючок, которым ловят наивный, простодырый народ,- доказывал он в своих последних статьях и книгах.- Не зря говорится: «От добра добра не ищут». А мы расставили шире уши, поверили проходимцам.

Его статьи и изречения не проходили бесследно. Далеко не всем они нравились. Появились жалобы в прокуратуру «дерьмократов», как он их называл. Вызовы и написания объяснений. Косился и директор завода, обещавший закрыть газету.

- Мы в три раза сократились численно, десятую часть выпускаем того, что было до перестройки. Из крупнейшего в отрасли превратились в наименьший в городе! Люди бедствуют, голодают. Разве вас устраивает это?- давал ему отпор редактор.

- Нужно находить пути выхода из кризиса. Учиться работать у Запада. Не бояться принимать решения,- с пеной на губах доказывал тот.- А мы привыкли, чтобы нами руководил горком.

- Я не против этого. Но разве лучше и зачем рвать налаженные связи, изобретать велосипед и самому лезть в петлю, когда все работало четко? Запад у нас многому учился. Устранять недостатки – да. Ставить с ног на голову ради показухи Западу – нет!

Сколько бессонных ночей провел он в муках и поисках выхода. Последний роман трилогии ломился от криков его души. Россия была растоптана, народ поставлен на колени. Начал вымирать. По воле своих же правителей, узурпаторов, захвативших власть.

Михайлов готов был сражаться с каждым из них, встать к барьеру с любым, начиная от первых президентов СССР, России, кончая последним поганым демократом, помогающим разваливать великую страну. Об этом он открыто заявил в романе.

Но что может сделать простой провинциальный писатель, редактор захолустной многотиражки, где он, оказывается, тоже не во всем волен? Не стало ЛИТО, горкома партии, но цензоров заменили директор, городская администрация, прокуратура, куда могут вызвать за то, что ты назвал оборотнем генерала-расстригу Волкогонова. Газету может закрыть дирек-

тор завода или совет директоров и оставить тебя без куска хлеба, а читателей без последнего глотка правды.

\* \* \*

Все зашаталось и стало разваливаться. И только одно еще подпитывало силы Александра Ивановича – это народные позиции журнала «Молодая гвардия» и двух центральных газет, двух «Россий» - «Советской» и «Литературной», редактором которой был поставлен Эрнст Иванович. Михайлов считал, что на этом посту и проявились талант и несгибаемая воля редактора еженедельника, отстаивающего интересы своего народа. Эрнст Иванович не только находил время бороться за все святое, но и иногда мог черкнуть пять-десять строк своему далекому ученику, удивиться и посочувствовать тому, что его книга вышла двух- или пятитысячным тиражом, подбодрить дух теплым словом, мол, держись, мой единомышленник, представитель униженного народа, помогай ему, брошенному политиками в одиночестве.

И Михайлов держался, тянул из последних сил, глубоко переживая за народ. Но иногда ему с горечью казалось, что его талантливый и веселый народ сам позволил надеть на себя петлю, что он стал бессловесным быдлом и заслуживает таких правителей, которых допустил при своем молчаливом согласии.

Его друзья-литераторы жаловались на духовный застой и кризис жанра. Даже Павел Павлович Клеверов, поздравив с выходом последнего романа трилогии, посетовал, что жить невыносимо трудно, и писанина, книги на ум не идут.

«Нет, мне, слава Богу, пока пишется и кризисов жанра не наблюдается. Единственная беда – не хватает времени. Отвлекаешься на мелочи. Помнишь, как наш проректор Валентин Васильевич Сорокин говорил: «Что бы ни случилось, нужно писать»? Пока я следуя этому умному совету. Ты видишь, не стало книжек, умных книжек наших хороших авторов, кроме порнухи и тех, где море крови, чем пытаются погубить моло-



дежь, будущее страны. И я думаю, надо хоть через силу писать. Иначе крах нации».

- Даже Паша не выдержал!- горестно выкрикнул он.- Голубоглазый человек от земли. Значит, это уже предел. Дальше допускать нельзя.

У него невольно покатались слезы, когда узнал о самоубийстве хорошего поэта, почти земляка Бориса Примерова, не выдержавшего издевательств над народом. Действительно, писатель не врач, но боль народная.

- Бориса, если не ошибаюсь, маленьким ребенком фашисты шваркнули головой об стенку. Фашисты не убили, так демократы помогли, собаки...

Зарплату не выдавали месяцами, и в том году у него не было денег, чтобы выписать любимую газету. А когда на следующий год выписал и стал получать, увидел, что в ней сменился редактор. Он позвонил на Высшие литературные курсы.

- Ты разве не знаешь, Саша,- с болью в голосе ответила завуч Нина Аверьяновна,- Эрнст Иванович умер ночью на даче, работая над очередным номером «ЛитРоссии»?

Это был очередной удар немилосердной литературной судьбы. Сразу вспомнились последние встречи с ним. Тогда в Теплом Стане они сидели в кабинете Эрнста Ивановича на его квартире и негромко вспоминали учебу на ВЛК, последние литературные новости и байки. У Александра Ивановича стояла в сумке бутылка коньяка, но он так и не осмелился ее достать. Они пили чай с печеньем, вспоминали общих знакомых

- Эрнст Иванович, расскажите, как исключали из Союза Солженицына, о «Бакенщике» Маркина,- несмело попросил гость.

- Когда же мы перейдем на «ты»?- спросил хозяин с улыбкой.

- Давайте перейдем,- в замешательстве согласился Михайлов, так и не сумев перейти этой условной грани дружеской близости.

Эрнст Иванович сжато, в нескольких словах, рассказал суть и даже не намекнул о своей большой скромности, честности и порядочности. Оказывается, Маркин написал о бакенщике – тезке Солженицына. А конкретно о Солженицыне он почему-то не стал говорить. И только через несколько лет Михайлов понял, что патриот Сафонов раскусил этого расстригу и предателя СССР, но из-за своей природной порядочности не стал поливать грязью, хотя сам тогда и его карьера сильно пострадали, ему пришлось оставить пост и долгие годы перебиваться с хлеба на квас. Но разве трибуну развала страны, поддержанному врагами Союза и Нобелевской премией, привыкать идти по чужим головам? Хотя бы был настоящим писателем, а то ведь враль-документалист типа посредственного районного газетчика, щелкопера, предавшего свою родину и все святое, замахнувшегося своими грязными лапами затхлого ээка на великого Шолохова, которому и в подметки не годятся его пасквили, подметные письма и доносы врагов народа, из которых кое-кто захотел сделать героев-мучеников сталинского режима. Да и сам Солженицын, оказывается, специально себя скомпрометировал на фронте, чтобы не погибнуть, и не захотел дошагать до дня победы, а открыто сообщил в переписке о своем отношении к Сталину и властям, зная заранее, что его за это уберут с фронта. Об этом позже узнает Михайлов из книги «Спираль измены Солженицына» чешского журналиста Томаша Ржезача, который работал вместе с Александром Исаевичем после его выдворения за границу, и которого позже тоже предал вермонтский себялюб-затворник с трусливым взглядом, «диссидент № 1». Не случайно Ржезач и разделал его под орех, законно называя предателем и «презренным изменником своей прекрасной Родины».

В последний раз они случайно встретились на 7-м съезде писателей России в вестибюле ЦДСА. Большой Кремлевский дворец, как сначала намечалось, им уже не дали. Начиналось отлучение писателей от России. Эрнст Иванович был чертовс-

ки занят. И все-таки после крепкого рукопожатия пригласил:

- Заезжай прямо в редакцию. Хоть полчаса поговорим.

Но увидеться им больше не суждено. Александр Иванович каким-то дальним чутьем предчувствовал это. Трудно одному человеку удержать на плечах такой неподъемный груз, как боль всей России. Даже если он богатырь. И Сафонов не выдержал.

- А где же были мы, все остальные, кто любит Россию, чей груз он держал на своих плечах? Нам должно быть непростительно стыдно, ибо мы остались посторонними наблюдателями!- укорял себя Михайлов, прикусив от досады губу.

«Большие благородные люди,- думал он с горечью,- как былинные богатыри, встают на защиту своего народа и, к сожалению, гибнут, как бы говоря этим, чтобы народ помнил о своем достоинстве». И перед ним поднимались сиреневые тени Пушкина и Лермонтова, Есенина и Рубцова, о котором в общезнании Литинститута по улице Добролюбова еще ходили легенды.

А гайки закручивались и закручивались. Мизерная зарплата в сто пятьдесят тысяч рублей выдавалась раз в квартал, и то к таким событиям, как выборы президента, губернатора или директора завода. Да и деньги эти стоили дешевле мусора. Материально выжить было очень трудно, а духовно и того труднее. Нужно было умереть или не обращать внимания, сделаться придурком, зомби или беспробудно пить. Тем более литератору, журналисту, как и людям других творческих профессий, вино часто было спутником – отрицательным или положительным – это другой вопрос. Ежедневный стресс нужно было как-то снимать. В былые годы снимал его выпивкой и Михайлов. Порою хорошей выпивкой, что к утру другого дня делало голову ясной и будило невероятную творческую энергию и фантазию. Этот путь был безошибочным и знакомым.

- Но как можно пить сейчас, в это жуткое для народа и

России время, когда они гибнут безоглядно в руках своих же правителей, которые для них хуже откровенных врагов?- спрашивал он себя.- И так уже вся Россия спилась. Так можно все последнее пропить и предать в пьяном угаре, что и делалось в последнее время. Я не имею права пить, веселиться, когда больно моей стране, ибо пьянка – это предательство, на которое наталкивают нас сами власти. Не любят они народа. А коммунисты боролись с этим злом.

И вот уже три года, как он не выпил ни грамма, даже пива. Знакомые порой посмеивались с издевкой:

- Закодировался Михайлов, чтобы не спиться.

Он им не доказывал, что грех пить, когда все рушится в бездну. Разве докажешь?

- Просто не до питья сегодня. Да и сыновья у меня. Напьются – отругаю, как следует. И ничего, износят. А так начнут кивать, мол, сам-то не безгрешный. Да и курить я решил бросить окончательно. А с выпивкой до первой рюмки.

В этом тоже была правда. Частичная. Пусть люди думают, как хотят. Им с его совестью один на один не оставаться. Но когда ему становилось невыносимо трудно и когда он находился на грани слома, то всегда спрашивал себя:

- А как бы поступил Эрнст Иванович, которому имя прогрессивные родители дали в честь вождя немецкого пролетариата Эрнста Тельмана?

И воспоминание об учителе остужало его и уберегало от непредвиденного поступка. Но жить было тяжело. На его плечах находилась семья. Уже взрослые, женатые дети, которых не научил ни воровать, ни выдирать у других из пасти. И он старался, тянул за троих. Тянул газету, не сдавая своих взглядов, тянул прозу, дачу и огород, которые кормили семью картошкой и овощами, ягодами и фруктами. Его жена закручивала сотни банок с помидорами, огурцами, салатами, вареньем, чтобы выжила их дружная семья, чтобы не знали голода внуки, как знал в детстве он.

А душу можно было затянуть в узел, чтобы не стонала, не ныла. Чужим газетам уже не верил. Читал книги из своей библиотеки, еще тех авторов, которых любил долгие годы, классиков и тех, за кем гонялись в 60-80-е. Вот и настало для них время. Над телеящиком откровенно смеялся:

- Слушать разлагающую брехню всяких свинидзе, гимоз, разбашей, у которых в середине фамилии не хватает твердого знака и скромненькой гласной буквы «е», кривошеего Дуренко, эту, с длинной лошадиной мордой, у которой «шары драповые», других продажников, которые за доллары кинут вместо подстилки и родную мать, не только Россию, – это ниже человеческого достоинства.

Он смотрел только одну честную передачу – «Играй, гармонь». И умилялся. И вспоминались детство, юность, когда сам баловался гармонью. Он видел на экране веселый народ, и это несколько снижало нервное напряжение. А душка Геннадий Заволокин казался таким близким и родным, будто не было роднее его человека. Возможно, это был самообман, но скольким людям он помогал выжить в эти трудные годы политического и экономического беспредела! Наверно, тысячи, если не больше, спасал от инфаркта, инсульта. Не зря поэт сказал: «Мир безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Сибиряки Шукшин в литературе, а Заволокин в игре на гармонии выглядят истинными самородками, от которых светло на душе и тепло во всей России, думал с радостью Михайлов. Нередко он промокал украдкой выступившую на глазах влагу и старался молчать, ибо голос его в это время становился глухим и грубым.

В декабре он получил в горсовпрофе небольшие деньги за проданные книжки и на них купил полную хромку. И не какую-нибудь, а Шуйскую!

- Вы уж не огорчайтесь,- виновато сказал он дома.- Купил вот инструмент музыкальный, как назвал его один знакомый поэт: «Эх, гармошка, гармошка – инструмент музыкальный!»

В общем, двадцать пять на двадцать пять. Все, что заработал к старости.

Ни слова не сказала жена, лишь посмотрела с минуту и молча вышла, мол, блажь наша на муженька. Ненадолго заглянули дети, не скрывшие осудительного любопытства. А шестимесячный внук Егорка даже потянул ручонки навстречу издающему звуки инструменту, блестящему темно-красной пластмассой. Считай, поддержал. И то уже дед не один остался.

Он начал несмело, закрыв перед этим плотнее двери и окна, чтобы не слышали соседи. «Будто вор», - буркнул себе. И оказалось, что из всего былого в юности репертуара, а это было не менее двадцати мелодий, он не забыл только «Подгорную», ранее называемую «Сербиянкой», и «Коробушку». Остальное за тридцать лет вылетело из памяти начисто, и пальцы беспомощно плавали по белому морю клавишей, словно видели их впервые.

Но он был невообразимо настойчив и упрям, к чему его приучили литература и газета. А его длинные тонкие нервные пальцы за многие годы печатания на пишущей машинке не потеряли юношеской гибкости и упругости. И хотя он не считал себя в этом деле профессионалом, лет двадцать назад до шести страниц мог напечатать без единой ошибки. Сейчас, в свои пятьдесят пять, он до двух-трех пропускал на странице, что было меньше допустимого, и он еще барабанил вовсю, на зависть молодым.

И пальцы его с охотой забегали по клавишам шуйского чуда, выжимая из них тревожащие душу звуки, из которых постепенно складывались мелодии. В основном это были мелодии его юности. Они казались ему ближе и глубже современных, вполне осмысленными и несущими определенные психологические нагрузки, вызывающие те или иные чувства и настроения. Наконец, приближающие те быстро проскочившие годы юности.

Сейчас даже подбиралось легче, чем в юности, и мелодии,

казалось, получались гуще, звучнее, разнообразнее. Наверно, это зависело от песен, а может, и от удачи. Но некоторые звучали до того хорошо и естественно, словно играл мастер. И когда он заиграл и запел: «Кондуктор, не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда», ему показалось, вместо гармошки играет баян или аккордеон, что в душе его что-то невольно ворохнулось, как в те далекие пятидесятые годы, и перед глазами поплыли сиреневый туман и та далекая девушка Оля, с которой действительно расстались навсегда.

- Уж не с ума ли схожу?- искренне прошептали его губы, а память повела дальше и дальше, словно просматривал кинозапись о своей жизни.

Со временем вспомнились и «Одинокая гармонь» Фатьянов, которую любила петь его покойная мать, и есенинские «Глухари» и «Клен», и радыгинская «Уральская рябинушка», и «При лужке-лужке», и «Ой красивы над Волгой закаты», и многое другое вспомнится за несколько месяцев, пролетевших, как в сказке. Вспоминались слова старых частушек, пришедших из тех далеких и неповторимых лет:

И на юбке пыжи,  
И на платье пыжи,  
Привязался лейтенант:  
- Покажи да покажи...

Пелись они на мотив «Сербиянки»-«Подгорной», которую он любил и играл особенно старательно, выделявая неожиданные коленца и переборы, подстегивая слух дружными аккордами.

Ты зачем моя подружка,  
По двору-то лазила?  
Утащила две цыпушки,  
Поросёнка сглазила...

Это уже из недавно услышанной в заволокинской передаче, откуда-то из далекой Сибири.

Щеки белы, как сметана,  
Груды жарки, словно печь.  
Приходи ко мне, матаня,  
По утрам олады печь...

А это была собственная, придуманная им в минуты вот такого вдохновения. В это время, казалось ему, можно горы перевернуть, ведь человеческим возможностям нет предела. Можно запрыгнуть на высоченную белолистку, отделяющую его дом от бурливой Кубани, ветви которой заглядывали прямо в окно его спальни. По ночам они нежно нашептывали ему интересные и всегда новые сказки, и его расшатанные за день нервы успокаивались, и он не так маялся, как раньше, быстрее засыпал, уходил в свои увлекательные сновидения.

В них нередко прямо из окна спускался на кубанский берег и брел по нему вверх или вниз по течению. А то заходил в крутые стремительные волны и несся сломя голову по самой стремнине к далекому синему морю.

Вот, чем для него была гармошка! Он понимал, что это не баян, а более примитивный инструмент. Но в нем была душа. И даже был один регистр, который переводил мелодию на более низкую тональность и который гармонист иногда переключал. Поначалу он достал машинописный листок бумаги и заносил на него песни, которые уже играл или задумал научиться играть. Постепенно репертуар рос и рос. С десяти до двадцати, с тридцати до шестидесяти. А когда обе страницы заполнились, он добавил второй листок, и мурашами поползли по нему буквы и строки с названием новых песен.

Не забывал он и о работе, и о литературе, и о даче, и о огороде, на которых бывал чуть не каждый день. Но то время, которое раньше отдавал на отдых, которое забирали дурные привычки, теперь отдавал игре на гармонии, отдавал своему хобби.

Уже начал ходить младший внук Егорка, черноглазый пу-



занчик, любивший крутиться вокруг деда. В паре с дедом или старшим внуком, Женькой, они уже плясали «Цыганочку» с выходом в кабинете-спальне Михайлова. И дед, наяривая на все лады и широко растягивая меха, откровенно и радостно хохотал. Зашла как-то жена Галина, села рядом.

- Седина в бороду, бес в ребро? - сказала она уже примирительно, прислушиваясь к мелодии. И вдруг заулыбалась, вспомнив студенческие годы, молодость, и затянула вполголоса: - Манит сень акаций прогуляться в такой момент... А ночка лунная, девчонка юная, из-за тебя погибнет, кажется, студент...

И на душе у Александра Ивановича от этих слов сделалось как-то по-юношески тепло. Они будто подбодрили его, вселили новую веру в себя, в это новое его занятие, считавшееся некоторыми чудачеством. И он благодарно глянул в ее уставшие карие глаза, и играл, играл – уже собраннее, увереннее и звучнее, как настоящий гармонист, музыкант, что был всегда уважаем в народе.

Со временем он заметил, что после часовой игры на душе его светлело и теплело. Исчезали нерадостные мысли и плохое настроение. Уже выстраивались несколько тематик песен. Военную составляли «На позиции девушка», «Землянка», «Катюша», «День Победы» и многие другие. Были лирические, шуточные, «Рябина» простая и уральская. Вспоминались жигулинский «Ванинский порт» и блатная «Мурка», «Глухой, неведомой тайгой» и «Подмосковные вечера». Английские и итальянские песни. Последние особенно показались близкими: «У нашей Чилиты» или

О Марианна, долго спишь ты, Марианна,  
Мне жаль будить тебя, я буду ждать.

Многое из того он раньше и не играл. И, конечно же, не один вечер просидел над самым знаменитым немецким фокстротом, который когда-то распевала вся Европа и на мотив которого исполнялась студенческая песня:

А летом, а летом мы едем без билета,  
Нас ревизоры знают, штрафуют, снимают.  
А мы им ответим студенческим билетом,  
- На нас ты не кричи, ведь мы не богачи.  
Студенты гении – пора бы знать...

И это была такая энергичная и возбуждающая мелодия и так удачно подобранная, что ему показалось – вернулась молодость.

- Кто это у нас в подъезде играет?- с полуулыбкой-полуушемской все чаще спрашивали соседи.

И Михайлов стеснительно мялся, будто кого-то незаслуженно оскорбил или обокрал. Эта игра на гармошке ему самому иногда казалась непрослительным мальчишеством или блажью, и он переводил разговор на другие предметы. Переживал и казнил себя за это, но ничего не мог сделать. Оказывается, в тяге к гармонии была такая могучая сила, одолеть которую просто не мог. Он стеснялся, как мальчик, соседей, жены и детей. Плотнее закрывал двери и окна, чтобы не помешать им. И если зимой это хоть как-то удавалось, то знойным южным летом трудно было находиться в закупоренной, как сейф, комнате. Дышать было нечем, и пот лил с него градом.

Но искусство требовало жертв, и он приносил себя в жертву. Ему вспоминались те молодые годы, когда с гармошкой не стеснялись выйти на лавочку, плясали «Цыганочку», «Барыню». Приходили из-за «чугунки» и заречья. Гармонист ценился выше печника и плотника, был самым уважаемым человеком. Вот как люди соскучились по веселью!

Об этом же ярко говорила телепередача «Играй, гармонь». Самая бесхитростная, без политики, откровенная, считал Михайлов. Никакой тут агитации. Лишь отдушина для простого человека, для русского, ибо все мы вышли из хуторов и сел, с которыми связаны не только семейными корнями и кровью, но

и гармошечным искусством, идущим из самой глубины души. Почему же тогда стесняемся этого искусства?

- Учитесь, пока дед живой,- вроде бы шутя говорил сыновьям. А в глазах надежда и ожидание.- Это самый народный инструмент. Все те, что какофонят по телевизору и в клубах, проходящи. Поэтому и любят передачу «Играй, гармонь». Этому Заволокину и его подручным нужно при жизни памятник поставить. Так, как назло, ее время наполовину сократили. А пока любят гармонь и играют на гармонии, нация будет жить. Это как литература, идущая от Пушкина, Шолохова, Шукшина.

Дети соглашались с отцом, но желания играть не проявляли.

- Для начала я вам покажу элементарные вещи. Вон «Сербиянку» можно сыграть на трех нотах или на одних басах. «Сербиянка» на басах, каково, а?! А потом сами втянетесь. Расширите арсенал. На гитаре-то уж очень просто, можно бренькать, и все. А тут осмысленно, с широким диапазоном.

Скромно улыбались сыновья, наверное, чтобы не обидеть, и потихоньку исчезали из комнаты. А внуки еще были малы. И его брала вечная, как мир, обида: дети не понимают отцов, не продолжают их дело.

- Я ведь не прошу стать писателем или журналистом – такое один из ста тысяч потянет!- обескураженно признавался он и бессильно опускал руки. Дети артистов могут наследовать их дела, а вот дети писателей – музейная редкость. Трудная профессия.- Гармонь – это часть русской души, без которой не узнаешь полноценной жизни. Многие хорошие литераторы подняли вверх лапки, смирились с положением в стране. А гармонь не сдастся. «Сам себе казался я таким же клёном, только не опавшим, а всюю зеленым...» Какую веру вселяют эти слова и мелодия! Плакать от счастья и полноты жизни хочется! Разве вы не слышите? Недаром и Есенин, и Рубцов играли на гармошке. А «Здесь под небом чужим»! Разве она не для каждого из нас? Разве не выворачивает нутро своей тоской?

И его пальцы невольно тянулись к клавишам, и на помощь им приходил его робкий глуховатый голос:

Из какого же вы, из далекого края

Прилетели сюда, на Кавказ, журавли?

И ему было жалко всех обездоленных и одиноких людей. И редкие несмелые слезинки скатывались по продольным складкам его уставшего от жизни, но одухотворенного лица. И ему вспоминалась жизнь с самого раннего детства, когда начал ее помнить. Мать с отцом, братья, друзья... Но, как заметил он, вспоминались только хорошие моменты, будто жизнь его прошла без сучка и задоринки. Тихая мелодия как бы облагораживала ее, поэтому мысли приходили не злые, а мягкие, веселые, отчего добрели душа и сердце, и хотелось делать окружающим только хорошее, доброе, что бы радовало человека.

- Вот ведь оказия!- наивно удивлялся Михайлов.- Пуще пьянства затягивает. Уводит в такие кущи, снимает любой стресс. И голова после этого не болит, и на людей не боишьсядохнуть, и жена не нарадуется. Какая силища в ней! Вот тебе и гармозель, вот тебе и сербиянка бедная! Да это душевный инструмент, способный уберечь от инфаркта и сделать хоть ненадолго счастливым!

И вместе с этим он начал страдать оттого, что на него начали поглядывать с нездоровым любопытством, мол, того, вольтанулся писатель на старости лет. От переизбытка чувств и эмоций. Впадает в младенчество.

Но как им доказать, что это совершенно не так, что гармонь уводит его от бед, от жизненных трудностей, которые поставили людей на грань вымирания, развалили его Великую и богатую страну? К сожалению, он бессилен помочь им, хотя делает для этого все, получает незаслуженные пинки и плевки. Написал в газете, что директора грабят предприятия, получают по сто и более миллионов ежемесячно,- нехорош. Поддержал кандидатуру честного человека, коммуниста в губернаторы – красно-коричневый. Пропустил правдивую статью об

обвале экономики – враг рыночным реформам... И каждый раз, печатая такую статью, он, как горький пьяница на рюмку, говорил: последняя. Но ничего не мог поделаться с собою, и все начиналось сначала.

Люди, наверно, думают, что в газете работа – мёд. Каторга, а не мёд. За год столько напишешь, что хватило бы на толстый роман в четыреста страниц. За четверть века в газете он написал бы дополнительно двадцать пять книжек. Но нужно кормить семью, зарабатывать на кусок. А книги для провинциального писателя – лишняя трата времени, здоровья, средств. В общем, блажь! Если до 1991 года государство помогало с выходом книг, то после него наступил хаос. Выпускают книги те, у кого есть деньги или богатые спонсоры. Поэтому не стало хорошей литературы, поэтому кровь льется рекой, а секс стал вместо иконы. Темы эти заполнили экраны телевидения, и общество покатило на самый край гибели. По-черному пошло разложение молодежи, за что кучи зеленых сыпались в карманы ведущих телеболванов, необразованных и тупых, готовых продать за доллары не только Россию, но и свою мать, отца и все самое дорогое и близкое.

Так считал Михайлов и сопротивлялся всему этому, как мог. А мог мало. Иногда пытался следовать словам Льва Толстого: «Делай, как должное, и пусть будет, как будет». Но слышалось в них что-то соглашательское, лицемерное и в данной ситуации как бы разрешающее жить вольготно жуликам и растлителям, дегенератам и расстригам, политическим проституткам и духовным пигмеям. И Александр Иванович жил, как подсказывало его сердце, не думая идти на компромисс с совестью.

Тем апрельским днем прошлого года ничто не предвещало неприятностей. Он был по-весеннему солнечным, теплым. И душа радовалась молодому зеленому бархату деревьев, травы, пению птиц, наступающим майским праздникам, лету. Михайлов вчера выпустил газету в типографии и сегодня привез ее тираж на завод, тем самым завершив один из многих газетных

циклов: собрал материалы, подготовил и выпустил номер, раздал по цехам. Завтра начнется все сначала, а сегодня результат его недельного труда попал на суд читателей. Вот такая коротенькая радость в жизни журналиста-многотиражника. Рынок и падение в экономическую бездну предприятия сократили единственного, кроме редактора, в штате литсотрудника, а машинистки и корректора у него никогда и не было. Он все делал сам. Даже газеты разносил по цехам, за что прозвали почтальоном Печкиным.

Он завез пачку газет и в совет общественного самоуправления, где и встретил этого придурка Сидорова из городской администрации.

- Дай мне экземплярчик,- попросил тот.

И Михайлов дал. Вообще-то он, как и многие горожане, испытывал неприязнь к этому человеку-флюгеру с бугристым лицом и какими-то пустыми мутными, как бражная гуща, глазами, словно он укрывал их мутной пеленой. Когда-то этот Сидор, как его дразнили, был секретарем парткома крупнейшего на Северном Кавказе деревообрабатывающего комбината. Потом заведовал промышленно-транспортным отделом горкома КПСС. Был заместителем председателя горсовета. Но и теперь, когда с Советами покончили, он, на удивление, удержался на плаву и вновь какими-то непонятными путями пролез в помощники главы городской администрации не то по казначеству, не то по стукачеству, думал Михайлов. Липкий и отвратительный тип, способный, как один из героев книг О. Генри, вести многочасовые демагогические речи на любую тему и нести такую несусветную ахинею, что у слушателей не только пухли уши, но и зябла душа, и начинался нервный колотун.

- Такой, как дерьмо в проруби, не утонет при любой метаморфозе!- зло сплевывал Александр Иванович, стараясь быстрее перевести мысли на другое, словно боялся испачкаться.- Зато сам, кого хочешь, утопит.

Так оно и вышло. В обеденный перерыв ему позвонила из директорской приемной секретарша.

- Александр Иванович, в час ваш ждет у себя Дубинин.

- А что случилось?- встревожился тот.

- Не знаю. Велели срочно...

Нехорошее предчувствие обдало его нутро змеиным холодом, и он поспешил в управление, зашел в кабинет заместителя директора.

- Что случилось?- спросил с порога.

- Ты чего напечатал в статье Бабаевского?

- Ничего особенного, ты ведь знаешь, он наш знаменитый земляк, известный на весь мир писатель. Поместил две страницы из его воспоминаний.

- А чего ж он лезет в политику, называет беловежских зубров Иудами?

- Это его личное дело. Тем более – человеку почти девяносто лет. И как назвать тех, кто развалил Великое государство, пустил по миру трудолюбивый народ – Христами-спасителями, что ли?

- Да это же политический акт накануне выборов президента! Ты с ума спятил! А что скажет директор, вернувшись из командировки, глава администрации Самойленко? Тебя и меня за мотню подвешат, понял? Сейчас звонил Сидор, разнес нас в пух и прах. Уже юристов подключили. До пяти лет тюрьмы тебе грозит. И меня, замещающего директора, не помилуют, туды твою мать...

- Ты-то при чем? У нас же демократия, свобода слова.

- Но ты же ножку подставил этой статьей, очернил самого президента!

- Там вещи названы своими менами. Семен Петрович пишет, что Христа предал один Иуда – искарriot, а Советы предали три Иуды: Иуда Ельцин, Иуда Кравчук и Иуда Шушкевич. Я тоже так думаю.

- До хрена ты больно думаешь!- все сильнее распалялся

рослый и крепкий Дубинин, по чьей голове разбежались кудряшки, словно каракулевые ягнята.

Надо сказать, Михайлов его знал много лет. Когда-то они вместе работали в транспортном цехе. И юнцом Витька был таким повесой, что не дай бог. Но как-то постепенно окончил институт, завел связи в прокуратуре, ГАИ и выбился в люди. Попав на волну развала страны и рыночных отношений, он так в них вжился, как будто там и родился. Строил себе особняки и дачи без зазрения совести, чаще перчаток менял автомобили. Заводил такие связи, в которые не хотелось верить.

- Дурак дураком был, а смотри, как высоту набрал!- не раз удивлялся редактор.- Хотя человек по натуре не злой. Поможет в просьбе. Тут уж надо отдать ему должное. Сейчас такие и были нужны. И, как и раньше, ветренный, безалаберный, чего же так перепугался?

Кормушку боится потерять? Так наворовал на пятьсот лет. И с прокурором на «ты», в саунах вместе квасят. Быстро перекрасился, а еще недавно на заседаниях парткома дрожал за свои проделки осиновым листком.

- Там уж и госбезопасность заинтересовалась. Поехали к Сидорову, может, отобьемся...

В коридорах конторы и на крыльце их провожали любопытными взглядами. А ярый «демократ», бывший зэк, а теперь инженер по пропускному режиму Лузгаев, который перелял не только всех коммунистов, патриотов, но и лиц без партийной принадлежности, цинично бросил вслед, будто вынес суровый приговор:

- Достукался редактор, в Госбезопасность повезли коммунаку!

И все эти конторские, заводские, рядом с которыми проработал три десятка лет, которые в прошлом году повязывали ему ленту почетного ветерана труда завода и о каждом из которых он не раз писал в газете, похвалил или заступился, по-



казались ему осуждающе-чужими, злорадствующими, словно хотели сказать: «Довыступался, правдолюб, довыпендривался. Вот теперь и попляши!» Ни один не посочувствовал, кроме секретарши директора, не сказал доброго слова на прощание. Чем не 37-й год?

- И ты рвешь задницу за этот народ?- с сарказмом спросил он себя.- И пойдешь на каторгу, как ходили революционеры, за то, что хотел найти правду, заступиться за него, за тех, кто добровольно разрешил надеть на себя петлю и теперь презрительно и злорадно смеется над тобой? Может, он поистине заслуживает таких правителей? Может, он, действительно, быдло? Нет, ты жестоко ошибаешься в горячке. Остынь, успокойся...

В голове редактора была мешанина. Мысли перепутались, прыгали с одного на другое. В душе было так паскудно, и он вдруг почувствовал себя таким маленьким и беспомощным, что захотелось завывать от бессилия, закричать во все горло, позвать, как в детстве, на помощь отца, в конце концов, сыновей, которых еще недавно сам беззаветно защищал и которых растил для защиты и процветания Отечества, да и теперь не бросал в трудностях. Что это – снова возвращается ГУЛаг, 37-й год?!

Но его голоса, его беду никто не слышал. Рядом сидел за рулем непробиваемый, как броневик, Дубинин, безотказный исполнитель чужой воли. Также, наверно, и подписывали, и исполняли те страшные приговоры: лишь бы не их судили.

Отбиваясь от волков, из преследуемого стада оленей выходят им навстречу несколько животных, добровольно приговоривших себя к смерти. Они, конечно, погибнут, но стадо останется жить. А детеныши станут взрослыми и продолжат жизнь роду. Почему же люди, находясь на верхней ступени развития, не понимают этого, не поступают так, как требует природа? А он думал, почему в те суровые годы не поднялся весь народ? Оказывается, у него трусости больше, чем у животных. В результате по одному сажали и кокали целую нацию.

Дубинин гнал полным ходом асфальтового цвета «Мерседес», не обращая внимания на красные светофоры. «Он тут свой в доску, его не остановят, как не остановят всю эту систему, если не возьмется всем миром,- мрачно констатировал Михайлов.- А ты оказался чужим в этом городе, как сербиянка бедная, хотя и написал о нем целую трилогию. Единственный человек в крае, написавший трилогию о своем городе! И за это черная неблагодарность? За это тебя повезут, словно последнего злодея, на административную разборку, на эшафот? И ты, лучший журналист города, лучший писатель края, дашь этой погани себя повязать? А жена, а дети, а внуки – пропадай?»

Да, ударили неожиданно, поэтому ввели в смятение, сбили с ног. Но еще не убили. И не так просто убить человека, который идет вместе с правдой, который в правде очень силен! А она, правда, сейчас в твоём сердце. Разве ты из личной корысти боролся за эту страну, за народ? «Хорошо умереть за свою Родину,- говорил полководец Скобелев.- Нет смерти лучше этой». Да ты схватись за руль, шоркни этого придурка о встречный грузовик или в реку с кубанского моста. Хоть одним дерьмом станет меньше... Не суетись, потом сидеть будешь за такого. Рано или поздно народ сам с ними разберется, как и с узурпаторами российской власти. «И вы не смаете своею черной кровью поэта праведную кровь...»

Кабинет Сидорова был полутемным узким и длинным и показался Михайлову тюремным коридором. А его хозяин – надзирателем. «И устроить тебя в настоящую тюрьму этим соколкам ничего не стоит». И он отбивался, как мог.

- У нас демократия, и каждый волен в своих высказываниях,- с негодованием доказывал редактор.

- А предстоящие выборы? Это политическая акция, и за нее придется отвечать по закону.

- Тогда почему замазываете глаза демократией? Разве не Иуды предали СССР, свой народ?

- Не лезь в бутылку,- толкал его ногой под столом Дуби-

нин.- Покричит и остынет. Видишь, казачий предводитель с пашкой наголо сел на коня?

- Да пошел он... Во-вторых, уж если на то пошло, это не лично мои слова, а старейшего в стране писателя, трижды лауреата Государственной премии, написавшего роман «Кавалер Золотой Звезды» и кучу других.

- Я учился с его племянником Гришкой. Знаю этого Бабаевского не понаслышке,- гнул свою подлую линию казачий предводитель, словно бодал рогом корридный бык.- Но уже известно в краевой администрации. Скоро ты предстанешь перед ее главой, или замом, или представителем президента Егоровым. Сам он тоже знает об этой статье.

- Да он же в Китае, чай в Шанхае попивает. Что больше дел нет, как узнавать, что пишет газетенка с тиражом в тысячу экземпляров? Не сушите мозги, я вас знаю.

- Вот представь – люди идут во тьме по непроходимому лесу, болотам. Их гибнут тысячи, но они идут, ищут свет и верят, что выйдут на свет,- закусив удила, гнул свою палку Сидоров.- Вот-вот выйдут и увидят, что там прекрасная жизнь...

- Не надо мне сказки старухи Изергиль рассказывать, Горький это сделал сто лет назад гораздо интереснее,- перебил его Александр Иванович. Он был взъерошен, как воробей в драке, глаза горели злым непокорным блеском, и Дубинин удивился его внутренней энергии и желанием дать достойный отпор.- Зачем было уводить этот народ со света в кромешную тьму? Зачем эти политические дрючки, зачем ради чьей-то карьеры ставить все с ног на голову? Какой Данко нашелся - сзади и наоборот, как говорит Григорий Климов, как у нечистой силы? Разве мы плохо жили? Не спорю: были недостатки. Так устраняйте их, ведь это ваши же недостатки и высоких партийцев. Учили нас, и вы в том числе, одному, а теперь совершенно противоположному. Вы – расстриги, предатели. В партию лезли ради карьеры, поэтому и сдали ее без сожаления. И снова забиваете баки нам, бедным голям - простофилям.

Потом Михайлов сидел, как бы выключив слух, не слушая демагогии бывшего партийца, а теперь горячего и трепетного демократа Сидорова. Потом куда-то вел его Дубинин, кажется, в кабинет заместителя главы администрации Бульбы, но того не оказалось на месте. Потом они ехали на машине на завод, и заместитель директора высказывал недовольства:

- Ты потерпеть не можешь? Хай его: собака лает – ветер носит. Может, до ГЭБэ не дойдет, на тормозах спустим... Ты побудь у себя, а как объявится Бульба, к нему сгоняем. Уж потерпи, раз таких дел наворочал. Помню я твою доброту – отборонил меня когда-то на парткоме от беды за разврат, а то бы партбилет и портфель замдиректора потерял.

Как в диком, ужасном сне проходили перед ним события. Опустошенный, выжатый, словно лимон, сидел он в редакции и смотрел невидящими глазами, время от времени спрашивая себя:

- А что ты натворил такого, что весь край, вся Россия, а если верить Сидору, и Китай всполошились от твоего поступка? Это что же получается – поджидай инфаркт или инсульт? Средний век журналиста, по статистике, меньше среднего века летчика и шахтера. Значит, пришел карачун? За что, за те переживания, что ты отдал заводу, за добро, что сделал людям и пытаешься еще сделать? Ты даже если и ругал кого, и то в добрых целях. А как же без тебя тут жена, дети, внуки, которым в этом волчьем бедламе не выжить? Выходит, ты – самоубийца и преднамеренный убийца своей семьи? Как легко все вымазать грязью, когда у тебя в руках власть или деньги, поставить с ног на голову, загнать в петлю! И это не самого простого смертного, а грамотного, умного человека. И что тогда могут сделать простые смертные? О Го-осподи...

Бульбу редактор видел впервые. Всего года два он ходил в заместителях у Самойленко, и судьба их еще не сталкивала. Мужик крепкий, говорят, бывший штангист. Волосы ёжиком, как у «новых русских», взгляд синих глаз въедливый и глубоко-

кий, казалось, насквозь пронизывал худощавого Михайлова. Но тот своего взгляда не отводил, изучал помощника городского головы.

- Как же это так получилось, Александр Иваныч?- вроде негромким, но звонким голосом спросил Бульба.

- Да вот так и получилось...

- Только не горячись,- шептал ему в ухо Дубинин.- Он мужик хороший, простой.

- Дал материал, не зная, что этого нельзя делать,- старался прикинуться простачком Михайлов.- Мы вроде за свободу слова боролись, за демократию, а выходит, за что боролись, на то и напоролись?

- Нельзя же так дословно понимать,- заметно сдерживая себя, продолжал хозяин кабинета.

- Я и не понимаю, а действую согласно Конституции.

- Илья Степаныч, он неосознанно, просто пропустил в запарке,- старался помочь Дубинин, преданно заглядывая в глаза начальству. Михайлов знал, что они в дружеских отношениях.

- А может, напротив осознанно? Почему бы не вставить палку в колеса рыночной экономики?

- У вас вечно какие-нибудь колеса,- не сдержался редактор.- Ваша рыночная экономика развалила всю экономику и промышленность страны. Наш самый старый и крупный в крае завод еле теплится, выпускает десятую часть былого. Разве это не умышленный развал? И не кем-нибудь, а центральными властями, которые вы безоговорочно поддерживаете?

- Да разве мы хуже стали жить?- взревел Илья Степанович, выпрямляя могучие плечи и вытягиваясь вверх. Михайлов подозрительно покосился на него, потом на Дубинина. Самого его тоже маленьким не назовешь, но с обеих сторон его сидели крепкие жлобы, и он машинально посмотрел на улицу, где бежали неутомимые машины, спешили частые прохожие, не предполагая, что в администрации идет чуть ли не судилище

над редактором. Это была главная улица в новой черте города, и называлась она именем академика Королева. Вот бы на его ракете улететь отсюда к чертовой матери! Михайлов любил эту улицу, часто ездил по ней в типографию. Любил свой промышленный город. Вон там, за девятиэтажками, течет стремительная Кубань, в которую с крутого берега прыгали герои его романов, рассказывающих о революционных событиях, в которой любил купаться сам автор этих романов. Он и жил-то на самом берегу. И любил слушать по ночам и ранними утрами плеск ее стремительных волн и шум ветра в ветвях могучих дубов, белолосток, акаций. Они успокаивали его, и он часто в тяжелые минуты садился на берегу и подолгу сидел, пока не приходил в себя.

Да, эта главная улица была рядом, а он находился на третьем этаже. Могут и выбросить, мелькнула предательская мысль, а можно и самому сигануть, коль крикнут ГэБэ и начнут вязать. А внизу-то асфальт. И кто там выбросит, когда они за свою шкуру боятся, чтобы самих не выбросили из кресел? Большие фигуры, да дуры. И от этой мысли ему сделалось даже смешно, но он почти не подал виду. А хозяин гремел, словно тяжелый железнодорожный состав на кубанском мосту.

- Посмотри, сколько домов построили вокруг города! Как там удобно и просторно будет жить людям!

- Да не люди, а начальство, предприниматели и жулики построили. Даже я, редактор газеты, писатель, не могу подумать об этом. Хотя такая семьяща. Сколько просил дать сыну с семьей комнату в общежитии, так вы и этого не можете сделать. Зато директора и вы сами строите по нескольку особняков. Советская власть помогла бы талантливому человеку. Хоть один рабочий, простолюдин построил там особняк? Не построил. И не ставьте это себе в заслугу. Это ваш очередной недостаток, а не заслуга. Прокол...

- Да какого ж ты х... хочешь?- не выдержал заместитель главы.

- А вы какого?..- не сдержался и Михайлов.- Вы же видите, что опускаемся в бездну, почему не замените этих сверхчеловеков, узурпаторов, жуликов, сидящих наверху общества? Разве я против обновления, против лучшего, но нельзя же счастье единиц строить за счет горя миллионов других. Это история уже проходила.

- Я вот говорил по телефону с Самойленко, в Америке он,- стараясь успокоиться, продолжил Бульба.- Он просит, чтобы дело с тобой уладили миром. Ты ж тоже пойми, что я отвечаю за предвыборную кампанию президента.

- Да я разве против мира? Только как вы с Америкой говорили, когда в Закубанье за две версты не дозвонишься по нашим телефонам?- подколол редактор, и в его глазах промелькнула колючая улыбка.- А флюгера типа Сидорова гоните в три шеи. Такие и вас переживут у власти, и не раз предадут, как предали Советы, ибо тоже Иуды.

- А мы по спутниковой связи говорили...

«И тут ложь,- подумал с отвращением Михайлов.- Спутниковую связь для вас приготовили, как же!»

Он возвращался в конец опустошённым, будто на нем висела непростительная вина. Так было тяжело на душе, хоть лезь в петлю. «Так вот Бориса Примерова и загнали,- невесело думал он,- хорошего русского поэта. Но кому сейчас нужен русский поэт? Ведь они называют русским еврея Бродского, полуеврея-полуармянина-полугрузина Окуджаву, с которыми даже после смерти будут возиться, как дурак со ступой. А ведь поэт – это песня народная! Значит, этим не нужны и песни, то есть, не нужна нация? Так загнали и Эрнста Сафонова. И тебя загонят рано или поздно, плюнув на твою трилогию и растерев. И вообще кому в России нужен русский, и как выжить в ней русскому человеку?»

Тянуло напиться в драбодан, в стельку, в ухмат. Не хотелось видеть никого, не хотелось встречаться даже с женой и

детьми, смотреть в их испуганные глаза, отвечать на тревожные вопросы.

- Ну, спасибо тебе за выручку,- не то с усмешкой, не то с ехидством сказал на прощание Дубинину.- Как у Высоцкого: «шлите деньги – отбатрачу, я их все продохотал...»

И он двинулся в сторону кубанского леса, к шумящей за деревьями реке. Что он задумал, никто не знал. А вечером в его кабинете-спальне надрывно играла и плакала хромка. Слышалась негромкая песня:

Ох, как сердце болит, как мне хочется плакать!

Перестаньте рыдать надо мной журавли...

Так вот и живет на берегу Кубани города Славнокубанска журналист и писатель Михайлов. Борется с трудностями и злом. Но почему-то чаще выходит, что борется с самим собою, ибо хуже от этой борьбы становится только ему самому да его немаленькой семье. Седина, словно известью, залепила всю голову. Волосенки поредели. Про его густую в молодости шевелюру не только чужие, но и близкие позабыли. Человек в душе веселый, открытый, как косогор, он все больше уходит в себя, замыкается. Все реже распахивает душу. И только она его понимает – «Сербиянка бедная». И когда радостно на сердце, и когда невообразимо тяжело. Так вот и пережили с ней прошлогодний конфликт.

Потихоньку преодолевают и нынешние. Так, может, и до пенсии дотянет – три года осталось. За полтора года почти сотню песен и мелодий подобрал. И шутил:

- Что гармонь, вон Толстой в семьдесят лет на велосипеде научился ездить. Значит, все у тебя еще впереди.

А когда становится невыносимо грустно и почва под ногами начинает качаться, он берет свой старомодный бесхитростный инструмент и негромким хрипловатым голосом заявляет, как бы убеждая себя:

Хоть и беспокойно Баренцево море,  
Но зато спокойно сердце моряка...



## ВЕРНОСТЬ

### 1

Труднее всего Ольге было по вечерам, когда кончались обходы врачей, процедуры, когда к больным приходили родственники, знакомые, и они кучками расходились по углам больничного двора, о чем-то весело или тоскливо говорили, сидя на лавках.

На площадке близ столовой молодые выздоравливающие ребята остервенело-задорно колотили волейбольный мяч, спорили с жаром и продолжали вновь. Под пушистой заветью зеленых ив в глубоких скамейках утопали старики и старушки, на вид болезненные, недовольные судьбой-злодейкой, обслуживающим персоналом, на деле нередко оптимисты и жизнелюбы. Поскрипывая старческими голосами, они одинаково, с улыбкой, полусерьезно-полушутливо говорили о жизни и смерти, зятях и снохах, погоде и снабжении магазинов.

- Отпросилась я до дому,- рассказывала Максимовна, старушка небольшая, подвижная, боевая,- а моя Зинка с фонарем под глазом. Витька, зятек, угостил. «Зачем»?- спрашиваю его. «Живем на темной улице,- отвечает,- чтобы светило по всем кочкам, когда возвращаюсь поздно».

- Иногда и поучить не грех. Они нынче ни царя, ни Бога не признают. Власть-то им дали,- возражал толстый старик Потапов, обнимая руками обвислый живот, будто кто-то его мог утащить.

- На то и дали, чтобы равноправие было,- не соглашались с ним.

- Равноправие можно по-всякому повернуть. У меня вон внук Мишка, сопля-соплей, а никого не признает. Материт начальство, только чешуя летит. Раньше начальство как почитали! Оттого и порядок, и уважение было. Бригадир выше теперешнего директора ценился. Гайки-то раскрутили.

- Вот и я говорю,- вновь подавала голос Максимовна.- Зинка-то наша – не подарок. Любому глаза выцарапасть. Да и Витька хорош. Попросила сюда на машине привезти, говорить, бельзину нет.

- Пройдешься, старая, вместо трудотерапии.

- И то верно.

Старики смеялись, мусолили новые темы, которые не кончались до самого отбоя. Все были заняты своим делом, и только Ольга не могла найти себе места. Она уходила в палату, взяв книгу, ложилась на кровать. Но буквы неистово прыгали перед глазами, пронеслись стаями, словно голодная мошкара, и она, отложив на тумбочку томик, долго лежала с закрытыми глазами, вспоминала всю прошедшую жизнь и чувствовала, как под закрытыми веками копилась влага, как начинало учащенно биться сердце. В эти минуты ей хотелось одного – того, что надвигалось неотвратимо.

## 2

Иногда она засыпала, и ей виделись хорошие сны. Вот она, молодая, веселая, закинув на плечо ремень тяжелой почтовой сумки, бойко шагала по улицам далекого районного центра, петляла по кривым тропкам от дома к дому, где на лавочках ее поджидали пенсионеры.

- Кормилица пришла,- расписываясь за пенсию, ласково говорили они.- Дай Бог тебе счастья, Олюшка.

- Спасибо!- бросала она на ходу, направляясь к другому двору.- Я и так счастливая.

И, правда, была счастливая. Быстрехонько обегала весь участок, кому весточку от сына приносила, кому телеграмму от дочери, а кого и добрым словом успокаивала.

- Напишут, непременно напишут,- говорила участливо, словно близкая родня каждому, улыбнувшись доверчивыми серыми глазами.- В следующий раз принесу.

После работы торопилась домой. Мыла полы, доила корову.

- Устала, небось, отдохни, управлюсь сама,- просила старая хворая мать.

- Жизнь долга – отдохну,- целуя ее на ходу, отвечала она, пробегая с подойником.

- Не девка – золото!- завидовали соседи.- Счастье кому-то подвалит.

А вечером, заплетя тугую косу, надев чистое платьице, Ольга спешила на танцы. Там ее ждали, от кавалеров отбоя не знала.

- Оля, приглашаю на вальс.

- Оля, домой провожу...

Но Ольгу было, кому провожать. Нравилась она молодому колхозному агроному. Нравился и ей агроном, стройный, подтянутый, волнистая шевелюра валилась на чело. В глазах – закатное небо, готовое вспыхнуть зарницами. Не голос – мягкий ручей. Вымолвит слово, будто нежно погладит.

- Полюшко ты мое ненаглядное, цветочек лазоревый,- шептал он, провожая домой.- Солнышко мое единственное!..

От нахлынувших чувств ее сердце билось неровно, и Ольга просыпалась, долго шарила взглядом по белому потолку и стенам, стараясь понять, где она и что с ней?

- Чего зажурилась!- спрашивала Максимовна, бойко входя в палату.- Брось свои мрачные мысли, пойдем-ка вечерять. В нашем деле покой да еда – первые лекарства.

Взяв кружки, женщины шли в столовую, садились за столик в дальнем углу. Проворная Максимовна, достав из кармана халата чеснок, разламывала на дольки, работала ложкой не по-старушечьи быстро.

Поковыряв тупой вилкой, Ольга накладывала куски мяса на хлеб, брала кружку с чаем, молча направлялась к выходу.

- Опять Бельчику понесла, а сама не притронулась,- сочувственно вздыхала Максимовна, перестав на секунду жевать.- Надо же так собаку любить!.. - И лицо ее становилось похожим на скорбный лик Богородицы.

«Счастье, словно осеннее солнце,- мрачно думала Ольга.- Сегодня оно щедрое, а завтра утонет в ненастье». Ярким солнцем светило ее счастье, да только солнце было осеннее, быстро отпыхало. Не успела она выйти замуж за колхозного агронома Илью Бакланова, не успела вдосталь налюбоваться им, как наступило ненастье – беспросветное, затяжное.

Оставив на почте сумку, спешила она весенним ядреным вечером к любимому мужу знакомой дорожкой через прудок. За день дорожку развезло, кисла она в светло-рыжих лужах. Обойти бы прудок, да надо ужин готовить Илье. А лужи ее новым резиновым сапогам нипочем. Привычной пловушей походкой миновала середину прудка, спешила, аж щеки зарделись. До берега уже рукой подать, а там – третий дом направо – счастье и радость ее. Но треснула вдруг, качнулась под Ольгой дорожка, край неба упал на землю, и ее обожгло ледяной водою. Воды-то всего по пояс, да тело связало в узел. Плохо бы ей пришлось, но услышала близкий крик:

- Держись, девка, поможем!

Подхватили ее сильные руки шедших сзади механизаторов, аж льдины в стороны разошлись, до самого берега донесли.

- Купаться вздумала почтальонка,- шутили, когда несли.

- У человека беда, а вам, жеребцам, только зубы скалить,- шумнул бригадир, смахивая капли воды с закрученных штопором усов.- Дуй, дочка, в тепло!

Ночью ее знобило, ломало. То окатывало снежной лавиной, то с головой окунало в кипяток. Во сне она вскрикивала. Подходил Илья, заставлял пить таблетки, укутывал потеплее, гладил русые волосы, ласково говорил:

- Солнышко мое единственное, полюшко ненаглядное! Почему не со мной такое? В больницу надо тебе...

- Ничего не случится, Илюша, я живучая. Ты поспи, не тревожься, спасибо,- благодарно успокаивала она,- а я тебе завтрак сготовлю к утру.

Выходные пролежала в постели, ставила горчичники и компрессы. В понедельник поднялась, чувствуя кружение в голове, тошноту. Надела рабочее платье, оно непривычно обвисло. Махнула рукой, стянула сильней поясок, натянула резиновые сапожки, выскочила на улицу. Заревое весеннее утро обрушилось на нее веселым напором ветра, прохладой. Её качнуло к забору, но она устояла, жадно глотая воздух, чувствовала, как прибывали силы.

- Скоро будет тепло,- прошептала с радостью и надеждой, выходя за ворота.

Но с работы возвращалась уставшей. Все валилось из рук. Ночью сильно потела. Муж беспокоился, не спал. Чуть свет уезжая в дальние бригады, говорил осуждающе:

- Ты же не враг себе, обратись к врачу.

Она посмотрела на него пристально и признательно. И вместе с заботой вдруг прочла на лице... нет, ей это лишь показалось... прочла на лице слабую тень недовольства. «Какая чушь, показалось,- мелькнуло в сознании,- я просто больна».

- Я живучая, выдержу,- возразила она, обнимая его на прощание.- Еще упекут в больницу, кто присмотрит, накормит тебя?

Вскоре Ольга слегла. Ее отвезли на «скорой». В больнице долго обследовали, молчали. Потом осторожно сказали:

- Сложное дело. Почки...

Будто огрели обухом. Долго приходила в себя, вживалась в новое положение. Ей очень хотелось жить, любить своего агронома-красавца, который из-за посевной приезжал домой редко, рожать и нянчить детей, доглядеть старушку-мать. Многие месяцы горстями глотала таблетки, терпела болезненные уколы. Ждала. Надеялась. Любила.

- Вам нужно беречь себя, главное, не волноваться, и вы проживете десятки лет,- сказал на прощание доктор, доверительно блеснув очками.

Выпорхнула из запыленного автобуса, не замечая знако-

мых, шмыгнула в родную улицу, понеслась навстречу любимому, в чьих глазах плескалось закатное небо. Но не выскочил встретить молодой агроном, не захотел увидеть свой лазоревый цветочек, свое ненаглядное поле, не внес радостно в дом по бетонным ступенькам крыльца, как делал когда-то.

В дверь входила робко, будто чужая, боялась поддаться предательской мысли. Тихо прошла по комнатам, постояла у опустевшего одежного шкафа. Нашла на столе записку: «Полюбил другую. Прости». Не ошиблась, значит, тогда. Испугался... Словно что-то сломалось в ней. Камнем бросилась на кровать, кусая до крови руки, беззвучно заплакала, поливая горькими слезами тугую подушку.

- За что, Илюша, за что-о-о? Вылечилась я. Не туберкулезная...

С тех пор Ольгу будто подменили. Она замкнулась. Часами сидела молча, глядя в одну точку немигающими, погрузневшими глазами, ничего не видя. Сидела бледная, как облетевшая осенняя березка, крепко стиснутая первым морозом. И вновь невыносимая боль в почках. И вновь больница. Когда становилось легче, она выписывалась домой. Когда болезнь хватала ее в свои железные, неумолимые лапы, ложилась в стационар. Туда и сюда безропотно, словно разговор шел не об ее жизни и смерти.

- Опять положили?- спрашивали ее.

- Опять.

- Нет улучшения?

- Нет...

И все слова. И уходила от разговора.

- Дикарка,- назвали ее и отступили с расспросами.

#### 4

Бельчик, молодой белошерстный лохматый пёс, когда-то был бродячим щенком без имени и племени. Детство его началось у закусочной. Утром, когда она открывалась, он приходил,

чтобы ухватить краем носа сладко-кислые запахи, от которых приятно щекотало в носу и сосало в желудке. Вместе с сизым дымком они вырывались из-под козырька над дверьми и волнами разливались по улице, пока совсем не терялись. Чем ближе к порогу, тем запахи были острее и гуще. Но к порогу подходили немногие: там восседал могучий кобель со сломанным в драке клыком, забияка и самодур по кличке Пират. Он нещадно драл любого и каждого из многочисленного собачьего рода, кто приближался к нему на расстояние двух прыжков.

Он гордо сидел напротив скрипучих дверей, и даже шумно выходящие из закусочной люди его почтительно обходили.

Во втором собачьем ряду располагались те, кто был статью и ростом пониже Пирата. Это были тоже известные в районе бойцы, вместо медалей носившие на груди и боках рваные шрамы. Но шрамы были старые, как и их обладатели, ценились далеко не по высшему курсу, и только необстрелянная молодежь да представители мирной легавой братии отдавали им дань уважения. Ряд считался почетным, и люди звали его бакланским.

Дальше теснились шавки неизвестных пород, хромые, беззубые, старые псы, которые, если уходили отсюда, то уходили с потухшим взглядом и навсегда. Их презрительно звали – доходяги или шакалы. Но и они упорно стояли за место под солнцем, готовые вцепиться друг другу в горло.

Малышу Бельчику не было места и даже рядом с ними, и он ловил шашлычные запахи в четвертом ряду. Они больше отдавали подранными, обкусанными хвостами доходяг, и все-таки тревожно щекотали в носу и звали забыть обо всем на свете, очертя голову ринуться к самым дверям. Это хорошая мысль, но поддаться ей мог только сумасшедший или залетный, в жизни не пробовавший стальных клыков.

Из дверей выходили часто, что-то небрежно бросали, но добыча чаще всего доставалась Пирату. Он был ненасытен и будто издевался над остальными. Клацнув зубами, как металлическими тисками, он почти вырывал из рук выходящих кус-

ки, остальная же братия, вспыхнув на солнце длинными жестко-розовыми языками, только давалась диву его находчивости и нахальству.

Лишь одно существо не боялось Пирата – Человек. Так назвал его Бельчик. Сгорбленный, хилый, он шел прямо на него, и тот, не то труся, не то жалея Человека, недовольно отходил в сторону. Его обступал второй ряд, надеясь на случайное счастье, но Человек предупредительно поднимал руку.

- Бакланье и так проживет.

Ни с чем расступался и третий ряд, досадно лязгнув тупыми челюстями и прослушав мораль:

- А вам, доходягам, пора со мной на тот свет, только небо коптите. Вот кому дайте дорогу, чертова свора,- показывал он на Бельчика,- молодости, будущему. Их надо уважать.

В тот первый раз он наклонился к щенку, подал что-то названное на прутике, и Бельчик понял, от чего исходят эти милые сердцу запахи, так дурманящие сознание.

- На, брат, шашлык, больше нет ничего. Не сиди ты в этой компании.

Он дождался, когда щенок проглотит последний кусок шашлыка, отбросил в сторону пахучий деревянный прутик, за которым ринулись доходяги, и, кашляя и держась руками за грудь, медленно зашагал прочь.

Щенок долго провожал его любопытным взглядом, пытаясь понять, что за существо этот Человек? Голодные, завистливые «шакалы» яро набросились на него, и он кое-как унес ноги, нырнув в узкий лаз отопленной теплотрассы.

## 5

Шли день за днем. Бельчик долго и томительно ждал его у закусочной, но Человек почему-то упорно не появлялся. Иногда казалось, что он нырнул под маленький голубой козырек шашлычной и вот-вот должен выйти. Но проходили минуты, часы, а Человека все не было. Тогда щенок с помутневшим



от голода взором шел навстречу ему, к дверям. Но «шакалы» тут же отбрасывали его назад. «Сопляк, - тьякали они вразнобой,- невежда! Знай свое место, если хочешь остаться целым». Бельчик хотел остаться, хотел дожидаться Человека. Иногда в нем зарождалась злоба на этих старых, облезлых негодяев. Хотелось отомстить им за обиду, за злые укусы, и он торопился вырасти, повзрослеть. Нет, когда он вырастет, не станет трогать немощных, слабых. Конечно, Пирату не поздоровится, и за содеянное он получит сполна.

Однажды лохматый щенок, белая шуба которого потемнела от пыльной траншеи, чуть не прозевал Человека.

- А-а, жив, салажонок!- тихо воскликнул тот. Жалко, нет у меня шашлыка. Возьми вот кусок батона.

Щенок быстро расправился с хлебом, глянул на Человека, но тот лишь развел руками.

- Извини, брат, пустота... Сам иду на казенный харч.

Он тихо пошел, вновь сильно кашляя и держась руками за грудь. Но собачонке не хотелось потерять доброго Человека. Подождав немного, она двинулась следом, подозрительно косилась на подворотни, которые начались за большими домами. Наконец дома вообще кончились, лишь на отшибе, загороженные кирпичным забором и деревьями, виднелись незнакомые строения. В одно из них и вошел Человек.

Тщетно ждал его Бельчик, одинокий на всей территории, которая показалась вымершей. Это он потом узнает про мертвый час. А тогда, сидя под вишневым кустом, он испугался одиночества. Казалось, его обманули. Завели в эту дальнюю даль и оставили одного на погибель. Он даже взвизгнул тревожно. Внимательно осмотрелся. Удивился порядку и чистоте, царившим вокруг. Асфальтовые дорожки, аллейки старательно выметены и чисты. Заботливой рукою подрезана травка газонов. Западный ветер от дальних строений донес сладкие запахи кухни. «Вот так штука!- удивился щенок.- Ни одной души, и запах какой!»

Он двинулся навстречу запаху, уронив с языка кисловатые капли слюны, свернул направо к уютному домику из белого кирпича, спрятавшемся под тенью высоких акаций. Там пахло хлебом, и мясом, и кашей, и еще чем-то незнакомым, но вкусным, чего он еще не пробовал в жизни. Жадно глотая слюну, он решил тщательно осмотреть все подступы и углы, но в это время увидел стаю собак. Их было штук пять – разных пород и роста. Стая лениво направилась к нему, и он испугался не на шутку, хотел убежать, но ноги вдруг обессилели. Тогда, прижавшись к фундаменту белого домика, он решил постоять за себя, за запахи, драться до последнего вздоха. Лучше умереть в бою, чем позорно бежать, сказала его природное самолюбие. И он, вздыбив закрик, устрашающе разомкнул горячую пасть.

Разношерстная толпа собак и глазом не повела на его изготовку. Медленно подтрусив, обнюхала его по очереди и мирно двинулась дальше. В который раз в этот день удивился щенок. Ему казалось все необычным и сказочным: и бесследно исчезнувший Человек, и вымерший городок с роем загадочных запахов, и стая откормленных ленивых псов. Любопытство взяло верх, и новичок побежал за своими сородичами.

Неожиданно высыпали люди в полосатых пижамах, темно-синих халатах, и Бельчик, тогда еще просто щенок без имени, вновь удивился, опасливо отбежал в сторону, поближе к сараям. Но за ним не погнались, его просто не заметили среди других.

А вечером он услышал звонок. Встрепенулся тревожно, вскочил. Звенело в столовой. С кружками, стаканами в руках гуськом потянулись туда люди. Запахло кашей, подливой. Щенок нервно облизал губы, но стая, развалившись неподалеку, мирно дремала, будто это ее не касалось. Бельчик, не видя соперников, не выдержал, пошел к дверям. Вскоре увидел Ольгу. Сойдя с низких ступенек, заметила и она щенка. Удивленно глянула доверчивыми серыми глазами, слегка улыбнулась, сказала приветливо:

- Да у нас новичок! Какой ты худой!

Вернувшись в столовую, она вынесла хлеба с котлетой.

- На, бери, поправляйся.

Боясь, чтобы не отобрала стая, он ел у самых ступенек, глотая торопливо, почти не жуя. А она, присев рядом, смотрела и улыбалась. Не знал он, что это была первая ее улыбка за многие-многие месяцы. Да это его и не интересовало, просто ему на мгновение показалось, что эта женщина чем-то похожа на того доброго Человека.

Но он тут же забыл об этом. Выходили новые люди, бросали ему куски, и щенок ел, ел до безумия, отходил под кусты, возвращался назад, боясь, что на пищу набросится стая. Не догадывался, что стая избалована вниманием, не смотрит даже на белый хлеб.

Каждое утро он ожидал Ольгу у женского корпуса. Она выходила, и он вежливо лаял, будто здоровался с нею.

- Здравствуй, здравствуй!- восклицала она, и ее всегда печальное лицо освещалось легкой бледной улыбкой.

А однажды, когда его сильно вымочило проливным дождем и смыло всю старую грязь, Ольга, выйдя из коридора, ахнула:

- Ты ли это! Какой чистый да белый! Бельчик! Я назову тебя Бельчиком.

Он гавкнул согласно и помотал пушистым хвостом. Они привязались друг к другу. Четыре раза в день она выносила ему еду. Он ел вдоволь, и его тело наливалось силой. Пес быстро рос и мужал.

## 6

Прошло несколько лет с тех пор, как Ольгу бросил Илья Бакланов. Много слез выплакали ее глаза. Не раз она, обессиленная от обиды и болезни, попадала в больницу, где все ей так знакомо. Многие знали Ольгу давно, ее приходу не удивлялись, ведь иные туберкулезники сюда привычно возвращались. Ее молча провожали сочувствующим взглядом, когда она про-

ходила по аллее со своим неизменным спутником – белошубым лохматым псом. Они подходили к скамейке, что стояла над кубанским обрывом. Она садилась, а он клал на ее колени свои лохматые теплые лапы, внимательно слушал мягкий отрывистый голос.

- Мой красивый, мой добрый Бельчик,- нежно говорила она,- только ты понимаешь меня, глупый, красивый щенок. А что это – красота? Наверно, то, что нравится людям. Вот ты что считаешь красивым? Когда человек любит человека – это тоже красиво? Но ведь родители любят и уродов детей, зная об их уродстве. Может, красота – это редкость, необычность? Крокодилы тоже редкость, но они безобразны. Так что такое красота? Любовь? Это в сказках и глупых книжках.

- Гав-гав,- согласно взлаивал он, помахивая хвостом, и она доверчиво прижималась к его морде холодным лбом, гладила упругую шею.

- Любовь – это борьба для одних и выбор лучшего для других. Кто как понимает. Но это жестоко.

- Гав!- соглашался пес.

Но любовь – это и добро, подсказывали его собачьи глаза. Попав в диспансер, он быстро понял, что живущие тут собаки пользуются особым расположением людей. Правда, на них косились люди в снежно-белых халатах, но те, что в полосатых пижамах, нервные и ворчливые, заступались активно, и медики отступали. Иногда ряды стаи редели, когда по утрам приходила крытая железом машина. Из нее выскакивал небритый маленький человек в грязной фуфайке, упирал в плечо железную палку, и из нее вырывались огонь и гром. Врассыпную бросалась ленивая стая, теряя двух-трех сородичей.

Однажды палка уставилась Бельчику в лоб, и он впервые испытал невиданный страх, который сковал все тело, мешал убежать. Он даже учуял запах машинного масла и понял: стая уйдет без него. Но гром не ударил. Щенок не видел, откуда появилась Ольга, закрывшая палку собою.

- Не да-ам!- не своим голосом взмолилась она, хватая стрелка за руки.

Бельчик увидел, как с искаженным от страха лицом, отведя в сторону железную палку, пятился маленький человек в грязной фуфайке, выкрикивая слова, которые он часто слышал у городской закусочной.

Не слушая его, Ольга со слезами на глазах уносила щенка подальше от беды.

- Милый мой мальчик, дитяtko,- нежно шептала она в его мягкое ухо.

Любовь – это и добро, хотел он сказать, но не мог.

## 7

С тех пор прошло много времени, но Бельчик помнил тот день отчетливо. Тогда он понял, что бояться нужно не только злой своры, дежурившей у закусочной, но и людей, как этот небритый, с железной палкой. Но ведь в его жизни был Человек, есть добрая, ласковая Ольга. Как узнать, где добро, где зло? Взрослея, он все больше интересовался этим. Ему хотелось, чтобы в жизни было больше добра и совсем не было зла. Он ненавидел его всем существом, догадывался, что по милости зла Ольга попала сюда и не может вырваться туда, в большой и прозрачный мир, где много шума и магазинов, где играет музыка и резвятся дети.

Он помнил тот день своей собачьей памятью и любил эту сероглазую женщину добрым собачьим сердцем. В благодарность за внимание и заботу он готов был целыми днями служить ей. Но как можно служить человеку, который все тебе отдает и ничего не просит взамен? Чувство долга все больше росло в нем, но как с ней расплатиться, чем? Бельчик целыми днями следовал за нею, старался сделать так, чтобы ей было хорошо. В собачьем понятии это то состояние, когда Ольга прогоняла с лица тоску и усталость, когда беззаботно и радостно улыбалась. И пес старался, выплясывал вокруг нее, с ненавязчивым

лаем приглашал играть, словно малое дитя. Чтобы развлечь, изобретал свои, собачьи выходки: кого-нибудь неожиданно обливал или ложился на ее пути, перегораживая тропу.

И в благодарность за это ее бледное лицо озарилось нежной улыбкой, в глазах загорались мягкие лучики смешинки.

- Гав-гав!- приветствовал Бельчик, готовый от радости разразиться ласковым лаем.

Ночь он проводил у ее окна, берег хозяйкин покой. Утром, когда за дальним забором зажигалось солнце, он поднимался во весь громадный рост, вскидывал лапы на подоконник, перебирал и выстукивал ими по отполированной жести, будто играл на барабане или пианино.

- Вставай, дочка, твой мальчик пришел,- ласково говорила Максимовна.

Ольга тихо подходила к окну, во всю ширь распахивала створки, обняв Бельчика за шею, чмокала во влажно-упругий нос. Утренний свежий ветерок рассыпал ее длинные русые волосы, волновал, словно легкую занавесь. И ей вспоминалось село, вспоминалось далекое детство, ее сердце наполнялось чудными мягкими звуками, от которых хотелось смеяться и плакать сразу.

## 8

Все реже ее лицо окутывала паутина грусти. Все чаще на нем высвечивалась улыбка. Значит, не такой уж Бельчик бесполезный, никчемный, коль будит в ней радость к жизни и охоту жить? Строгие, умные врачи не смогли с ней сделать такого, а вот он, бывший бродячий пес, днями дежуривший у закусочной, не зря ест свой запретный хлеб.

- Смотри-ка!- радостно вскрикивала Максимовна в кругу стариков и старух.- Свежесть наша дикарка. Мабудь, и ей полегчает...

Но ликование Бельчика было недолгим. Заметил он, что к его подруге давно присматривается Колька Бурилов, попавший

в больницу с очагом на легких. Он так же, как Бельчик, кружил вокруг нее, только круги делал большие, незаметные со стороны. Изучал. Видать, приглянулись ему длинная толстая коса – музейная редкость нашего времени, серые доверчивые глаза, девичья хрустально-хрупкая фигурка, которая, казалось, от легкого прикосновения зазвенит благородным звоном, постоянная грусть на лице. Значит, носит в душе тоску, чувство одиночества.

Однажды он поднял случайно упавший с ее головы платок. В другой раз в сырую ветреную погоду в ее окне разбило форточку, и Колька где-то раздобыл стекло, услужливо вставил под недовольное рычание Бельчика. В третий раз он будто невзначай присел рядом, когда смотрели телевизор в завешанной темными толстыми шторами комнате, крикнул кому-то вперед:

- Эй, оглобля, пригнись, женщине не видать!

Так вроде и незаметно началось их сближение. Он не спрашивал ее ни о чем, старался быть неназойливым, беззаботным, рассказывал сам:

- На стройке вкальваю каменщиком. А вообще-то я – зэк, условно освобожденный. Вот-вот откинусь. По дурочке схлопотал. Мерин о четырех копытах, и то спотыкается. Скажи, ты никогда не спотыкалась?

Впервые за годы болезни она посмотрела на чужого мужчину с любопытством. Он ей вдруг показался не таким, как другие. Смуглокожий, черноглазый, лицо рябоватое, побитое шрамами. Далеко ему до Ильи Бакланова, как от Земли до Луны, зато душа нараспашку, без хитринки, так и кричала: «Нате, люди, смотрите, что было, то было. Ничего не скрываю, ошибок не прячу и зла не таю!»

Ошибки? Были и у нее ошибки, было свое горе. А горе всегда сближает людей, вместе переносятся легче.

- И я спотыкалась,- робко призналась она и незаметно, слово за словом выложила о своей судьбе, своем несчастье. Как,

зачем получилось так, сама не знала. Видать, устала носить на сердце.

- Волк он покусанный, твой агроном. Крысятник. Я б таким шнифты выбивал!- участливо вскрикивал Колька.- Попроси у меня такая женщина жизнь – половиком бы разостлал под ее ногами. Пусть топчет, вытирает подошвы, лишь бы ей хорошо, лишь бы рядом с ней.

Будто тучи рассеялись над Ольгой. Затеплело в остывшей душе, словно кто зажег огонек. И потянулась она на свет, на тепло спасительного огонька. И зароились светлые надежды на лучший исход: а вдруг повезет!..

- Ништяк, Олянка, все будет в ажуре, мы еще прогоним по этой земле рысакими, ухватим за жабры стервуху-жизнь!

Его слова резали Ольге слух, но было в них что-то незнакомое, как в новой песне. Во все глаза она смотрела на него, дерзкого, сильного, и чувствовала, как его сила потихоньку наполняла ее. Даже легкий румянец выступил на ее бледных щеках.

- Хорошо выглядишь, девонька,- бросила как-то Максимовна,- радуйся, на поправку идти, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сгладить.

И поверила Ольга. И все пуще тянулась к Кольке. Все дольше они засиживались на ее любимой скамейке, одиноко стоящей на крутом берегу Кубани, в обнимку гуляли по-над парящей туманом вечерней рекой-говоруньей.

- Меня скоро выпишут,- шептал доверительно он.- Буду работать и ждать тебя. А потом увезу к себе.

И только Бельчик был недоволен. В одиночестве, бесцельно шатаясь по двору диспансера, следил за ними из-за кустов. Бурилов чем-то напоминал ему пса из шакальего ряда, у которого все потеряно, но который еще способен напасть подло, сзади, впиться в горло тупыми клыками и высосать кровь. Он ненавидел Кольку лютой собачьей ненавистью, и когда тот подходил к Ольге, сердито рычал и бросался.



- Цыц, шмакодявка!- вскрикивал тот, отбрасывая его пинком, и на мгновение в хитрых глазах Бурилова зажигалась злоба.

Ольга сдерживала, говорила с упреком:

- Зачем ты так, Николай?!

Потом обращалась к Бельчику:

- Что ты, глупенький, сердисься? Он не сделает зла.

Присев, она ласково гладила своего любимца. Но тот, по-нузив голову и ворча, удалялся.

## 9

Так шли день за днем. Ольга и Николай не таились, всюду ходили вместе, в столовой сидели за одним столом. А когда на землю опускалась вечерняя глухая темнота, он, обняв ее, сводил по крутым ступеням к бурливой реке, уводил за далекий мыс. Они возвращались поздно, нередко опаздывали к отбою. Но им прощали дежурные сестры, а старушки сочувственно говорили:

- Вот и нашлась семья. Отмучались, бедолаги, поодиночке.

- Дикарка-то отошла, зацвела, как яблонька теплой зимой.

- Зимний цвет – дурной цвет, добра от него не жди,- встречал в разговор старик Потапов.

А Ольга многое передумала длинными, словно вечность, ночами. С одной стороны, ее отношения с Буриловым казались не любовью, а курортным романом. С другой стороны... А где она, эта другая сторона, не та ли, что принесла ей долгие годы страданий и боли? Но утром, когда встречала его, сомнения проходили. Благодарная за внимание, ласку, уставив глаза в глаза, шептала ему в лицо:

- Счастье-то подвалило, Коля! Я уж совсем на тот свет собралась. Теперь неохота. Боюсь одного – тебя потерять. Не вынесу больше...

- Ну что ты, Олянка, я – не дешевка,- искренне говорил он, глядя ее по щеке.

И ей показалось, что впереди у нее целая вечность, что болезнь непременно отступит, и все будет так, как он говорил.

Настало время выписываться. Она провожала его за ворота, медленно шла рядом, опираясь на его сильную руку, не видя дороги. Слезы радости за его выздоровление застилали глаза.

- Успокойся,- ласково говорил он, обняв ее за плечо.- Я буду приходить каждый день, а потом, как кончится срок заключения, увезу навсегда.

Наутро он пришел в отдел кадров СМУ, бросил на стол заявление.

- Подписывай ксиву, начальник,- потребовал, нагловао ослабившись.- Мой звонок прозвенел.

Получив расчет, Бурилов сел в электричку, несколько минут курил в пустом тамбуре качающегося на стрелках вагона, потом, что-то вспомнив, зло стрельнул окурком на переходную площадку, захлопнул дверь и вошел в купе.

## 10

Труднее всего ей было по вечерам, когда кончались приемы врачей, процедуры. Когда больные дружно высыпали на улицу, встречали родных, кучками расходились по углам больничного двора. Чтобы не видеть этого, не ловить на себе любопытно-осуждающие взгляды, она уходила в пустую палату или брела к Кубани, садилась на любимую скамью. Уронив голову на руки, плакала тихо и обреченно. И тогда на помощь приходило единственно преданное ей существо – Бельчик. Положив лапы на ее колени, он заглядывал ей в глаза, старался лизнуть розовым мягким языком в бледную щеку, ласково взлаивал, будто хотел успокоить и пожалеть. И Ольга, благодарная за сочувствие, обнимала его, обливаясь слезами, жаловалась на судьбу:

- Поигрался и тягу дал, приятно время провел. Почему люди такие жестокие, Бельчик? Почему за добро платят злом?

Чуял пес, было в их судьбе что-то общее, скорее всего одиночество. Понимая страдания любимого человека, он не отступал ни на шаг. Ластился к ней, преданно мотал пушистым хвостом, скалил в собачьей улыбке зубы, старался отвлечь от тягостных дум. А женщина угасала. Все сильнее из-под халата торчали ее острые лопатки, все больше восковой бледностью высвечивалось лицо. Наконец и совсем слегла. Лежала с безразличным взглядом, иногда постанывая от боли.

- Мне не нравятся ее анализы,- говорил лечащий врач заведующему отделением.

- Нужно сделать все, чтобы спасти,- участливо замечал заведующий.- Вызовем на консультацию профессора Дрюкова. Обследуйте ее тщательно.

- Брось убиваться, дочка,- глядя Ольгину голову, успокаивала Максимовна.- Не стоит он этого, мерзавец.

«Все равно дело шло к концу,- думала Ольга.- Я хотела обмануть себя, взять жизнь взаймы, как в книге Ремарка, уцепилась за спасительную надежду, как утопающий за соломинку. Но почему он, выздоравливающий человек, так поступил? Зачем обещал, заставлял надеяться?» Мужчины в такие моменты ей казались строителями, долго возводящими здание жизни и рушившие его одним махом, как карточный домик. Это было непростительным грехом, бессмысленностью.

Ночами она бредила, вскрикивала, металась в постели, звала Николая. Максимовна была рядом, успокаивала, бегала за дежурной сестрой. А из-за окна, положив длинные лапы на подоконник, взвизгивая и скуля, заглядывал Бельчик. Он, как бессменный часовой, то замирал, стиснув челюсти, то, разинув пасть, скулил и метался, то и дело перебирал лапами по подоконнику, словно играл на пианино.

Той последней ночью она спала безмятежно. Однажды даже улыбнулась во сне. Увидев это, Бельчик радостно помел хвостом землю, а уставшая Максимовна успокоилась и легла отдохнуть.

Она проснулась от собачьего воя, неистовой возни за окном и все поняла. Опустившись бессильно, тихо заплакала, будто потеряла близкого человека.

## 11

С тех пор Бельчик стал нелюдимым, целыми днями мотался по больничному двору, будто что-то тщетно искал и не мог найти. Он не подходил к дверям столовой, не брал пищу из чужих рук. Даже добрую старуху Максимовну не хотел признавать. Ночами он подходил к окну Ольгиной палаты, заглядывал внутрь, но на знакомой кровати лежал чужой человек. Он брел к сиротливой скамейке на крутом берегу, где она любила сидеть. Но скамейка была пуста. Из нее даже выветрились, стерлись знакомые Ольгины запахи. И ночную темноту вдруг раздирал жуткий жалобный вой. В нем слышались несогласие и тоска. Он кого-то призывно звал, жаловался кому-то на несправедливость и безысходность, обвинял в черствости и жестокости.

А вскоре пес пропал. Впервые за многие месяцы он шел той дорогой в город, по которой когда-то пришел с Человеком. Дорога привела к знакомой закуской, где щенком случалось ему прозябать в самом последнем ряду. Не обращая внимания, прошел мимо окрысившихся доходяг, изготовившихся постоять за себя бакланов. Не заметил и этих. Он трусил своим курсом. И тут на его пути вырос могучий кобель, оскалил сломанный клык. Что-то знакомое показалось в нем Бельчику, и он вспомнил недавнее детство, забияку и деспота – прожорливого Пирата, который драл любого и каждого из собачьего рода, кто приближался к нему на расстояние двух прыжков.

Чем-то неприятным резануло по сердцу Бельчика, но раздумывать было некогда. Да и не может собачий сын раздумывать, ведь основными его помощниками являются рефлексy, если верить ученым. Да и он очень спешил. Был занят другим. Своими инстинктами. А как же тогда это не мыслящее существо-

во, рискуя жизнью, вытаскивает из полыхающего дома младенца? В голоде, холоде ждет годами на аэродроме покинувшего его хозяина, пасет отару и по приказу чабана бежит по спинам овец, чтобы привести указанное им животное? И это все инстинкты?! Если бы знали собаки, что ученые считают их безмозглыми, многим не поздоровилось бы.

Но, как бы там ни было, Бельчик спешил, забыв об обидчике Пирате. Но тот, разинув пасть, уже несся навстречу. И тогда вздыбилась шерсть на загривке Бельчика. Неосознанным движением он чуть подался в сторону, ушел от удара могучей груди Пирата, схватил его за жирную шею и бросил на твердый асфальт. Не успел тот опомниться и вскочить, как свора собак, словно ждавшая сигнала, набросилась на него с остервенением, жадностью и начала нещадно рвать его налитые жиром бока.

Бельчика это уже не интересовало. Гонимый одним, он спешил дальше, туда, где было много людей. Его видели у проходящих автобусов на автопавильоне и железнодорожном вокзале. Худой, облезлый и грязный, он рыскал от тамбура к тамбуру, пугая спешащих с узлами пассажиров, то и дело получая пинки, слыша в свой адрес брань.

И однажды его поезд пришел. Он понял это сразу, как только подбежал к последнему вагону. Потно-табачный, знакомый до ненависти запах со всего маху ударил по его обострившемуся от голода чутью, и пес от неожиданности простонал. Было в этом запахе что-то от стаи из шакальевого ряда, липкое, омерзительное и противное, и Бельчик воспрянул духом, напрягся. Он дернулся в одну, другую сторону и напал на след. След повел меж газонов, к выходу на привокзальную площадь, туда, где днем было шумно от многочисленных пассажиров, пропахших бензином автобусов, а теперь, ранним утром, почти не было никого.

Да, он не ошибся. У закрытого окошка парфюмерной палатки, навалившись на прилавок, стоял тот, которого он ждал долгие

дни, бесплодно искал и ждал. И вот теперь он стоял, самоуверенный и довольный, ждал первого автобуса, чтобы уехать в город, чтобы снова творить свои грязные дела. Нет, не творить ему больше, не плакать старой Максимовне в маленькой белой палате, не заглядывать ему, Бельчику, в погасшее больничное окно, не тарабанить лапами по подоконнику, будто по клавишам пианино. Ничего не было в собачьем сердце, кроме стремления расплатиться за все с этим ненавистным, жестоким человеком.

Пес хотел кинуться сразу, из-за угла. Но тот стоял к нему боком, не видел его. И тогда Бельчику захотелось увидеть его глаза, может, в них тоже грусть и смертельная тоска по потерявшему человеку. Может, он не виновен и совсем не знает о горе? Тогда поведать ему на своем собачьем языке об их общей беде, пожалеть, приласкаться к нему, разделить беду на двоих.

Он обошел Кольку спереди, глянул в его глаза. В них не было и капельки грусти. Самодовольно-черные, уверенные в правоте, они свысока смотрели на мир, хитро шурились, прижимаемые восходящим солнцем, и Бельчик понял, что это горе того не волнует. В ожидании последнего своего решения он замер перед Буриловым, и тот увидел его, лениво расширил веки.

-Чего тебе, кабыздох?- спросил брезгливо, презрительно отворачивая голову. Но тут же метнул растерянный взгляд назад, пытаясь что-то быстро сообразить.- А-а, защитничек Олитубички. Соперник. Скажи ей – пошалили и хватит. Канай вон, шмакодявка.

Вновь на загровке Бельчика протестующее вздыбилась шерсть, и дрогнули мускулы на лице еще мгновение назад самоуверенного Бурилова, испуганно напряглись.

- Да ты, волчара покусанный, никак взбесился?- с дрожью в голосе прокричал он, все еще по инерции презрительно улыбаясь, но улыбка уже была искаженной, перечеркнутой испугом, и его рука быстро скользнула в карман.

Блеснул нож, но пес, нацелившись на горло, уже был в прыжке...

- Бешеная собака, человека зарезала! Убить ее! Бешеная собака!- кричали разбегающиеся в стороны люди, и Бельчик метнулся к скверу, выскочил на большую дорогу и, прижав уши, понесся близ саманных домишек привокзальной улицы.

Недели через две, утром, его увидели под скамейкой, на которой любила сидеть Ольга. Он сдох от тоски и обиды, но лежал, словно живой, вытянувшись во всю длину, положив голову на длинные лохматые лапы. Он будто снова был на боевом посту. Только в уголках его глаз застыли две маленькие собачьи слезинки. И набегавший с Кубани ветер дыбил шерсть его белоснежной шубы.

## ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

*Посвящается Нине Аверьяновне Малоковой*

### 1

Отчетно-выборная конференция проводилась в октябре. Но задолго до нее в цехах, на участках появились любопытные, порой неправдоподобные слухи. Они были далеки от истины. И вообще являлись отголосками тех слухов, зарождались которые не в цехах, а в мозгу завода – его управлении.

- Старого оставят?

- Кого, Вершинина? Все ему, крышка. Проворовался с головой, под суд его надо, а не переизбирать. Квартиру получил, машину вышиб, дачу построил, чего еще? И совесть знать надо.

- Зама Сколоцкую?

- Болтлива. Улыбается ангелочком, а гребет под себя, как экскаватор.

- Поговаривают, Горшкова.

- Дурак он, что ли, петлю на шею надевать. Найдут кого-нибудь поглупее, поизворотливей. Ведь там меж трех огней: директором, парткомом, рабочими. Ухитрись-ка со всеми ужиться! С начальством не уживешься – выпрут, с рабочими – прокатят на выборах. Найдут темную лошадку и будут погонять, пока не загонят. Это же профком...

Идут разговоры в отделе труда и зарплаты. Перекочевывают к плановикам, снабженцам, бухгалтерам. По-змеиному тихо переползают порог кадровиков, юристов. Снова возвращаются в отдел труда и зарплаты с еще большими подробностями и ошибочными предположениями. Только и слышно:

- Кого?

- Не того?

- Его?

Очень волнуются в клубе, спортзале, профилактории, поликлинике. Кому любопытные разговоры, а этим с профкомом работать, зависеть от него. Просить новые баяны, спортивную форму, «подснежников» из цехов нянечками, воспитателями, посудницами, секретарями цехкомов комсомола, спортивными инструкторами. Вершинин для них не тот человек. У него многого не напросишь, словно из своего кармана выдает. Жмот. За половую тряпку удавится, не то, что уборщицу даст. Все у него нарушения, все нет средств. А пол мыть самим? Для этого институты кончали?

И Горшков не лучше. К Вершинину хоть привыкли, слабости изучили. В добрую минуту и подмаслиться можно, не откажет. А тот – бугай бугаем, через губу не переплюнет, губошлеп. Вечно в небо башку дерет, будто стрижей считает.

- Ну, кого?- прибегут к директорской секретарше.

- Неизвестно.



- Ван Ваныч, кого?- спросят главного инженера.
- А черт те... Делами лучше занимайтесь, а вы лясы точите.
- Кто кандидат?- между делом полюбопытствуют в парткеме.
- Кого изберете, того и поставят,- ответят с лукавой полуулыбкой.

\* \* \*

Дебелая, сильная, красивая. В глазах сломалось майское небо, а на голове колосья вызревшей пшеницы. Недавно закончила на «отлично» Московский энергетический институт. Училась заочно. Сына, малую дочку оставляла на свекровь. Два раза в году – сессии. Контрольные – целый год. Все выдержала. Домой приезжала с московскими подарками: детям – костюмчики, шубки, мужу – рубахи, брюки, свекрови – темную шаль с красными цветами, апельсины любила старуха...

Поставили мастером прессового участка. Работала посменно, с душой. Через два месяца смена стала лучшей, за квартал премию получила. И в следующем проявила себя.

Заметили. За три дня до конференции вызвал к себе секретарь парткома Александр Михайлович Алексеев, посадил за длинный, как взлетная полоса, стол, вежливо сказал:

- Женщина вы молодая, Ирина Ильинична, грамотная, с коллективом сработались, в передовые вывели. Партком завода будет предлагать вашу кандидатуру в председатели профсоюзного комитета. Доверие большое, работа сложная, не каждому по плечу. Но и почетная, третьим человеком станете на заводе. Лидером рабочих. Будем помогать. И спрашивать будем, стружку снимать, если появится необходимость. Время подумать дам до завтра. В девять жду у себя.

Неожиданно свалилась обуза. Пришла домой в растерянности, сомнениях.

- Мама, Витя, что делать?

На глазах чуть не слезы. И цех жалко – приработалась,

и доверие. Откажись, больше не предложат. А вдруг не потянешь? Критика на собраниях, ругань руководства!

- Ни праздников, ни выходных,- развел руками муж.

- Зато каким человеком станет!- рассудила его мать.- Попытка – не пытка. В тридцатых годах отцу твоему предлагали стать колхозным головой. Отказался, дурак. Потом мыкался всю жизнь – ни богу свечка, ни черту кочерга.

- Не знаю, что и делать. Боюсь,- призналась на другой день Алексееву.- Вдруг не потяну.

- Не боги горшки обжигают. Давай диплом, городскому начальству покажу.

На конференции ее избрали в президиум. Скромно села на третий, последний, ряд. Голову спрятала за бригадира обмоточного цеха Николая Андреевича Кашириа, мужчину пожилого и крупного, как валун.

- Администрация и партком завода рекомендуют председателем профкома избрать мастера прессового цеха Ирину Ильиничну Загудаеву,- торжественно объявил Алексеев, когда единодушно проголосовали за профкомовцев.- Молодой специалист. Прошла детдом, с красным дипломом окончила институт, руководит передовой сменой. Кто за это, прошу поднять руку.

Одна за другой поднялись двадцать рук. Лишь она из скромности не подняла. Человек новый, но сам Алексеев представлял. Вершинина даже в состав не ввели. Вот оно, рабочее недоверие. Кого хочешь, протянут!

Поздравляли. Сама председатель обкома профсоюза Жарилова крепко жала руку. Доброжелательно говорила:

- Не волнуйтесь. Поможем. На курсы вызовем. Большие надежды возлагаем.

Взгляд умный через стекла аккуратных очков в золотой оправе. Рука уверенная, не женская, сильная. Вокруг серьезные лица, словно все хотят сказать – ждем хорошей работы. Заволновалось сердце, забилося трепетной перепелкой. Захо-

телось оправдать большое доверие. В грязь лицом не ударить. А сложно.

- Изучай документацию, постоянно бывай в цехах, не бойся людей, и все будет на своих местах,- по-отечески подсказывал Александр Михайлович.- Займись соревнованием, подумай над профсоюзным бюджетом. Про отдых рабочих, спорт, культурные мероприятия не забывай. Это воздаст сторицею.

С уважением и вниманием слушала, в самый рот заглядывала Алексееву. Все знает. А кто больше научит? Человек добрый, как отец, наверно, хотя отца не помнит, в первый год войны погиб. Но бабушка говорила, был умный и очень порядочный. Под Москвой лег. Осталась с матерью, Елизаветой Павловной. Мать – красавица, молодая. Горе сломило, запила, загуляла. Самогон гнала, торговала. Из дома ушла. Бросила Ирку. И ее отдали в детдом. Выжила. Училась отлично, чтобы в люди выбиться. После десятилетки направили на завод. В общежитие не пошла, у бабушки стала жить. Вернулся внук бабушкиной родни из армии – заметный, высокий. Белый чуб волнами лег на лоб. Глаза откровенные, голубые. Не насмотришься, бездна, утонуть можно. С таким на люди показаться не стыдно. В клуб приглашал. Пошла.

- Вот и пара тебе. Не беда, что мы кумовья и далекая родня. Крепче жить будете. Самостоятельный он, деловой. Не последнее дело в жизни,- говорила бабушка.

Сосватали. Согласилась. Гордо ходила по городу: видный муж, работающий. Лучший бригадир в ремонтном цехе. Зарплата за двести, больше, чем у директора. И пара на удивление, будто друг для друга созданы. Смотрятся. Все говорят о чем-то, воркуют, как голубочки. Жить да радоваться таким. И радовались. До утра. Праздник, и все тут. Утром шли на работу. По дальним улицам в обнимку, как жених с невестой. Ближе к заводу он брал ее под руку, продолжал говорить ласковые слова.

- Красивая! Люблю тебя больше жизни.

- И ты самый-самый, Витя!

Неохотно прощались: «Вечером у проходной...»

Счинились новый дом строить. Два года не разгибали спины. Место дали далеко, на окраине. Зато красивое, на берегу реки Рябинки. Постепенно вырос кирпичный особняк. Хоть чуток не достроен, но уже загляденье. Яблоки посадили, малину, вишни. Из земляники варенья на всю зиму готовили. В лесу грибов набирали, солили, сушили. Дети пошли. Жили – радовались. Поступила заочно учиться. С годами не охладели друг к другу. Встречал Виктор у проходной, глаза светились теплом, как у влюбленного юноши. Счастливые, завистливо говорили им вслед. Свекровь нарадоваться не могла. Помощница, мол, хозяйка. Сам Бог послал. Витька-то под счастливой звездой родился. На работе в почете и дома мужчина, забор подправит и сена накосит.

Мотоцикл с коляской купили. В выходные по грибы съезжают или в гости к друзьям. И везде возле них шумно и радостно.

- Теперь вы приходите, - приглашали к себе.

У обоих улыбки во все лицо, мол, всегда рады.

- Счастья-то сколько в жизни! Я раньше не подозревала, - восклицала Ирина. - В отпуск поедем на море, Вить?

- С тобой хоть за море, - соглашался муж.

А ей все не верилось. Иногда встанет ночью, пройдет по комнатам, включит свет: их ли дом-то, такая громада?

- На-аш, - нежно поглаживая стены, скажет. Завернет и в детскую. - Счастливыми будут. Не детдомовцы, не сироты. Жить да радоваться.

И вот профсоюзная конференция. Третьим человеком на заводе стала. Подумать только! Напишешь детдомовским одноклассникам – не поверят. А сомненья терзают, спасу нет. Свой ли хомут надела, вытянешь ли профсоюзную телегу? Не такие молодцы шею сворачивали председательством.

- Не боги горшки обжигают,- успокаивал Александр Михайлович.- Я всю эту школу прошел, не пропал.

## 2

Поднялась чуть свет. Навела прическу, умылась. Долго смотрелась в зеркало, то хмурила лицо, то слегка улыбалась, то старалась казаться занятой и серьезной. Какое выражение лучше? Сама не знала, махнула рукой. Раньше времени выскочила во двор, а там уже свекровь на ногах, из кухни спешит, пропахшая щами, руки передником вытирает. Куры с цыплятами – в разные стороны. Взлаял в углу кобель

- Куда рано-то? Завтрак вон приготовила, пошто мимо идешь?

- Некогда, мама, бегу. Виктора вот накормите.

Шла мимо леса, волновалась, не замечала, как на восходящем солнце вспыхивали серебряные капли росы, как молочным туманом умывались примкнувшие к реке березки. Не слышала пенья птиц и который раз зарождающейся в лесу жизни. Все это сразу отступило на задний план, но и на переднем, только рождающемся в ее судьбе, было все неясно и не знакомо.

Навстречу кто-то шагал, и она, отвлекшись от мысли, внутренне подтянулась, глянула со скрытым любопытством в лица. Шли продавщицы поселкового магазина, слегка, как обычно, приветствовали кивками, без видимого интереса мелькнули глазами, даже разговор не прервали.

Еще не знают, не то с сожалением, не то с радостью догадалась она и по-прежнему заспешила дальше. Так же миновала проходную, прошла весь завод, вошла в контору. Мимо мелькали безразличные лица, и она удивилась: неужели не знают? Но не обиделась, даже порадовалась слегка: пусть не знают, пока не втянулась в работу.

Неуверенно поднялась на второй этаж. Увидела открытую дверь в партком. Значит, секретарь приходит к семи, зарубила в памяти. Тихо скользнула мимо, робко вошла в свою дверь. И

чего-то забилося сердце незнакомо, тревожно, словно хотело предупредить и вернуть назад.

- Что ты, что ты, родное!- шептала она ему.- Не боги горшки обжигают.

И ей действительно захотелось вернуться, сбегать по ступенькам, пока никто не увидел, пойти в цех к своей смене. «Не сон ли? - подумала Ирина Ильинична, замерев на секунду. - Нет, не сон!» Она четко вспомнила вчерашнюю конференцию, увидела падающие в бархатные урны бюллетени: методично, один за другим, слово бомбы с самолета в кино. Вспомнила улыбающиеся лица, цветы, поздравления и поняла, что отступать поздно.

В качестве просителя она бывала в этом кабинете. Теперь вошла хозяином, и он показался ей совершенно иным, не похожим на себя прежнего, чужого, маленьким, неудобным и сиротливым, словно жили в нем квартиранты. Такие же, как у Александра Михайловича, столы, стоящие буквой «Г», только «взлетная полоса» покороче. Старенькие застиранные шторы. Огромный, неприглядный сейф дыбился из угла, готовый рухнуть на председателя и раздавить своей тяжелой многолетней документацией. Книжный шкаф, забитый книжками профсоюзного активиста. Старые скрипучие стулья, со всех сторон окружившие длинный стол, словно не хотели к нему никого подпускать. Задравшийся, потертый от многочисленных посетителей линолеум. В другом углу – большой шифоньер. В приоткрытую дверь виделись на полках электрический чайник, припыленный и неумытый, перевернутая вверх дном фарфоровая кружка с черной трещиной во всю юбку, надорванная пачка сахара. Рядом с шифоньером, поперек кабинета, рабочий стол ее заместителя. На нем серый телефон, бумажный беспорядок, белый патрончик губной помады, видно, неубранный в предвыборной суматохе. За столом урна с исписанными листами.

- Все это будет вторым твоим домом,- сказала она печально и, повернувшись к окну, боком села к столу.

В окно хорошо просматривалась ближняя территория завода, проходная, спешащие через нее люди. В открытую форточку тянулись еще зеленые ветви огромного тополя, словно приветствовали нового председателя, и на душе у нее стало немного спокойней.

Открылась дверь, и она вздрогнула от неожиданности. Пришли ее заместитель и машинистка.

- Здравствуйте, Ирина Ильинична!- дружно приветствовали они.- С назначением вас!

- Спасибо, девчата,- от души поблагодарила.

Вошла бухгалтер профкома Мария Ивановна Васько – женщина пожилая, бойкая на язык. Тоже поздравила, пожелала удачи, а в глазах любопытство: как же потянет новый председатель, что он за человек, как поведет себя, не станет ли ущемлять, уживешься ли с ней? С Вершининым уживались. Десятки вопросов рождаются в такую минуту.

- Спасибо большое. Садитесь к столу,- пригласила Загудаева.- Теперь давайте думать, как будем жить и трудиться. Я в этом кресле никогда не сидела, профсоюзной работы не знаю. Вся надежда на вас. Подсказывайте, коль ошибусь. Благодарна буду.

- Спра-авитесь, помо-ожем,- загудели женщины, успокаивая ее и расходясь по местам. Полной уверенности в их преданно смотрящих глазах она не увидела.

«С чего начинать?»- тревожно думала Ирина Ильинична.- Наломая тут дров, расхлебывайся потом. Зачем согласилась?»

Выдвинула один ящик стола, другой. Бумаг – ужас взяла! Попробовала маленький, с другой стороны. Куча скрепок да два массивных, со сложной насечкой, ключа. Повертела в руках, смекнула – от сейфа. Открыла одну дверь – зеленые нумерованные папки, разбухшие, словно свиньи перед опоросом. В железной коробочке печать со штампом. Посмотрела, машинально поставила на исписанный телефонными номерами листок настольного календаря, прочла оттиск, большую силу

ощутила в круглой деревяшке, увидела судьбы людские, качнула несколько раз ее в полураскрытой ладони, гирей показалась печать. С опаской положила назад.

С холодным скрипом повернула ключ другой двери. Две полки утрамбованы такими же папками. Прочла этикетки: «Производственно-массовая работа», «Социальное страхование», «Материалы конференций», десятки других. Голова пошла кругом. Присела, протянула руку к одной из папок. Как спрессованные. Поднатужилась, еле вынула. Попались планы работ. В жар бросило от объемов. Там и месячные, и квартальные, и годовые. Все со ссылкой на мероприятия. Значит, и таковые имеются в этой железной громаде, похожей на «Титаник»! Лучше пока не трогать.

А тут телефоны, словно с цепи сорвались: и требовательный красный, и мрачный серый, и недовольный селектор – черный, как грач, и, по всей видимости, вредный. Красный сразу прозвала «городищем», связь с городом осуществлял, серый (местный) – «трудогай», черный – «приказчиком». Городской требовал собрать взносы членов общества охраны памятников.

- Тя-анете, тя-анете,- наставительно ползли слова и щеко-тали в ухе.- Другие предприятия давно сдали, конференции провели, а вы и половины не собрали. Не дорожите историй предприятия.

- Почему не дорожу-то?- обиделась Ирина Ильинична.

- Председателя общества не подгоняете. Кто у вас возглавляет?

- Да я и не знаю пока,- растерялась она.

- Вот те на! Хорош руководитель.

- Николай Иваныч Коледников,- подсказала ее заместитель.

Не успел погаснуть наставительный голос из «городища», как затрещал «трудогай». Машинально схватила трубку свободной рукой, поднесла к уху и с опаской отдернула.

- Так вас перетак! Сидите, штаны протираете, дармоеды, а на рабочий класс наплевать?



- Кто это?- строго спросила она.

- Хрен в кожаном пальто. Душевая в литейке не работает вторую неделю. Как черти ходим...

Хотела возмутиться, а в трубке короткие гудки. К кому обратиться? К начальнику цеха, к механику? Пока выясняла, уговаривала, полчаса потеряла. А телефоны буйствовали, аж стол массивный подрагивал. Хорошо заместитель помогала, бойко отвечала:

- Да подкинем, не сомневайтесь... Отчеты? Давно послали, вы что!.. Люда!- через дверь машинистке.- На, запечатавай, посылай. Все сроки прошли... А-а, здравствуйте, Виктория Владимировна. Как здоровье? Вот и хорошо. Рада за вас. Нам так не жить. Не волнуйтесь. Шеф еще не подписал. Думаю, согласится. Через недельку, ага... Совсем обнаглели,- сама себе.- За счет государства в рай хотят въехать.

И тут голос властный, высокомерный подал «приказчик». Он стоял только на ее столе. Впервые говорила она с директором по телефону. Трубку подняла с запозданием, робко. По голосу сразу узнала.

- Ирина Ильинична. Еще раз поздравляю. Вы уж давайте принимайтесь за дело, разберитесь с профилакторием. Воду радоновую им не подвозят. Ваш хлеб-то. Меня по мелочевке не трогайте.

В тугой ком сжалась председатель. Не успела вымолвить слова, как вежливо-властный голос пропал. В замешательстве она еще держала трубку, выжидающе глядела на черный, замолкший аппарат, и ей показалось, что он молча, высокомерно смотрел на нее и снисходительно улыбался. Она сразу невзлюбила его. «Жирный, коварный грач».

И так целый день. Голова пошла кругом. В ней зазвенело, как в телефоне. Мысли путались. И вдруг аппараты умолкли. Наступила подозрительная, тоже звенящая тишина. Она посмотрела вокруг – никого. Глянула на часы – шесть. И на нее навалилась такая усталость, будто целый день таскала на собс-

твенной стройке раствор, забыв про обед, про отдых. Думала еще почитать планы, но строчки плыли голубыми волнами, в глазах прыгали бойкие рябчики, будто что-то пытались клевать.

За проходной удивилась: одиноко вокруг, сиротливо. Встрепенулась: а где же Виктор? Догадалась, что поздно. «Это ничего, усталость с непривычки,- успокаивала себя.- Втянешься, баба здоровая, только сено возить, повезешь. Не боги горшки обжигают. Ты ляжешь сейчас и поспишь. А завтра встанешь с новыми силами.

### 3

Как неожиданный вихрь, жизнь схватила Ирину Ильиничну в свое крепкое, неумолимое беремя и понесла – некогда оглянуться, подумать над содеянным. Ничего выходило, вроде бы правильно. Лишь Виктор, кажется, был недоволен.

- Снова ждал у проходной. Не дождался.

- В горком вызывали.

- А вчера?

- В обком профсоюза на президиум.

- А в понедельник?

- Заседание профкома. Да ты что, Витёк, не доверяешь? Опять за свое?

- Доверяешь, не доверяешь, при чем тут это? Дом не достроен, усадьба до конца не доведена. Дети не видят мать целыми днями.

- Разве я не думаю?- обнимала она его и притягивала к себе.- Выписала кирпича, цемента, шифера на сарай. Где б ты его достал? На днях привезут прямо домой, Витяня!

Муж еще немного упирался, старался показать недовольство, но вскоре сдавался. И снова говорил ей ласковые слова. Но теперь в них проскальзывала и гордость за нее.

- Какая ты могучая у меня! Домой тебе привозят, как на подносе! Прости уж...

- Работа, Витюня, такая. Вот завтра вечером планерка по качеству. Нельзя мне не быть. Если не нажмем – кварталка накроется, двести с лишним рублей мы с тобой потеряем.

- Ну, ладно, Ириша, ладно.

- Звонила Жарилова, говорит, не подкачай, членом облсовета будем тебя избирать. Обком выдвигает. Запомни: понравилась ты нам.

- Вот какая ты стала, голой рукой не возьмешь!- восхищался он, преданно заглядывая в глаза.- Сама Дарья Ивановна так сказала?

- Сама. Говорит, соревнование у вас лучше всех предприятий организовано. Опыт будем перенимать и с другими делиться. Отраслевой семинар у вас проведем.

- Ну-у, Ирка, в гору идешь,- откровенно удивлялся простоватый Виктор.- Мы сегодня тоже крепко работнули. Рублей по двадцать закроем.

Но Ирине Ильиничне уже не хотелось слушать мужа. Все это казалось незначительным, мелким. А вот там, где она, дела сейчас разворачивались широко, с размахом, и ломать голову есть над чем. Слава богу, голова досталась неглупая.

- Дарья Ивановна говорит, старайся, дерзай, начальство заметит и отметит. Профком для тебя не предел,- потаенно делилась она с супругом и начинала представлять себя большим профсоюзным лидером, придумывать себя в будущем.

Но все это было еще так расплывчато, времени на фантазию не хватало, а дни начинались с совершенно прозаических вещей. Чуть свет она спешила на работу. Дорогой ее встречали заводские, о чем-то спрашивали, и она на бегу отвечала, в чем-то отказывала или обещала. В кабинете уже настойчиво трещали телефоны, и Загудаева, бросив на спинку нового стула (недавно сменила вместе со шторами) пальто, срывала бушующие рычаги, уверенно говорила. В это же время свободной рукой стягивала меховые сапоги, ставила в угол за гармошкой разъехавшуюся батарею, ногами нашупывала под столом туф-

ли на высоких каблуках (итак высокая), доставала расческу, зеркальце из сумки, прихорашивалась.

Подходили сотрудницы, начинался новый рабочий день. Машинистка Люда приносила почту из административно-хозяйственного отдела, подавала уже раскрытые конверты деловых писем, и у Ирины Ильиничны удивленно расширились глаза.

- Опять куча?
- Не забывают нас, любят.
- Делать кому-то нечего.

Читала по инстанциям. Сначала от своего профсоюзного начальства, а потом уж другие. Иногда чтение сопровождала размышлениями вслух.

- Обком четвертую форму просит заполнить, срок затянули.
- Медики тянут,- говорила Сколоцкая, поблескивая веснушками.

- Звони, Валентина Павловна, шевели их.

Она читала, шуршала бумагами, которые за недолгий срок успела невзлюбить. Ворчала.

- Во-от, вызов на пленум. А работать когда? Тут справку по товарищеским судам и профилактике правонарушений нужно в совпроф. Здесь справку о травматизме. А это что такое? Самой Валентине Терешковой жаловались, космонавту!

- Кто?

- Аза Артеменко. Говорит, как ребенка в ясли устроить? Еще беременная ходит, а уже жалобы строчит! Муж за заводские кражи из тюрьги не вылезит. Совсем обнаглели. Большого человека от дел отрывают. Что ответить на такое письмо?

Не-ет, не разобралась еще Ирина Ильинична в профсоюзной работе – на это многие годы нужны. Практика. Она и со-той доли ее не успела узнать. Но в ее характере было много настойчивости, а в пытливом уме – неуёмное стремление разобраться во всем и быстрее. Находя выход из положения, она напряженно прикидывала в мыслях, отвергала, сопоставляла в логическом измерении, ставила себя на место других и, на-

конец, находила правильный выход. В профсоюзной кутерьме, где нет четких прав, а есть много обязанностей, качество это считалось талантом.

Подумав, она написала короткий ответ: «Работница завода А. И. Артеменко действительно находится в декретном отпуске, но матерью еще не стала и по поводу предоставления места в яслях ни в детскую комиссию, ни в профком не обращалась. Сразу после рождения у Артеменко ребенка, согласно положению, вопрос его устройства в детское учреждение будет решаться профсоюзным комитетом. Председатель профкома И. И. Загудаева».

- Люда, напечатай!- бросила в прихожую машинистке. Потом сняла серую трубку «трудяги».

- Ерёмин, здравствуй. Загудаева беспокоит. Ты председатель цехкома или не председатель? Тогда почему профсоюзная служба плохо работает? Артеменко у вас в декретном? Кто ее проведаль? Никто. Ну и что, что не родила? Зато жалобу родила самой Валентине Терешковой: место ей в яслях не предоставляют! Комиссия соцстраха плохо работает. Надо было объяснить толком – очередь на ясли более двухсот человек, заявление нужно подать, разберем и поставим. Это неважно, что муж посажен, Аза – член коллектива. Наведи у себя порядок.

Отчитав председателя цехкома, она вспомнила о приближающемся семинаре. Достала и перечитала мероприятия Жариловой. Нужно было подготовить основной доклад, найти четырех выступающих бригадиров. Обеспечить явку шестидесяти человекам. Это в рабочее-то время! Выставить наглядную агитацию, позаботиться о питании. Много чего было нужно, и Ирина Ильинична беспомощно схватилась за голову. Машинально пробежала глазами еще раз по тексту, сразу прикидывая – кого и за что назначить ответственным, как уговорить цеховое начальство отпустить со смены людей. Непросто это, ох, как непросто!

И семинар удался. Жариловой понравились и доклад, и вы-

ступления. Потом, когда они обедали в банкетном зале заводской столовой, время от времени она спрашивала:

- Доклад сама написала?

- Сама. Две ночи не спала. Все вершининские доклады подняла. Трудно давался.

- Постигнешь со временем. А бригадиру сборщиков кто готовил? Хорошо он отдел труда критиковал и предложения дельные внес.

- Делали мы вместе с цеховиками.

- Правильно. Государственные задачи надо решать коллективно. Ты сейчас займись бытовыми условиями в цехах, техникой безопасности. В области ожидается комиссия ЦК профсоюза. Возможно, выберут ваше предприятие. А у вас запыленность выше нормы, в душевых беспорядок. И работай над документами. На ночь домой бери, изучай.

- Дома итак косятся – не помогаю. Муж недоволен,- откровенно призналась она, преданно глядя в глаза Дарье Ивановне.

- У меня, думаешь, доволен?- вздохнув тяжело, по-коровьи, вымолвила Жарилова, и на ее крупном лице залегла тень легкой тоски.- Мотаюсь по всей области, дома гость редкий. А там сына из школы выгоняют, совсем от рук отбился. Такая у нас работа. Нажимай на начальство. Ты такой же руководитель, как директор, одинаково за все отвечаете. Поэтому и держать себя надо по-директорски.

Такой, да не такой, грустно думала Ирина Ильинична. Он хозяин на производстве, а я никто. Он людьми командует, деньгами распоряжается, а я на побегушках, только людей этих защищаю, то денег на клуб выпрашиваю, то на пионерлагерь. Вот тебе – такой же!

- С жильем внимательней смотрите, очередь соблюдайте. Это самый щекотливый и кляузный вопрос,- как дятел, долбила очкастая Дарья Ивановна, не прекращая жевать.- Совпроф грозился проверить. Жалоб на вас много... Скоро и заключение

нового коллективного договора. Добивайся, чтобы все пункты были выполнены. Особенно по технике безопасности, улучшению условий труда и быта.

Жарилова, поджарая и сильная женщина, говорила без умолку, словно внутри ее стоял автомат с заранее подготовленной записью, и Ирина Ильинична не успевала черкать в зеленый пухлый блокнот. Указания на лету, между делом утомляли, а их разнообразие страшило председателя. Надо было как-то отвлечь, успокоить начальницу, и Загудаева вспомнила заводскую оранжерею. Все городское начальство было в ней постоянным гостем. Перед праздниками телефоны с просьбами не умолкали, и она придумала хитрый ход.

- Дарья Ивановна, вы же давно не были в нашей оранжерее! Выбор есть, я позвоню туда.

- Пожалуй, заедем, все равно сейчас отправляюсь домой. Цветы – моя слабость.

За окном были снег и мороз, а они вольготно ходили по просторному светлому зданию, словно по летнему лугу, любовались зарослями огромных белых калл, тонконогих высоких гвоздик, и в женских душах зарождалось тепло.

- Гвоздики, как юные девушки на морозе!- восхищалась Дарья Ивановна, принимая букеты от агронома.- Спасибо вам, Елизавета Петровна. Любите вы свою работу.

- Как же не любить, цветы ведь!- с радостью подавала та, воссияв довольной улыбкой.

- У людей от цветов всегда праздник, значит, праздник и у нас.

Загудаева проводила высокую гостью до машины. С улыбкой простилась.

- Смотри тут, ты такой же директор, как и Мазанов,- вновь напутствовала Жарилова, захлопывая дверцу.

- Смотрю-у!- крикнула вслед Ирина Ильинична и махнула рукой.- Вот и смотри. За тем смотри, за другим смотри. За собой кто будет смотреть?

В тот вечер она не стала задерживаться и вовремя приехала домой. Войдя в комнату, достала коробку конфет, угостила детей, свекровь, поставила в высокую хрустальную вазу белые с широкими листьями каллы, и комната осветилась весной. Дневные заботы от навянной цветами весны, от своевременного прихода как-то сразу потонули в памяти. Хотелось радоваться, любить жизнь, делать людям добро.

- Давайте я сварю ужин,- услужливо обратилась к свекрови, на ходу обнимая детей.- А Виктор еще не пришел?

- Задержался чегой-то,- ответила та, благодарная за помощь.

Ирина Ильинична ставила на плиту кастрюли, резала мясо, чистила картошку. Долго гремела посудой на кухне, откуда неслись вкусные запахи варева. Потом проверила школьные задания у сына и дочери. Посматривая на часы, ждала мужа. Но его все не было, и они ужинали без него. После стирала белье, укладывала ребятишек спать, полежав немного с обоими. Отправилась на покой и сама.

Но покой не приходил. «Что случилось? Почему Виктора нет?- спрашивала себя.- Задержался на работе, так позвонил бы».

Вдруг в сенцах что-то загремело, и в комнату вошел муж. Голова всклокочена, взор красно-мутный, блуждающий. Саркастическая улыбка.

- Пьяный?- встрепелась она.- С чего бы это?

- А что остается делать? Ты все занята, все на работе. А я один, как перст. Должны быть и у меня праздники, не все вкалывать, словно мерину. Или вашему благородию не нравится? Тогда не неволим.

Обидно стало Ирине Ильиничне, невидимой тяжестью навалилась дневная усталость, нервотрепка последних недель.

- Очень нравится. Ты ложись,- только и вымолвила она, и глаза ее повлажнели.



Новый год начался сумбурно. Не успели отзвенеть праздничные бокалы с пенистым беспокойным шампанским, как в профком посыпались десятки бумаг. Все инстанции просили справки, отчеты, ответы, требовали перспективные планы, проекты колдоговора, мероприятия, и у профкомовцев голова пошла кругом.

- Месяца четыре теперь о выходных позабудь,- скептически заявила Сколоцкая, готова отчет на какой-то очередной запрос.- Скоро и комиссии посыплются, хоть закрывай глаза да в омут.

Как в воду смотрела. Вскоре комиссии и, правда, посыпались. Были они исполкомовскими, отраслевыми, облсовпрофовскими, министерскими и еще бог знает, какими и с какой целью. Сколько делалось бесполезной работы, удивлялась Загудаева. Сейф не успевал закрываться. Одна за другой листались пузатые профсоюзные папки. Отыскивались материалы заседаний, постановлений, мероприятий, ответы на жалобы, копии просьб, заявлений, писем. Все это бюрократической лавиной обрушилось на широкие плечи Ирины Ильиничны, и она, женщина сильная, волевая, вдруг от испуга застонала, засуетилась и растерялась.

А тут свое начальство как с цепи сорвалось. Вызвал как-то директор Мазанов, еле кивнул на стул, сразу заговорил, сердито сверкая очками.

- Почему ЦК профсоюза спрашивает у меня о жилье? Кто делит – профком? Вот и отвечайте сами. Тут с планом мозги свихнешь, еще за вас упирайся.

- Администрация тоже занимается,- обидчиво возразила.

- Я все сказал. Чтобы сегодня же был ответ!

Встала и хлопнула дверь. Недовольно шла по коридору, чуть не сбила секретаршу Алексеева.

- А я к вам, Ирина Ильинична. Александр Михайлович вызывает.

Парторг сидел в кресле, уткнувшись в ворох бумаг и хмурясь. Темно-красные шторы на окнах впускали в кабинет траурно-красный свет, придавали обстановке трагическую торжественность и покорную молчаливость, вызывали в душе приглашенной навязчивое беспокойство.

- Садись, мой любимый председатель,- указал он на кресло, и нервы ее вздрогнули. Загудаева не любила, когда Александр Михайлович называл ее любимым председателем. Значит, чем-то не доволен, значит, жди разноса. Знала: в последние дни у Алексеевых в доме неприятности. Ушел от дочери зять, оставив двоих детей. Александр Михайлович, сильно любивший внуков, очень переживал. И хотя лицо его по-прежнему оставалось непроницаемым, тон в настроении Ирина Ильинична уловила.- Ёлки, карнавалы проводишь, подарки новогодние даришь, а о производстве забыла?

- Подарки – моя работа, и о производстве не забываю.

- Соцобязательствами кто будет заниматься?

- И вы, и директор, и я. Все вместе.

- Все вам я, все партком! Своей мало работы, что ли? Почин «Пятилетку – в три года» разворачивает партком, многотиражка, а профком спит и в носу от удовольствия ковыряет.

- Когда ковырять-то? Комиссии, справки замучили!- обиделась она.

- А у нас их меньше? А в горьком каждый день вызывают тебя? Свяжись с газетчиками, цеховиками. Они уже наметили инициаторов. Сегодня же проводите заседание профкома, рекомендуйте распространять.

Хотела что-то сказать, возразить, но Алексеев не стал слушать, предупредительно поднял руку:

- Все! К партактиву готовлюсь.

Пулей выскочила из кабинета. В свой заскочила. Как из спелого яблока сок, из глаз брызнули слезы. А у дверей очередь, люди идут на прием. Не как у большого начальства – конкретные дни приема. В профкоме каждый день

приемный: организация-то рабочая, попробуй не прими.

Горько ей стало, обидно, да только обида работу не ломит. И некогда обижаться, самой все надо везти, как лошади. И испуг, и горечь, как это бывает с людьми сильными, вскоре прошли. И Загудаева развила такую деятельность, что у проверяющих от удивления расширялись глаза.

- А постановления президиума профкома, а постоянно действующих производственных совещаний – это не работа? Четыре ПДПС за год! Где вы столько видели? А у нас десятки пунктов по ним выполнены, сотни тысяч рублей по ним сбережены,- говорила она, не моргнув.- Думаете, легко первое место держать, миллионы сверх задания выдавать? Заработались вы, устали. Приглашаю на ужин,- умело закругляла она, взмахнув мясистой рукой.

Говорят, голод - не тетка. Кто тут разберется, сам черт ногу сломит. Справка написана, работа закончена. Можно и отужинать. Кормили в профилактории или конференц-зале, не стеснялись. Мясо холодное и жареное, салаты, оформленные со вкусом. Борщ с дымком, цыплята-табака. Бывал и балычок. Фужеры от нарзана из холодильника плакали. Рюмки от водки пыжились. За здоровье руководителя комиссии, каждого члена ее поднимали. Приглашала председатель, как откажешь такому любезному да внимательному человеку?

- Быть добру!

- За Ирину Ильиничну, приветливую хозяйшку.

Кто-то и руку на талию между делом пытался пристроить.

- Это лишне,- остужала такого негромко, но напористо. Взгляд уверенный, твердый, не взгляд – ледяные стрелы.

Однажды из областного центра приезжали. Главный, небольшой, но лощеный мужичок, лишнего выпил. Глаза все паялил. Вышли из профилакторского домика – ночь в беремя схватила. Над головой вековые деревья шумят, будто тоже за профсоюзные дела волнуются, луну за три неба упрятали, чтоб не подсматривала. Взял он Ирину Ильиничну за шею, почти

повис. Ударила тяжелой ладонью – пошел винтом в сугроб.

- Ты что, одурела?- взвился.- Телегу написать?

- Молчи или начальству доложу, мразь!

Ушла, не простившись. Наутро встретила презрительно-веселым взглядом, заботливо спросила:

- Как отдыхалось, Борис Иванович? Ночью не зябли?

- Прекрасно, Ирина Ильинична. Зяб: мясо ел. За заботу, за ласку спасибо.

- На здоровье,- со смехом парировала, а во взгляде нахальные чертики.

- Заработался, уезжаю.

С опущенными глазами отметил командировку и дернул на станцию, даже машины не попросил.

Комиссии приезжали и уезжали. В основном довольные – вниманием на заводе не обошли и справки нужные написали. Только председатель радовалась и не радовалась. Хорошо, что все позади. А вот из столовой звонили, цифру долга назвали. Не с чего радоваться. Так без зарплаты останешься.

- Что-то много вы насчитали,- возражала она.

- Нарзан брали?- спрашивали в серую трубку.

- Брали.

- Заливное? Борщ, бифштекс, кофе?

- Ладно, было,- соглашалась она и уже себе говорила: - А зарплата сто восемьдесят, а что детям принесешь?

По ночам испуганно думала, ломала голову. Наградил черт работой! Семью по миру пустишь. А если человек шесть придет, да на целую неделю?! С руками-ногами сожрут.

- Помощь надо выписывать,- посоветовала все знающая Сколоцкая.

- На кого выпишешь-то?- растерянно разводила руками.- Возьмут да нажалуются.

- Своих надо иметь, свою команду. Актив шире использовать, не только мы им, но и они нам должны помогать. Кому ковер, кому путевку в санаторий. Люди доброту помнят, доб-

ром отвечают, - между делом советовала Валентина Павловна. - Сколько надо?

- Около полусотни.

- Это детская мелочь. Выписку на одного напишем.

Встретила как-то знакомую упаковщицу, остановилась.

- Семья-то как?- полюбопытствовала.- А здоровье? В Кироводск поедешь?

- Век буду благодарна.

- Ладно. По старой дружбе найду. А ты нам помоги, напиши заявление на материальную помощь. Непредвиденные расходы получились.

Обе довольны. Принесла упаковщица деньги, а в кабинете посторонние. Крутилась-вертелась, глазами вызвала в коридор. Но и там люди. Как муравьи, туда-сюда шлѐндают. Изловчилась упаковщица, сунула в карман председательского платя. А тут, как назло, из прихожей директорская секретарша вынырнула, глянула любопытно и улыбнулась многозначительно и лукаво, мол, знакомы нам эти штучки – по углам шепчучки. Не рано ли взяточничеством занялась, Ирина Ильинична, спрашивали ее наглые глаза.

Будто раскаленный металл положили в ее карман. До костей прожигал. Аж лицо вспыхнуло стыдливым загаром, словно от близкого костра. Весь день полыхало. На людей смотреть стыдно, будто каждый знает ее проступок, каждый может показать пальцем.

Ночью, рассказывая мужу, плакала навзрыд от обиды и оскорбления.

- До сих пор рука как обожженная.

- Ну что ж не для себя ведь, а для общего блага коллектива, не взятка это,- глядя ее плечо, успокаивал он.

- Разве людям докажешь?- не соглашалась она.- Мне с ними работать, ежедневно встречаться, смотреть в глаза. Перевоспитывать жуликов, хулиганов, нарушителей всяких. А сама-то заслужила такое право?! Не заслужила. Сама сжульничала. Общественные деньги взяла, истратила на угощение

комиссии, подумают, подкупить хотела, чтобы все огрехи прикрыть.

Виктор все гладил ее, успокаивал. А у нее текли крупные горячие слезы, обжигали глаза и щеки. Полные горечи ее глаза не видели, как луна назойливо заглядывала в окно, будто хотела все вызнать и посмеяться над чужим горем, как от обиды, что ее не заметили, высветила на стеклах раскрашенную морозом белую паутину неживых цветов. И ушла подсматривать в соседние окна.

- Уйду!- с отчаянием заявляла Ирина Ильинична.- Вернусь в свой цех от греха подальше.

- Говорю, не переживай,- возмущался муж.- Месяцами ни праздников, ни выходных у тебя. Конь не выдержит, не только человек. За такую работу не сто восемьдесят надо платить, а полтыщи. Третий человек на заводе! Курам на смех. У нас слесаря больше получают. Из-за мелочи нервы тратишь.

## 5

Не зря говорят в народе – утро вечера мудренее. Длинная ночь захватила плачущую Ирину Ильиничну, повела в царство ломких теней. Вспомнила она один из первых своих дней в профкоме. В семь утра пришла тогда на работу. В конторе еще никого. В открытое окно неназойливо напирал осенний ветерок, обнимал легкой прохладой, и ей было хорошо после долгой и быстрой ходьбы ощущать его струи разгоряченным лицом и телом. Успокоенная непривычной тишиной, она углубилась в лежащие на столе бумаги, не слышала, как кто-то вошел.

- Можно?- не спросили, а будто выстрелили в ухо.

Он неожиданности Загудаева вздрогнула, долго рассматривала незнакомку, мысленно спрашивала: зачем в такой ранний час?

- Я – штамповщица из третьего цеха, Бухарева,- продолжая стоять, объясняла она. Лицо ее казалось каким-то неестественным, испуганным, и вся она казалась нервной, вытянутой от

напряжения, словно перетянутая струна. Чуть задень, порвется с протуженным скрежетом и нещадно ударит по пальцам, и Ирина Ильинична машинально спрятала руки под стол.- С мужем я разошлась. Хатенку лепили в пригороде, да недостроенной продали. А жить негде. Дочь у меня, и сама с почками мучаюсь...

Она отвела взгляд, замолчала, достала измятый бумажный пакет, непонимающе вертела его в руках.

- Ну и что?- прервала молчание Загудаева. Не нравился ей этот ранний визит.

- Пока жду квартиру,- начала та медленно, выискивая и подбирая слова,- дайте комнату в новой малосемейке...

- Как же дадим? Выделяем на цех, там своя очередь, сами они и решают.

- Мне не достанется, я – третья, а выделили две.

- Тут уж никто не поможет,- сочувствуя, бессильно развела руками Ирина Ильинична.

- Вы – председатель – все можете!- утробно выкрикнула женщина, и в ее глазах вспыхнул огонек мольбы и надежды.- Дайте мне или выделите на цех три комнаты, чтобы мне досталось...

- На ваш цех выделили две. У нас очередь тысяча человек. Я, конечно, сочувствую вам, но помо-очь...

- Ради Бога, поймите, вы ведь мать...

Ирина Ильинична, не выдержав ее умоляющего взгляда, опустила глаза. Почему-то вспомнила свое сиротское детство, скитания от матери к бабке, от бабки в детдом и обратно, и ей вдруг захотелось заплакать. Но, сжав зубы и пересилив себя, она уверенно подняла голову и встретила все то же испуганно-напряженное, умоляющее лицо. «Вы ведь ма-ать!- кричало оно всеми порами.- Вы ведь мать!»

- А таким же одиноким, да с двумя, да с тремя детьми, что прикажешь сказать?

Загудаева хотела крикнуть, но голос ее увял, получилось жалобно, тихо.

- Вы – председатель, все можете.

- Будем смотреть коллективно, а мой голос тут лишь один из двадцати одного. Документы в порядке?

Не в силах помочь, она пыталась успокоить Бухареву, будто слегка обнадежить и выпроводить побыстрее. В такие моменты на душе всегда тягостно.

- Уж, пожалуйста, посмотрите! – всем телом всплеснулась некрасивая и угловатая штамповщица, из руки в руку перекладывая пакет. Уходя, она сунула его под бумаги, сказала с надеждой:

- Извините, спасибо.

Ирина Ильинична некоторое время сидела в растерянности, пытаясь успокоиться, а потом вдруг вздрогнула от испуга, вспомнив про пакет. Машинально достала его и, ошеломленная, ахнула. Из помятого почтового конверта выглянула зеленая пачка пятидесятирублевков. Кровь отлила от ее лица. Ошарашенно вскочив, она бросилась за посетительницей, чуть не сбила ее в полутемном коридоре.

- Эт-то что такое!- вскрикнула председатель.

Та обернулась с искаженным от испуга лицом, невнятно забормотала:

- Это ничего-о, это вам пода-арок...

Она отказывалась брать назад, прятала за спину руки.

- Возьмите и убирайтесь, иначе вызову милицию!

Не найдя места, куда сунуть пакет, она схватила Бухареву за грудной вырез платья, опустила за лифчик и крупным шагом вернулась в профком.

- Вот то была взятка, и ты отказалась,- засыпая, успокаивала она себя.- А это какая взятка? Виктор, наверно, прав.

Утром ее вновь захватила, закрутила профсоюзная работа, будто мельничное колесо. Некогда было и вспомнить.

К обеду ее пригласил директор. Был он мрачен, каким она его видела редко. Синие галочки глаза его потемнели, длинный нос осунулся и казался еще длиннее. Толстостекляные очки сползли на нос, словно хотели спрыгнуть. Он как-то сгорбился



весь и обмяк, походил на подбитого ворона. Она догадалась: у него неприятности, и ей впервые за все время председательства стало жаль Мазанова. Она знала, что он человек жесткий, грубый, придирчивый. На планерках от него плакали, в том числе и она. Но знала, что у него погиб в аварии сын, и он жестоко переживал много лет, что он толковый специалист и к нему с уважением относились в министерстве, что в течение нескольких лет завод правдами и неправдами выполнял план и получал премии.

И вот теперь директор сидел задумчивым, мрачным, словно попал в западню. Молчал, глядя поверх беспорядочно раскиданных по столу бумаг. Казался намного старше своих лет. И она не выдержала этого гнетущего молчания, спросила слегка заискивающим голосом:

- Слушаю, Виктор Иванович.

Он еще посидел минуту, потом встрепенулся устало, как старый мерин перед запряжкой, заговорил.

- У поставщиков авария на заводе, и мы остались без дефицитных деталей. Звонил министру, но он бессилён. Есть завод на Урале, но относится к другой отрасли. Детали подобные, даже лучше. Вот их список.- Она пробежала глазами бумажку, а он продолжал:- Министерство сделает все, чтобы договориться, но лететь на Урал с дипломатической миссией надо, ибо в верхах договор – хорошо, а на месте надежней.

Он достал пачку «Опала», губами вытащил сигарету, чиркнул импортной зажигалкой, затянулся, выпустил несколько колец дыма, которые на глазах редели и росли.

- Вы можете отказаться, Ирина Ильинична, ведь формально вы приняты на работу в отраслевом обкоме. Но мы делаем одно дело. И у вас профкомовские возможности.

- Я не отказываюсь,- перебила она с обидой.- Я вылетаю ближайшим рейсом.

- Спасибо, так я и ожидал. Предложите им отдых на нашем Юге.

На минуту заехав домой и собрав необходимое, она помчалась на аэродром, то и дело поглядывая на небо, которое казалось ей сплошным белым мешком, перехваченным где-то с той стороны крепкой завязкой. Посматривала на золотые часики, крепко прилипшие к ее пухлой руке, верстовые столбы, прикидывала, сколько километров еще осталось. Потом был неумолимо-стремительный самолет, посадка за много километров от города и все в обратном порядке.

Был поздний вечер, и ночевать ей пришлось в кресле напротив окошка гостиничного администратора. Утром, пока добивалась пропуска на завод, потеряла полдня. Злилась на крепкий уральский мороз и высокие сугробы снега, который грузили в машины рыбочие в коричневых жилетах, надетых поверх фуфаяк. Директора уже не застала и совсем приуныла. Но главный инженер, мужчина пожилой, интеллигентный, принял вежливо, усадил на стул, заговорил бархатным, ненадоедливым голосом. Наверно, женщинам он нравился, почему-то подумала Загудаева, а он говорил и говорил.

- О вашей нужде и о вашем приезде мы знаем. Звонили из министерства. И рады бы вам помочь, но свои предприятия задыхаются без нашей продукции. Дайте-ка список. Ой-ой-ой! Только в сказках такое.

- Да ведь план у нас горит!- взмолилась она, просительно заглядывая в карие глаза главного инженера.

- Милая девушка, а у кого он сейчас не горит, вы можете мне сказать? Все мы горим ярким пламенем, а почему? Разве это никого не пугает? Или кому-то выгодно? Из-за маленького болтика, ременного привода, которые вдруг стали страшным дефицитом, срывается государственное задание, страдает многотысячный коллектив.

Он вдруг глянул на нее и замолчал. Потом вновь продолжал:

- Конечно, всего этого и в таких количествах мы вам не найдем. Но, возможно, чем-то поможем. Пройдите в отдел сбыта к Майдану.

Эту фамилию Ирина Ильинична где-то слышала. Да мало ли таких фамилий по белу свету. Поблагодарив главного инженера и почти не надеясь, она пошла искать отдел сбыта, повторяя про себя: «отфутболил интеллигент». Посмотрев по указателю, поднялась на третий этаж, постучала в массивные двери, вошла. За полированным столом сидел бородатый мужчина лет тридцати двух и в захлеб, словно боялся, что его не дослушают, кричал в телефонную трубку:

- Нет у меня других приборов и реле нет, которые микро, и усилителей этой марки нет. Возьми другой, не кочевряжься, тоже план горит, выручай, Вася, в накладе не останусь! Осциллографы? Для тебя найду... Слава богу,- положив трубку, сказал он успокоенно и, вынув из грудного кармана зеленый платок, вытер пот с широкого морщинистого лба.

Голос Майдана ей показался знакомым, и она вспоминала, где могла его слышать? А тот, убирая в карман платок, вдруг заметил ее.

- Вам чего?- спросил с любопытством, думая, что при ней разговаривал с Васей и едва ли подбирая слова, крыл теми, что попадались на язык.

- Я из города Рябинина. С электромеханического завода. Поставка запчастей нас подводит, а у вас, слышали, есть все, как в Греции. Главный инженер к вам послал.

- Из Рябинина?- удивился он, поднимаясь.- Да я сам из тех мест. Вы случайно не Ира Круглова?

- А вы не Валера Майдан? Не наш, детдомовский?

- Конечно, Валера, чертова поясница!- у него и тогда это выражение было любимым.

Они бросились навстречу друг другу, радостно обнялись, сели рядом на стулья. И потекли воспоминания далеких детдомовских дней, краше которых теперь, казалось, и не было.

- А помнишь, как ты ухаживал за мной и подарил на Первое Мая цветы?

- А как целовались в десятом на выпускном, не забыла?

- Не помню. Сам ты лез.

Он откровенно засмеялся и она тоже. Они оба захохотали по-детски бесхитростно, радостно.

- А что потом, после детдома?

- Завод. Заочный институт. Замужество, дети, заботы, работа.

- Значит, замужем? А я все холостякую. Как-то не складывается, не найду по душе. Сам не знаю, чего хочу. Скорее – никого уж и не ищу. Устроилась-то где? В общем, нигде. И не пытайся. Пойдем ко мне. А не понравится, я договорюсь с гостиницей.

Потом он придиричиво рассматривал ее бумаги, беззвучно шевелил сухими губами, чесал затылок. Иногда говорил: «Ишь ты, чего захотела! Я Васе в релюшках-то отказал, а ей вынь да положи. Ну ладно, сотню найду...»

- И мы в долгу не останемся. Вы ведь на Кавказе любите отдыхать, в горах. Можем помочь в этом. Да и санаторий-профилакторий у нас свой, радоновая вода не хуже мацестинской. И на Черном море у нас своя база отдыха.

- А вот это уже содержательный разговор, чего ж ты молчала?

- Поэтому и послали не снабженца, а председателя профкома,- откровенно призналась она.

Валерий Аркадьевич Майдан действительно оказался хорошим другом детства. Он посильно помог Ирине Ильиничне. Вечером они поехали к нему. Поднялись на пятый этаж. Она с любопытством осматривала его холостяцкую однокомнатную квартиру, где тут и там беспорядочно валялись журналы, рубашки, галстуки.

- Ты уж прости за беспорядок, все времени не хватает, марафет навожу по субботам,- виновато попросил он, включая магнитофон.- Пожалуйста, посиди, послушай записи, я сварганю на стол.

Валерий ушел на кухню, а она принялась за уборку. Повесила в шифоньер рубашки, галстуки, собрала и положила в

шкаф журналы, газеты. Вытерла с мебели пыль, протерла подоконник, паркет.

- А ты - хозяй-айка!- воскликнул Майдан, ставя на стол тарелки.- Лучше новой комната стала. Муж твой, наверное, счастлив.

От его душевных слов Ирина Ильинична растрогалась, засмушалась, подумала, что действительно могла быть хорошей хозяйкой, женой, матерью, да, видать, не судьба.

- Он самый несчастный,- с грустинкой в голосе заявила она.

Ели подогретые столовские котлеты, пили сухое вино и умело заваренный чай с печеньем. Вместе мыли посуду. Потом, включив торшер, сидели у телевизора, но почти не смотрели. Он спрашивал ее о Рябинине, о жизни, семье, и она рассказывала весь вечер.

Было далеко за полночь, когда начали укладываться спать. Ей он постелил на софе. Сам устроился в кресле, положив ноги на табуретку.

- Тебе неудобно, по сегодняшней ночи знаю?- в темноте подала она голос.- Устраивайся со мной валетом.

И он прилег головой к ее ногам, но долго не мог заснуть. Ворочался с боку на бок, вздыхал, чувствовал, и она не спала, дышала прерывисто, напряженно. И его вдруг потянуло лечь головою к ней, но он испугался чего-то непоправимого, способного оскорбить их давнишнюю дружбу.

На Ирину Ильиничну же накатило воспоминание о тех далеких и дорогих годах. Они вставали в памяти, как в тумане, словно пришли из сна, и вечер этот ей тоже казался сном. И она прошептала:

- Ложись вот сюда...

С тревожным и радостным чувством Ирина Ильинична возвратилась домой. Вскоре обком профсоюза вызвал ее на месячные курсы. Она регулярно посещала лекции, где все было ей интересно, хотела во всем разобраться и все понять. Пони-

мала: тяжело в учении – легко в бою. И преподаватели с уважением говорили Жариловой:

- Толковая женщина. Очень активна на семинарах. Прирожденный профорг и лидер.

- На самом крупном заводе!- радостно добавляла Дарья Ивановна.- Большие надежды на нее возлагаем.

К 1 Мая из министерства пришла телеграмма. «Рябининский электромеханический завод Мазанову Алексею Загудавой Поздравляю коллектив вторым местом республиканском соцсоревновании итогам первого квартала Желаю творческих успехов крепкого здоровья личного счастья Поздняков».

С докладом на торжественном собрании поручили выступить Ирине Ильиничне. Забыв про все неприятности, она тщательно готовилась. Хотелось сделать его деловым, сжатым, красивым, чтобы не было казенщины, чтобы распахнулась душа у каждого и всяк понял, как велик человек трудом своим, как силен, когда солидарен с такими же вот людьми.

Об этом и говорила, вспомнила расстрелянных чикагских рабочих 1886 года, в память о которых появился Первомайский праздник солидарности рабочих и трудящихся всего мира. Благодарил за труд. Жала руки, когда награждали победителей.

А на другой день тысячи две-три заводских зашагали под звуки духового оркестра в колонне праздничной демонстрации. Впереди всех стройно шли Мазанов, Алексеев и она, председатель профкома. В строгом темно-синем костюме с живою гвоздикой на груди, с букетом цветов из заводской оранжереи. С трибун им махали городское начальство, почетные гости, ветераны, и сердце Ирины Ильиничны наполнилось радостью и добротой. Хотелось всех обнимать и смеяться от счастья.

- Вон он, труд-то, какой! И силища в нем. А если все бы вот так, во всем мире!- шептала она восхищенно.

Она шла и шла, не замечая взмахов букетов, громких приветствий с обочины. И ей хотелось лишь одного – шагать и шагать вперед без остановки и перерывов, словно там, впер-

ди, что-то ждало ее необыкновенно дорогое. Притягивающее и волнующее, словно там было то, что является смыслом всей жизни.

## 6

Смысл жизни! Высокие слова. Нет человека на земле, которого бы не интересовал этот вопрос и который бы на него мог дать точный ответ. Каждый понимает по-своему. Поэтому у каждого, наверно, и свой смысл жизни.

Валентина Павловна Сколоцкая видела его в благополучии семьи и семейном счастье. В юности она ничем особым не отличалась от своих сверстниц. Школу окончила не лучше и не хуже других. «Проскользнула», как она любила говорить, конкурс в энерготехникум. Отличницей не была, но и «хвостов» не копила. Участвовала в художественной самодеятельности, играла за сборную техникума в волейбол, была острой на язык и избиралась профоргом курса. На собраниях не отсиживалась, если следовало кого-нибудь пропесочить, в кустах не пряталась, а брала слово и в выражениях не стеснялась, «вворачивала шурупы».

Все это помогало ей считаться активисткой, регулярно получать стипендию, а при распределении не только остаться в родном городе, но и попасть на старейший и лучший завод. Начальник отдела кадров Клопов, старый вояка, прошедший не одну войну, был нудным и вьедливым стариканом. С детства он слыл совким, любил соваться туда, куда вовсе не следовало. Возможно, поэтому в Гражданскую войну его приговаривали к расстрелу то белые, то красные, то зеленые. Человек отчаянный, он каким-то неизвестным путем избегал расправы, в Отечественную войну дослужился до капитана, получил два ордена и с полдюжины медалей. С годами болезни пообтесали его прыткость, но беспокойный, вьедливый характер, непримиримый взгляд, как приложение юности, как награда, остались с ним навсегда. По-прежнему он заседал в десятке всевозмож-

ных комиссий, где боролись за сохранность социалистической собственности и правопорядка, наставляли и воспитывали, не дреманно охраняли памятники культуры, природу, утопающих на водах буйной в половодья Рябинки, агитируя поголовно каждого стать активным членом если не всех сразу, то хотя бы того или иного общества.

Седым лунем восседая в своем маленьком, два на три, кабинетике, он сначала внимательно просматривал документы поступающих, потом устремлял зоркий соколиный взгляд в глаза посетителя и «наводил» вопросами:

- Семейное?  
- Женат. Трое детей.  
- Видишь, трое, а ты летаешь с места на место, как кукушка. В вечернюю школу ходишь?

- В моем-то возрасте?- удивлялся лысеющий от лет человек.

- Учиться никогда не поздно. Значит, водку пьешь.  
- Какая водка, язвенник я!- хватался мужик за желудок.  
- Значит, раньше пил, смолоду развращен.

В конце концов, он принимал на работу, но не каждый выдерживал до такого конца. Другой, недовольно сгребя документы, зло бросал на ходу:

- Пошел ты, старый пенек.  
- Распоясались тут, кадровой политики не понимаете. Я вас быстро прищучу...

С Валентиной получилось иначе. Николай Николаевич и глазом моргнуть не успел.

- Вот диплом,- синицей завертелась и затараторила она, одну за другой подавая хрустящие, словно новые рублевки, бумаги.- Направление, характеристика, комсомольский билет, удостоверение донора, спортсмена, дружинника, общества «Красного креста», ДСО.

- Довольно, дочка, довольно!- испуганно растопырил он пальцы.- Слава богу, не перевелись активистки. М-да-а... В



электроцехе людей не хватает. Мастером направляю.

Давно упорхнула недавнишня студентка, а он сидел, разволнованный, удивленный. Радость и смятение втиснулись в его остывающую душу, и шевельнулось в ней что-то, давно потерянное и забытое.

- Стареешь, Колька, стареешь. Как с панталыку сбила! Далеко, веснушка, пойдет,- не то с завистью, не то с сожалением вымолвил кадровик.

А ее взяли в цех. Почти мастером, хотя какой в юбке мастер, смеялись монтеры, на опору не загонишь? Она не сердилась.

- Ты пока привыкай,- сказал пожилой, болезненный на вид начальник,- читай схемы, изучай обстановку.

Валентина привыкала. Получала на складе материалы, выдавала инструмент и спецовку, выпускала стенную газету. Здесь же встретила Федю Сколоцкого, невысокого, плотного и чернявого сварщика.

- Тебя красят веснушки,- сказал он между делом, получая электроды и озорно сверкнув серыми, как вечерний туман, глазами.

- А тебя зимушки,- лукаво глянула она, расплываясь широким лицом в улыбке, и в его глазах зарябило, словно «зайчиков» нахватался.

Через полгода сыграли свадьбу. Она так и не стала настоящим мастером. Назначили однажды ее руководителем работ: ремонтировали линию освещения. Забыла заземлить фидер, чуть людей не пожгла. В другой раз сама под напряжение попала, не отключила «пакетник». Хорошо, ребята рядом оказались. Так и занималась снабжением, цехком взвалила на свои плечи, премии распределяла, разбирала прогульщиков, больных проводывала, сама в декрет уходила. Вновь возвращалась, с новыми силами бралась за дела. После смены спешила домой, бегала по магазинам, готовила ужин, обстирывала мужа с детьми. Так работала и жила. А когда из цеха попросили кан-

дидата в члены профкома, начальник, не задумываясь, назвал ее имя.

Как боевая и языкая она возглавила жилищно-бытовую комиссию. Ходила обследовать жилье, лаялась с недовольными и рвачами, кого-то ставила на учет, кого-то снимала, и ее вдруг начали уважать, встречали почтительно, на чай приглашали. Заметило и начальство. На очередной конференции заместителем председателя избрали. Вторая рука в профкоме. Больше председателей знала. Да и откуда им знать, чуть не каждый год менялись? У нее все учились. И посетители больше всё к ней обращались. Авторитет. Четверых председателей пережила. Ей бы и возглавить, да будто затмение нашло на начальство. Словно не видит, что она делами вершит. Слушает людскую болтовню. А ведь она любит работу, любит своего Федю, лучшего сварщика на заводе, порой ревнивого и сердитого, но бесхитростного и честного, как молодой бог.

Принесут к нему заварить деталь – почти краску не сожжет, шов наложит культурный, крепкий. Может, и сломается она, но только в ином месте. Поэтому к пятидесятилетию страны наградили его медалью, а к праздникам отмечали премиями. Он обязательно ходил на торжественные собрания, регулярно получал свои заслуженные тридцать рублей премии, покупал в буфете коробку конфет, приносил домой.

- Это ребятишкам,- с гордостью говорил он, заходя в квартиру, хотя в такие дни Валентина Павловна была на собрании, объявляла состав президиума, читала проект постановления. Голос у нее был крепким и звонким. И вообще в этих делах она порядочно набила язык, могла читать с притаенным или наоборот с непритаенным дыханием, но от души, как это делают областные поэты, понимая, что важность ее выступления – это важность почетная и государственная, что ей доверили великое дело.

Придя домой, она заходила в ванную, снимала пропахшее потом платье, тихо, не гремя крышкой, клала его в стиральную

машину, тревожно обходила квартиру – спят ли ребяташки, любимый Федя пришел ли? Он всегда приходил. Может, утром и скажет, что задержалась, но без злости и для порядка. Понимал: работа не мед. И она его понимала.

- В этом месяце триста рублей получил. Давай Наташке шубёнку купим.

- Давай,- соглашалась она.- А потом Игорьку сапоги.

Федя переживал, и она знала об этом. Надо бы и ей больше болеть за детей, но есть Федя, святой человек. И любила она его откровенные серые глаза, высокий чуб, что придавал ему росту, любила, когда он ревниво произносил:

- Опять задержалась, а с кем?

Потом запускал надежную, в мозолях, руку за воротник и почесывал ее гладкую, сытую спину. Неповторимый для нее момент. Нравилось ей, что работа у нее нервная и крикливая. Не каждый выдержит.

Валентина Павловна выдерживала, казачка, спина только от нервов чесалась. Но она бодрa и весела, пошутить любила, в тесной компании посидеть перед выходным, анекдот рассказать веселый, людей посмешить и самой посмеяться. Поэтому и не сломалась, четверых председателей пережила. Вот что значит активность! Отметили в ней эту черту в цехе, выдвинули выше. Поэтому их не забывала. Могла – начальнику давала путевку в Сочи, любыми путями вымаливала. Электрикам – в профилакторий. Пусть отдыхают трудяги, государство о них заботится.

А смысл жизни у нее в детях, в семье. Зарплата, премии – все на них. Вот и рыскала по магазинам, столовым. Раиса Степановна, заведующая, понимала, конфет хороших предлагала – пойдика найди в магазинах! Валентина Павловна заворачивала и на кухню, где пирог перепадал, где ватрушки. С полной сумкой домой заявлялась.

Сама тоже отвечала добром: в поездку на море автобус выбивала и в горы посылала, если просили. Знала: питание

– первый цех на производстве. Уважать надо первых.

Ирина Ильинична тоже первая. Поначалу с подозрением глядела на нее: как поведет себя, что выкинет? Нет, хоть работу и не знала, относилась солидно. Заваливала какой-нибудь вопрос Валентина Павловна – Алексеев бушевал, ругал профком, а Загудаева говорила:

- Я виновата, недосмотрела. Опыта не хватило. Больше не повторится.

И не повторится, словно ножом отрезала. На ошибках училась Ирина Ильинична. Зазорного в том не видела. Порой Вершинину звонила, мол, не знаю, как выйти из положения, подскажите. Ворчал тот, но был тронут, что понадобился его опыт, что необходимо помочь. Подсказывал. Но больше всего на своих, профкомовских, опиралась. Валентина Павловна знала, а бухгалтер, Мария Ивановна Васько, и того больше. Закон не нарушала и вовремя подсказывала, мол, заводская бухгалтерия деньги не перечислила, надо с главбухом переговорить, иначе пионерлагерь без средств останется, а там сто шестьдесят наших советских ребятишек, кормить их надо и возить на экскурсии, за путевки-то копейки берутся.

А сама Мария Ивановна скупа, как нищенская сума – только в нее, не обратно. Придут директора спортзала, стадиона, тира, умоляют: на спортивную форму надо к спартакиаде, на инвентарь. Появится директор клуба – та же песня, костюмы надо новые шить, а в хоре десятки человек, баяны, другой инструмент купить.

- На вас, как на цыганский табор, не напасешься. Беречь надо!- отрезала она и делала вид, что разговор бесполезен.

Ирина Ильинична вызывала ее, ругала, совала под нос постановление, обещала уволить. Но Мария Ивановна была неприступна, как филин, стояла, моргала невидящими желтыми глазами. Тогда Загудаева брала банковский документ, ставила размашистую подпись за себя и бухгалтера, словно бросала моток спутавшейся проволоки.

Рисковала она, нарушала закон, да ведь не себе в карман. Как откажешь культуре и спорту? За это и полюбили ее, за участие, смелость. Не каждого любят в профкоме. Придут в гости, гостинцев принесут, добрые слова говорят – не всякий заслужил. А Ирина Ильинична заслужила поведением на работе и в быту. И муж у нее видный. Желену любил. Все слово придумывал высокое, каким бы ее назвать, да немного слов в запасе заводского слесаря, и грамотешка – одно название. Его слово в руках – умелых, мозолистых, неуёмных, в верном глазе, рабочей сметке. А разговор весь в цеховых показателях и нарядах. Само собой – и в зарплате: больше Ирины Ильиничны заколачивал. И с гордостью отдавал, мол, тоже не лыком шиты. Но заметила она: восторга того не стало, как раньше. Может, от ревности к ее заводской высоте, от внутренней какой-то своей обиды?

Но некогда было особо присматриваться. Не только работа, семья еще у нее. Детям постирать, обед сготовить, в комнатах убрать. Свекровь уже старая, не справлялась. И совестно как-то. Дом до конца не достроен, сколько еще мороки. И не жалела себя Ирина Ильинична, ломовой лошадей тянула свой воз, в который пару, а то и тройку нужно впрягать. Тянула безропотно и бездумно: раз надо, то надо, хуже не будет. Жизнь-то такая длиннющая!

## 7

Так шли день за днем, год за годом. Со временем Загудева узнала многое в профсоюзной работе. Не страшили ее ни соцсоревнование, ни учеба актива в цехах, ни распределение путевок, ни вызовы в исполком по всяким непредвиденным и кляузным вопросам, ни даже грозные комиссии. Что ей комиссии, когда о делах на заводе знает вся область, когда по почину рябининцев работала половина предприятий, когда Ирина Ильинична член президиума облсовпрофа, и сам его председатель, подслеповатый старичок, при каждой встрече почти-

тельно жал ей руку? Даже отчетно-выборные конференции не страшны, которые проводила она с блеском, тщательно к ним готовясь. А там рабочие, не цацкаются в острые и критические моменты, все выложат, даже сверх положенного. Успокаивала и их. Было в ее взгляде что-то доверчивое, честное, чему нельзя не поверить.

- К поступкам моим не придраться, как к гимну!- говаривала она иногда мужу в минуты редкого, но радостного откровения, когда хотелось снять груз с изболевшей души, хотелось сочувствия, понимания.

Ирина Ильинична раздобрела, могучие груди так и выпирали из-под тесного платья. Упругие бедра, казалось, вот-вот разорвут сдерживающую их движения крепкую ткань. Она как-то огрузла всем телом. Ноги выгнулись коромыслами, как у старого кавалериста, что было особенно заметно, когда надевала с широкими, как у ботфортов, голенищами зимние сапоги, видать, им тяжело было носить эту отъевшуюся гренадерскую фигуру. Наметился и начал отвисать подбородок. Но на лице еще ни морщинки, ни тени. Оно было зеркально-гладким, словно его шлифовали каждую субботу, и это придавало ей возрастную величавость и самоуверенность. Она это знала и старалась держаться изысканно и гордо, как княжна, на все иметь свое непреклонное мнение. Но в ее движениях, дорогих одеждах нередко проскальзывала безвкусица, что говорило о деревенском прошлом, о курятнике и базке для поросенка, в которых ей приходилось возиться многие годы.

Может, поэтому Ирину Ильиничну не пугали любые работы. Как-то был неурожайный год. Судили-рядили на заседании исполкома, как город снабдить картофелем?

- Разнарядка в овощеторге есть,- сказал председатель исполкома Пуделя, человек с лысеющей головой, но красивый и энергичный.- Придется посылать в колхозы людей. Пусть помогают в уборке и завозят на предприятия картофель.

Послал завод тридцать человек в Заозерный район, назначил бригадира, но тот через два дня сбежал. Назначил второго, и тот не выдержал.

- Поезжайте, Ирина Ильинична, разберитесь во всем,- попросил директор.

Надела спортивный костюм, взяла два грузовика. Почти до обеда тряслись по кочкам до картофельного поля. Вышли у раскинутых в тени деревьев брезентовых палаток. Никого. Только повариха возилась с котлами.

- Где народ?

- В палатках.

- Почему не на поле?

- Дождик был. Сыро. Разве после обеда. Наро-од, поднимайтесь обедать!- шумнула молоденькая прыщавая повариха, постучав черпаком по котлу.- Начальство приехало.

Нехотя вылезали из палаток ребята, девочки. Нечесанные, с заспанными помятыми лицами, кто босиком, кто в сапогах. Смотрели недовольно. Подходили и садились за длинный обеденный стол. Ждали накачку.

- Все собрались?- начала она.- Что ж это получается? Коллектив доверил вам ответственное дело, завод платит средний, а вы тут прохлаждаетесь.

- Грязища вон какая, с харчами плохо...

- На выходные не отпускают.

- В кино не сходишь,- начали неохотно, но потом разошлись.

- Вы посланы на две недели и уже заплакали? Так дело не пойдет. Почему бегут бригадиры?

- Кто их знает. Себе мешки набьют и сматываются. А мы тут корячься, паши.

- Вижу, как пашете. Носом подушку. Саша, Карандин, почему не вышли сегодня?

Поднялся главный, пристально посмотрел, заговорил неохотно:

- Понимаете, Ирина Ильинична, ночью дождь был, поле сырое. И вообще люди плохо настроены. Питание не очень, колхоз не дает того, чего обещал. Поедем в пекарню – машина ломается. Деньги кончились, все к одному.

И понеслись жалобы, понеслись. Уже говорили не просто для информации, а с какой-то злой напористостью, личной обидой, будто во всем виновата она.

- Ладно!- перебила она.- Будут вам деньги, будет и машина. А теперь за обед и в поле.

Выехали на заводских грузовиках. Ирина Ильинична глянула на землю – дождя как не бывало. Поднятые картофелеуборочником клубни уже лежали наверху, другие выглядывали тупыми мордами из-под рыхлой земли, подмигивали глазками, словно хотели крикнуть, чтоб выбирали и их. Заводские, разобрав ведра, рассыпались по полю и пошли. Впереди всех Ирина Ильинична. Закатав по локоть рукава, она всей пятерней разгребала землю, умело выискивала клубни, кидала в ведро. И загремели еще пустые металлические кузова следом идущих автомобилей. Но ведра все плыли и плыли им навстречу.

- Давай, ребята, давай!

- Пашка, черт, не сачкуй!- весело понеслось.- Залазь в кузов на помощь.

И Загудаева, как неумолимая машина, все шла и шла вперед. Словно знамя, полоскался на ветру ее красный спортивный костюм, призывал за собой. И все спешили за ней с увлечением и азартом, будто ее энергия передавалась и им. Да и не каждый день председатель профкома показывает пример труда.

Незаметно накидали два грузовика, стали собирать картофель в кучи, которые конусными буграми разбегались по полю. Но наступал вечер. Солнце, уставшее за день, садилось за далеким желтым холмом. Повеяло сыростью и прохладой. Подняли головы. Осмотрелись



– большое поле убрали. И радостно стало: зря боялись.  
- Вот это я понимаю – председатель профкома!  
- Бывало, бригадиры руки в брюки, а эта сама, впереди, как Чапаев.

Когда она подошла ко всей группе, они замолчали. Только выступил вперед Карандин, смущенно заговорил:

- Спасибо, Ирина Ильинична. Теперь мы знаем – работать можно. Не подведем.

К табору возвращались с песнями. А когда она влезла в кабину грузовика, ребята дружно вышли ее проводить, вслед махали руками.

Нет, работой Ирину Ильиничну не напугаешь. Давно пугать ее стало другое – муж. Нет-нет, да и придет пьяным. Хоть бы молча, а то начинает привязываться, пытаться, где была, чего задержалась? Обидно от этих слов. И постепенно, невидимой тенью, залегла между ними легкая неприязнь. Она то разгоралась, то утихала, но никогда не гасла совсем. Всегда напоминала, что в жизни не все так безоблачно и светло, как кажется поначалу. И приходили грустные мысли. И вспоминалось детство, безрадостное, бесхлебное, безотцовское. В такие минуты на глаза Ирины Ильиничны наворачивались слезы, и она старалась думать о работе.

Недавно с ней говорил Алексеев:

- Что-то ты все пораньше с заседаний рвешься.

- Как не рваться, с утра до ночи на работе? А семья? А идти такую даль да через лес! Вам хорошо – рядом живете. Давайте квартиру.

- Дом ведь у вас свой.

- У вас! Это строили мы, а хозяйка – свекровь.

- Да-а? Тогда надо подумать, как раз жилье скоро будем сдавать.

Он медленно заходил по кабинету, потягивая папиросу, свободной рукой помахивая только что снятыми очками.

- Поговорю с директором, с городскими властями. Напи-

шем на них ходатайство, на областной профсоюз. Пусть помогает своим кадрам.

Бывает так в жизни: не ждешь, а тебя судьба вдруг возьмет и осчастливит щедрой рукой. Нежданно-негаданно для Загудаевых закрутилась квартирная машина. Да так лихо, с такой скоростью набирая обороты, что не успевали следить за событиями.

И вот распределение нового дома. На втором этаже трехкомнатная красавица современной планировки. Пошли с Виктором смотреть. Увидели огромные коридоры, двойную лоджию, большую кухню, ванную, и дрогнуло сердце. Любими путями надо получить, сказала себе Загудаева, не все только чужим давать. А разве не заработала за столько лет? С лихвой заслужила. Мало ли – свой дом? Свекрови он, а не наш. Документы докажут. Таким и на заседании профкома был разговор. Кроме людей Ирины Ильиничны, а такие всегда водятся при большом начальстве, за нее вступился директор.

- Каждый день у Ирины Ильиничны совещания, заседания допоздна, всякие мероприятия. Возвращается пешком через лес. Автобусы туда не ходят. Для пользы коллектива и производства необходимо дать. Таково мнение мое и администрации.

Хорошо, что каждый имеет свое мнение. Когда имеет его директор, у некоторых свое мнение почему-то исчезает. Может, оно и к лучшему. Проголосовали чуть ли не единодушно. Бумаги проскочили жилищно-бытовую комиссию исполкома и сам исполком. И вот он нежданный-негаданный ордер! Вот оно, современное чудо, из-за которого люди работают, ждут, ругаются, плачут, друзья становятся на всю жизнь врагами, враги – вдруг друзьями.

Все это прекрасно знала Ирина Ильинична. Знала, что в очереди на квартиры стоит около тысячи человек, что ждать надо лет десять. Ей просто повезло, почему она должна отказываться, разве не заслужила своими делами, когда тянула воз за

троих? Разве муж ее не ходит в передовиках, а дети хуже, чем у других? А что дом они построили и записали на мать, так это просто надо быть дальновидными.

## 8

Виктор Загудаев с детства слыл упорным и деловым. Отец его был таким разгуляй-ветром, что трудно передать. Больше месяца нигде не работал, мотался с места на место, пропадал надолго, и семья сидела без денег и хлеба. Не было их и тогда, когда хозяин возвращался, частенько в изодранной, с чужого плеча, одежонке. Не надеясь на мужа, Екатерина Дмитриевна, чтобы прокормить дочь Ленку и сына Витьку, с утра до ночи работала на колхозном поле в пригороде Рябинина.

Невзлюбив отца за его мытарства, Витька наоборот целыми днями сидел дома. Полосил траву в огороде, чинил лопаты, вилы, грабли, вязал веники. Косить научился рано: еще литовочный держак был выше его. Но особенно он любил возиться со всякими железяками, самокатами, велосипедами, любил разбирать, собирать их. Нравилось, когда руки пахли солидом, как у тракториста дяди Паши Сучкова, их соседа, мастера на все руки. Не получалось что-нибудь у Витьки, пыхтел, пыхтел, чуть не плакал. Через забор глядел сосед, спрашивал с интересом:

- Чего там у тебя?

- Да во-от...

- Э-э, мастер-ломастер, контрогайку-то подтяни, и перекося не будет.

Правда, спохватывался Витька. Как сам не мог догадаться? Отец его умер после войны, и Витька пошел в ремесленное училище. Через два года стал слесарем, получил направление на завод. С тех пор работал в ремонтном цехе. Бригада попала хорошая, относилась к нему по-отечески. Старые слесари учили, как правильно заточить сверло на каждый металл, как работать электродрелью, рихтовать валы и многому еще.

Он был понятливым учеником, вникал во все мелочи, учился читать схемы, а через несколько лет, после армии, мастер Никитич рекомендовал его в бригадиры. И не ошибся бывалый ремонтник: хорошим спецом стал Загудаев, не боялся браться за любую работу. Быстро в гору пошел.

А тут встретила и Ирина. Глаза голубые, а обожгла взглядом. Драгоценным горящим камушком запал этот взгляд в его душу и горел там, горел, не давал покоя. Зачастил Витька к дальним родственникам в соседний хуторок, то плетень подправит, то половицу гнилую заменит – в доме не было мужиков. Заметила бабушка его старания. И Ирина заметила. Руки мастеровые. А он уж и в клуб приглашает. Согласилась. Пошли в кино, на танцы остались. Назад возвращались – пиджак накинул на плечи: несло туманом с реки. Под руку взял, но лишнего не допускал. Постояли у калитки, двумя-тремя словами перекинулись, но больше молчали, не приходили как-то слова, будто забылись все. Домой шел – сердце пело. Понравилась. Скромная, красивая, лучше и желать стыдно.

Так вот и началось. Походили они лето, потанцевали. Дело уже к свадьбе шло. Возвращались однажды вдоль беспокойной Рябинки, присели в луговую копну. Целовались.

- Скажи, у тебя был кто-нибудь до меня?- спросил он вдруг, внимательно разглядывая ее лицо сквозь лунный свет.

- Как был?- встrepенулась она.

- Ну-у, парень там или...

Он замялся, щеки от стыда загорелись, но было поздно. Она мгновенно заговорила с обидой.

- Да, был. Валера Майдан. Мы дружили с ним в детдоме. Я ведь длинная, на голову выше своих сверстников была. Мне завидовали, но и не любили за это. Ни девчонки и ни мальчишки. Норовили обидеть и ущемить. Мстили почему-то за рост, за отличную учебу, за все, а он был другим и всегда заступался.

- И как далеко зашла ваша дружба? Скажи, ты девушка? Для меня это вопрос чести.

- А-а,- протянула она.- Зашло далеко. Валера поцеловал меня на выпускном вечере.

- Не в-верю,- ревниво проговорил он, и она крикнула вызывающе:

- А ты проверь, коль не веришь! Ну, чего ты?

Луна качалась и гасла в ее глазах. Потом Ира плакала на весь луг и била его со всей силы по лицу, шее, спине. Он, увертывая голову, мычал, как теленок, старался перецеловать все тело до самых пяток.

На другой день она не стала с ним разговаривать, показала рукой на калитку. Это повторилось еще несколько раз. Он был в отчаянии, умолял.

- На руках носить стану...

- Посмотри. И если хоть раз обидишь – не гневайся.

На всю жизнь он запомнил свою мольбу. И чем больше жил с ней, тем больше этим раздражался, особенно в минуты обиды, хотя любил Ирину, казалось, не меньше, чем в прошлые годы. А годы были нелегкие. Ира уезжала на сессии, и он оставался с детьми. Дочь была совсем крошкой, плакала по ночам. Он клал ее рядом с собой, баюкал всю ночь, а утром спешил на работу.

Потом этот её профсоюз. Невзлюбил он его – отнимал у него жену, приносил столько ревности и сомнений. И совсем не нужны ему просторная квартира и сад-огород, полученный вслед за ней. Ковырялся бы он лучше в своем доме, в своем родном огороде, и она б была рядом, ни собраний, ни заседаний, ни полуночных возвращений домой. Спокойно б было на душе.

И порой не выдерживала, волком взывала она. И он мучился, не находил покоя. Куда-то тянуло его, куда и что - он не знал. Что-то мешало жить, тревожило сердце, словно вбили в него большой ржавый гвоздь. Он буравил его и обжигал все вокруг. Начинался пожар. Виктор метался из угла в угол, работа на ум не шла. Забывались дети и старая мать. И тогда

он спешил в «Голубой Дунай», что стоял на берегу говоруньи Рябинки, залить душевный пожар.

Вокруг сидели знакомые и незнакомые, счастливые и несчастные – у каждого свое. Сидели и просто выпивохи, не считавшие себя ни теми и ни другими, любители «жигануть» стакан водки на ширмака. Чаще всего такие и окружали его. Загудаев не скупился, щедро платил, и лилось вино под шум речной волны, и шли за его столом оживленные разговоры.

- Инвалид я, скажи, или калека?- спрашивал он, схватив за грудки небритого пьяного человека.- Какие девки сохли по мне! Так почему я теперь на вторых ролях? Разве может быть работа первее мужа?! И бабье ли это дело вершить судьбы людские? А семья, а детишки? Развал ведь в семье-то. Васька забросил спорт, вот-вот в беду попадет. Зойка... Ой, да чо там... Налей,- отрешенно махал он рукой. Потом залпом выпивал с верхом налитый стакан. Крякал. Пел:- Я буду пить за ласковую Мэри, я буду пить бокалы все до дна.

Он все чаще заглядывал в «Голубой Дунай». «Голубел», как любил выражаться. Все чаще приходил домой на хорошем взводе, а то и приводили его. Все чаще в их квартире раздражался скандал.

- Ты до полночи шляешься, а я не могу? Где сама-то бываешь?

- Забыл обещание?

- Иди ты со своим обещанием! Оно, как пуля, торчит в моей памяти,- пьяно качаясь, выкрикивал Виктор.

- Тише, тише,- просила она, озираясь на стены, будто у них были уши.- Ну, чего тебе не хватает? Квартира есть, дача есть, деньги есть. Что еще требуется человеку?

Она плакала долго и горько. Столько обиды, мольбы было в ее плаче, что ему становилось жаль ее. Он долго, по-совиному смотрел на нее, вникал в смысл выданных со слезами слов, наконец, вставал и полз на коленях, сам умолял со слезами:

- Ирина! Иришка, прости дурака, больше в рот не возьму...

И женское доброе сердце прощало, но не было толку, и тогда оно каменело.

- Все, Витя, конец. Или лечение, или развод. Мы без тебя проживем, ты погибнешь без нас. Выбери. Не обещай, бесполезно. Собирайся.

Она посадила его в машину, повезла в Лабудянку за сорок восемь километров от города в психоневрологическую больницу. Небритый, испуганный, с налитыми кровью, опухшими глазами, пропахший перегаром, он ей казался жалким, обиженным жизнью, и все-таки близким. Оттолкни его, и пропал, не станет больше человека. А каким был парнем и мужем каким!

Украдкой, чтобы не видел, вытирала слезы, а ему старалась показаться суровой и неприступной. Пыталась больше собрать в душе злости: ему же на пользу, семье на пользу. Так кому нужно это зло? Так хотелось ей крикнуть на всю округу, чтобы задумался каждый над своим счастьем, над судьбой своих малых детей. Неужели у этой безжизненной твари больше сил, чем у человека? Сколько гибнет людей-то!

И ей еще больше хотелось плакать, но и злости все больше копилось в душе, копилось не против мужа, а уже против нее, своего врага и соперницы, которая все чаще заманивала Виктора в «Голубой Дунай», все чаще отпускала домой невменяемым.

Два месяца держали взаперти Загудаева. Два месяца пичкали антабусом, подносили водки для провокации, и его так рвало, так все нутро выворачивало наизнанку, что белый свет казался немилым. Приезжала жена. Увидев, радовался больше дитя, подсакивал к окошку, хватал руку, целовал. А из глаз слезы, да крупные, как брусника. И губы дрожали, словно вылез из морозилки. Слова не мог произнести. Только смотрел и плакал.

- Здравствуй, Виктор,- говорила жестковато, для порядка, хотя хотелось назвать Витюней, прильнуть щекой, пожалеть.- Как ты тут?

- Ири-иша... Ты, ты прости меня. Забери. В жизнь больше не приму. Они ведь до смерти доводят, тело холо-одным становится. Это смертоубийство. Капли никогда в рот не возьму.

- Нет уж, дудки. Взялся за гуж, то тяни до конца. Вот тебе гостинцы, питайся хорошо. Дошел как с пьянкой-то. Не жрёте ведь, когда халкаете. А ты посвеже-ел. Хорошо. Видать, на пользу дело. Тогда терпи, казак,- она грубо хлопнула его по щеке.- От детей, матери, сестры привет, наших знакомых. Вон сколько о тебе людей печется, а ты распустился, как зимогор.

Когда ехала обратно, плакала. Не так бы, ласковой надо. Он бы так не позволил. Она вспомнила, как однажды возвращались они с работы, и она подвернула ногу. Он нес ее через лес целых два километра, скользил на застывших лужах, падал, но крепко держал на руках, вновь вставал, отдыхал и шел навстречу вечерней темноте. Потом всю ночь растирал, целовал, приговаривал:

- У волка боли, у медведя боли, а у Ирочки нашей все живи.

Эта картина так ясно встала перед ее глазами, будто снова вернулась явь. Да-а, не так бы, ласковой надо. Да ведь от ласки не будет проку. Чертов круг получается, думала она и прижимала к глазам платок, не выпускала наружу слезинки. Председателю не положено плакать. Она хотела, чтобы все вышло хорошо, чтобы Виктор вернулся здоровым и счастье вернулось в семью. Много ли надо для счастья? В детдоме она мечтала о матери и отце. Хоть какие, лишь бы были. У ее детей есть тот и другой, а счастливы ли они?

И все-таки надеялась, ведь она мать и жена.

И он вернулся, поправившийся, похорошевший. Неуверенно, словно чужой, вошел в квартиру, разулся, обошел комна-



ты, сел на диван и вдруг засмеялся слегка неестественным, но радостным смехом.

- Вороти-и-лся, до-ома... Вы-то тут как?

Слезы радости, надежды, объятья – все смешалось в одну кучу. И снова не страшна любая работа. Опыт большой у Виктора. А вечерами и в выходные дни – дача. Участок дали, деревья насажали, кирпич завезли, а домик построить не успели. Лабудянка помешала. Теперь принялся с двойной силой. Ряд за рядом рос домишко. Не бог знает, какой, небольшой, но смотрелся культурным, ласкал свежий взгляд. Вот они – руки золотые! Что хочешь, сделают. Этим бы рукам да светлую голову - цены им не будет. Но голова, слава богу, вроде бы просветлела. Придет праздник – все на гулянья идут, радуются, а Загудавы на дачу. Тоже радуются. Грядки вскопают, розы подрежут, удобрения разбросают, кой-какой урожаем соберут.

К ним гости придут, редкие в последнее время, Ирина Ильинична на стол соберет, вина поставит. Гости сидят и пьют, пьют и хозяйка, а хозяин минералочку из фужера. Зато аппетит волчий, когда так ел? На пять лет против былого помолодел. Любодорого посмотреть! Белый чуб так и ломится набок. За жениха б сошел, если б нужда случилась. Дети смотрят – не насмотрятся. Вот оно, семейное счастье! Совсем немного для него надо. Не зря надеялась, ой, не зря-а! Терпение всегда добром оплачивается. Оплатилось и ее, Ирины Ильиничны, терпение. С новыми силами взялась она за дела. Большую работу по проверке колдовства сделала и конференцию провела, королевой сидела в президиуме. А тут снова беда, с Васькой, сыном.

Давно он вызывал беспокойство. В школе еще, когда после восьмого класса не захотел учиться. Бились, бились, Виктор трёпку давал – не помогло. Пошел в техническое училище. Когда отец напивался, Васька смотрел волчонком, был не в себе.

- Выгони, мам, или убью я его,- говорил он, трясясь всем телом.

- Ты что, озверел!- испуганно спохватывалась она.- Отца-то родного?

- Какой он отец?- не сдавался мальчишка.

- Он жизнь тебе дал, скажи спасибо за это,- убеждала мать, перепуганная настроением сына.

И вот Васька в компании подпитых и накуренных анашой дружков влез в драку. Задирались на улице, избили кого-то. Дорогая шапка не то потерялась, не то забрали под шумок – еще неизвестно. Взяли его. Судить должны. Мать схватилась за голову. Думала день, думала ночь. Надумала к прокурору поехать. Знаком он, не раз на совещаниях и активах встречались. Полетела со всех ног. Внимательный, в кресло усадил, о жизни, делах заводских поспрашивал, пока подошли к главному разговору.

- Избили пожилого человека, фронтовика. Шапку ондатровую сняли, а это уже групповой грабеж и разбой.

- Ради Бога, Николай Семеныч, не надо про грабеж. Скажите, что за это будет?- взмолилась она.

- Статья номер... от трех до...- долетали до нее обрывки фраз. Ее трясло, как в ознобе.

- Что делать, как избежать суда?- спросила лихорадочно и с надеждой.

- Я вас очень уважаю, Ирина Ильинична, и все-таки, чтобы избежать суда, нужно не совершать преступлений. Об этом ясно говорит кодекс. Для начала нужно утрясти с пострадавшим. И то волокитное дело, случай нападения-то был, и мы обязаны... Ну, это потом. Улаживайте с тем человеком.

Бросилась в больницу. Не пустили. Пошла к главврачу. Отказал, мол, нельзя, товарищ Загудаева, больной в тяжелом состоянии.

Держась за перила, кое-как вышла из травматологии. Глотнула свежего воздуха – задохнулась. Так захотелось крикнуть от бессилия: «Почему все против меня?!» Не крикнула, председателю не положено показывать свою слабость.

Приехала на работу, там Дарья Ивановна Жарилова. Хмурая, недовольна чем-то.

- Подарок тебе привезла, на-ка почитай. Жалобы.

Да, жалобы. Прямо на нее, Ирину Ильиничну Загудаеву, председателя профкома. Из огня да в полымя попала. Открыла с подозрением конверт, стала читать.

«Уважаемый облсовпроф!

Пишут вам работники Рябининского электромеханического завода. Есть у нас председатель профкома И. И. Загудаева. Сообщаем – имеет лично-собственный жилой дом и незаконно прикарманила трехкомнатную квартиру, будто государство для нее дойная корова. Да еще без очереди. А еще муж у нее горько поддает и сын фюлиган. Просим разобраца и навести социалистический порядок.

Панасько, Чивилёва, Закиров и другие».

Жалобы были в обком профсоюза и другие инстанции. Писали поодиночке и коллективно. Одни просто для информации и социалистической бдительности, другие со злобой в сердце и пеной у рта, безбожно искажали факты и предвкушали расправу над председателем. Это анонимщики или древние пенсионеры.

- Что будем делать, мой лучший председатель?- невесело спросила Дарья Ивановна.- Я предупреждала: не играйте с огнем. Ладно, поговорю с Мазановым, Алексеевым, с жалобщиками надо увидеться. В обиду не дадим, сами ходатайство поддерживали.

Ответить надо объективно, чтобы повторных запросов не было.

«И это за то, что ты не знала покоя ни днем, ни ночью, по пять месяцев не видела выходных? За твою доброту и заботу, за спорт и культуру, за лечение в профилактории, за бесплатные поездки на море, за квартиры, за всю твою переломанную жизнь! Да где же совесть-то у вас, люди?- кричала и негодовала ее душа.- Уйду, завтра же уволюсь!»

- Не переживай, Ирина Ильинична,- успокаивала ее Ско-

лоцкая.- Такова профсоюзная судьба. Отсюда не уходят по собственному желанию, а или идут на повышение, или выгоняют.

Дарья Ивановна поговорила с начальством, встретила с жалобщиками. Как могла, доказывала им, что дом у Загудачевых материн, что имеют они право на казенное жилье и что дирекция и общественные организации ходатайствовали перед вышестоящими инстанциями о выделении им жилья вне очереди. Но убедила ли? Особенно ей не понравилась Чивилёва, женщина пожилая, въедливая, как кислота.

- Нас пятеро у вдухкомнатной живёт, две семьи, очередь близко, а нам не хватило. Нашу фатеру она заняла.

- Ну, какую вашу, ваша очередь все равно не дошла, да и две вам надо квартиры, вернее, молодых оставить в двухкомнатной, а вам, старикам, дать однокомнатную.

- Хай так, усё равно вина нашу получила, бессовестно делала,- не успокаивалась Чивилиха.- Творить она грязные дела. Фатерами торгует государственными. Три тыщи гони – и получиай ключи. А у меня нема трех тыщ.

- Вы чего черните честного человека, вы видели, что она брала?- возмущалась Жарилова.

- Була у них честь. Иде честь була, там полиняло,- уходя, проворчала Чивилиха.

Дарья Ивановна собрала материалы и уехала. А дня через два в профком ввалился Сашка Крохалев, мужик высокий, прогонистый, с костылем в руке. Когда-то он работал грузчиком. Потом с ним произошел сомнительный несчастный случай. Он хлопотал инвалидность, аж до Москвы дошел, пока не получил вторую группу. При распределении нового дома ходил грызться с начальством из-за жилья. Снова с жалобами доходил до Москвы, протирали штаны в высоких приемных, сменил три квартиры и до того вжился в свою роль, что по-другому поступать уже не мог.

- Брось воду мутить,- говорили ему соседи.

- Ничего-о, они здоровые, как мерины, вывезут. А моим

нервам разрядку надо дать. Здоровье-то на заводе угробил, не жалея себя, хлестался, инвалид труда.

- Инвалид до «Голубого Дуная», а там чемпион.

- Издеваетесь над калеккой, вас бы так ухайдакало,- отбрехивался он.- Я за производство пострадал.

Когда Сашка был выпивши или куда торопился, брал костыль под мышку и шагал быстрым ходом. Но в профком он вошел неторопко, припадая на одну ногу. Посмотрел на председателя, заместителя. Посмотрел с хитрецей. Улыбнулся одними глазами, и Ирине Ильиничне показалось, что он улыбнулся внутрь себя, для самого или какой-то своей идеи. Она не ждала от него добра, сразу насторожилась.

- Засьте,- проскрипел он, окатив туманным взглядом Ирину Ильиничну.

- Здравствуй, Александр. Садись.

- Премного вам.

Он долго и картинно держался за спинку стула, принаравливался, потом завалился на один бок, кряхтя и стеная, выпрямился, изобразил болезненное лицо.

- Слушаю,- устав ожидать, громко произнесла Загудаева, рассматривая его в упор.

- Эт я-а слушаю. Как с квартиркой-то?

- С какой квартиркой?

- Моё-ёй.

- Сколько их тебе давать? Ты лучше всех что ли? Не жирно ли?

- Жирно это вам, а нам постно. В той квартире линолеум. На нервы он действует мне, а я пострадавший за честь производства.

- Хватит дурака валять. Три квартиры сменил, новейшую недавно получил, и все мало. Иди в бюро обмена.

- И вываливать хватит дурака. Ты домик-то свой продала, а денежки в карман. Казенную хату получила, теперь «Жигуленка» купишь. Не жизнь – малина. А от меня баба уходит.

Дай нам размен. Прижало меня, не мужик я теперь.

- Будет – прижало! Знаем, как ты инвалидность выбивал. Сами помогли, чтобы отвязаться,- встряла в разговор Валентина Павловна.

- Водку пить он не инвалид,- продолжала Ирина Ильинична.

- Твой-то тоже не промах. В «Голубом-то» вместе дунаимся.

- Все, разговор окончен.

- Ка-ак, не хочешь с пострадавшим инвалидом говорить? Чиновница! Да я тебя, суку красномордую, - он вскочил, замахнулся костылем.

- Бей!..- вскочила и председатель и замерла в ожидании, не в силах двинуться в сторону, отскочить, только смотрела ему в глаза с ненавистью и испугом.

А он все держал поднятым кривой костыль, не решаясь ни ударить, ни опустить.

Быстрее всех пришла в себя Сколоцкая. Кошкой метнулась из-за стола, схватила Крохалева в беремя и чуть не на себе вытащила из профкома.

У Ирины Ильиничны подкосились ноги, и она упала на стул, содрогалась всем телом от обиды, испуга и унижения. Вошла Валентина Павловна, обняла по-отечески, тоже пустила слезу. Так и сидели вдвоем, коллективно поплакали при закрытых дверях.

- Дурак он, забудь,- успокаивала Сколоцкая, глядя начальницу, как ребенка, по голове.

А вечером, когда Ирина Ильинична, уставшая и разбитая, вернулась домой, ее ждала еще одна неприятность. Виктор с Крохалевым сидели в обнимку пьяные у недопитой бутылки и признавались друг другу в дружбе.

На другой день с утра молчала. И он молчал, долго не вставал, притворялся спящим. Потом поднялся, ходил, ниже плеч

опустив голову. Ушла на работу, не проронив ни слова, и это для него было хуже ругани, хуже разноса: совсем не хотела замечать, будто нет хозяина в доме. Умывшись, попив чаю, тоже потопал на работу. А вечером, не заходя домой, направился в гараж. Надо было реабилитировать себя. Да и работ еще много, хотя выложил уже стены и крышу накрыл. Сам делал раствор, штукатурил подвал. Допоздна провозился. Пришел голодный, пошарил по кастрюлям, разогрел соус, достал из холодильника кусок сала, луку, кастрюлю компота. Ел торопливо, но без удовольствия, ждал первого боевого удара жены.

Она подметала полы, вытирала мебель, его будто не замечала. И Виктор, убрав после себя со стола и вымыв посуду, покорно пошел на поклон, остановился за метр, преданно заглянул в глаза. Нет, не видит его жена. Заговорил виноватым голосом:

- Ир, Ириша. Прости меня, дурака. Сорвался что-то. С тобой неприятности, с Васькой беда. Не выдержал.

- Э-эх, много хотелось сказать, да отошла чуть-чуть. Целый год терпел, а теперь не сдержался? В такую-то минуту, когда беда со всех сторон обступила. Да еще с ним, с Крохалевым! Он вчера твою жену хотел отходить батогом, грозился убить, а ты его в наш дом привел, угощал. За его-то паскудные дела!

- Как батогом? Да я ему голову оторву, хромому псу, и редиску вставлю,- рванулся он с места.

- Сам себе где-нибудь оторвет. Вот что с твоей головушкой делать? Снова везти в Лабудянку? В какой уже раз?

- Прости, Ирульчик, больше не буду. Гараж надо срочно доделать,- взмолился он, и в глазах его стояли страдание и правдивость.

- Ваську нужно спасти – вот сейчас главный вопрос. И самой от жалоб спастись. Противно и низко все это.

И они взялись за спасение сына. Снова поехала в травматологию. Врачи запрещали к нему пускать, да ведь врач, он в кабинете главный, а входными дверьми, запертыми на амбарный замок, коридором ведают коридорные тети Маши.

Кандидата наук может не пустить, а продавщицу из мясного отдела – с полным удовольствием, заходите! Сунула Ирина Ильинична такой тете Маше коробку добрых конфет, и растаял коридорный страж, двадцать лет несший исправно свою великую службу. Распахнула двери с улыбкой, обнажив при этом почерневшие, выкрошенные от пристрастия к сладкому зубы.

Легко, будто девочка, Загудаева проскочила незаметно до палаты, мышью, вежливо поскребла в дверь. Увидела на кровати перевязанного крест-накрест бинтами пожилого человека, подошла со скорбью на лице, поздоровалась, постояла.

- Вы кто?- с болью в голосе спросил он.

- Понимаете, я мать одного из тех мальчиков, которые... от которых...

- А-а, этих бандитов?- прижимая рукою грудь, догадался он.- Хороши мальчики. Спасибо вам за таких. Я в это время уже воевал.

- Да им по шестнадцать-семнадцать лет,- с мольбой в голосе заговорила она, оглядывая неубранную палату, где пол был немывтым, валялись неприбранные бинты, стояла пустая посуда.- Плохо у вас убирают. Договорюсь я, не волнуйтесь,- уверенно пообещала она.

- Убирают совсем ни к черту,- согласился он,- но от вас мне ничего не надо. Старуха придет – уберет!

- Зачем ей трудиться, пусть отдыхает,- вздохнула Загудаева, думая, как перейти к главному разговору.- Дети еще, как ни говорите. Я понимаю, поднять руку на пожилого человека, орденосца – проступок тяжелый, и они за это понесут наказание. Но переломать одним махом судьбу молодых людей – это, знаете, надо быть очень жестким человеком.

- Да-а, они мягкие,- больной попытался саркастически улыбнуться,- одним махом чуть жизни не лишили. Тут не жесткость, а жестокость...

- Ну-у, не совсем так, да я не хочу с вами спорить, за этим и пришла. Вам нужна помощь на лечение – мы ее окажем, сколь-



ко запросите. Мы вам заплатим за шапку, чем-то еще поможем, только скажите.

- И дело закроем?- спросил он, и она не заметила, как в его глазах промелькнул ядовитый огонек злости.

- Правильно, закроем. Я вам принесла продуктов, фруктов, сметаны, меда,- полезла она в сумку со скрываемой радостью, надеясь на благополучный исход.

- Так подкупить фронтовика,- он попытался чуть приподняться.- Я Берлин брал. Четыре года шел, а вы вот так в один присест хотите взять?

Услышав эти слова, Ирина Ильинична застыла с вытасканным из сумки пакетом.

- Во-он, во-он!- бешено закричал больной, отваливаясь на подушку.

Обиженная таким тоном и слегка напуганная неприятностью, она рыбкой выскользнула из палаты, отдала коридорной содержимое сумки, шепнув на ухо:

- В пятнадцатой прибирайте получше, в долгу не останусь.

- Приберем, не волнуйтесь,- отпирая замок, преданно завила тетя Маша.

Со смутными мыслями выходила из больницы председатель профкома. Как выпутаться из положения, что делать? Незаметно миновала остановку автобуса, тихо шла по тротуару, обсаженному с обеих сторон пирамидальными тополями. Шевелясь на ветру, их листья ласково шелестели и осыпали ее лицо пляшущими солнечными бликами, будто шаловливо заигрывали с нею. Но она, углубившись в думы, не замечала ни веселого шелеста листьев, ни солнечных бликов, ни прохожих. «Есть же какой-то выход,- думала напряженно,- нет ведь безвыходных положений».

Она промучилась сутки, заставляя работать мозг без передыха до самого утра. И к утру нашла выход. Вечером, покончив с профсоюзными делами, поехала к жене пострадавшего.

Ей открыла уже немолодая женщина с испуганными, уставшими глазами.

- Вам кого?- с ног до головы подозрительно осмотрев гостью, спросила она.

- Вас. Я по поводу вашего мужа.

Хозяйка провела ее по скрипучим половицам в зал, усадила на диван, сама тяжело, со вздохом села напротив на стул. Ирина Ильинична понимающим взглядом скользнула по стенам, потемневшему потолку с потрескавшейся штукатуркой, давно некрашеному окну, участливо заговорила:

- Ремонт пора делать.

- Давно пора,- согласилась хозяйка,- да, думаете, легко?

- А в чем дело?

- Дом наш бесхозный. СМУ от нас отказалось, а исполком гоняет от организации к организации. Сами бы сделали, да то краски хорошей не найдешь, то раствора не купишь, плах на пол, многие менять надо.

- Да-а, ситуация,- понимающе протянула Загудаева.- Время сейчас такое, да и люди совсем очерствели. А ведь муж ваш фронтовик, им в первую очередь должны уделять внимание. В постановлениях правительства так и сказано.

- Конечно, так!- благодарно подхватила женщина.- Только на деле-то по-другому.

- Мы своим участникам в первую очередь помогаем.

- Где это?

- На электромеханическом. Вообще-то можно помочь и вам.

- Да что вы? - с надеждой произнесла та.

- Наверно, сможем, коль хорошо подумать. Раствор – пустяки, доски найдем в стройотделе, сколько их и надо-то. Да и краску попытаемся раздобыть.

У хозяйки глаза слегка отошли от испуга. Теперь в них светилась просьба, надежда. Она медленно представила отремонтированную, посветлевшую квартиру, и в ее душе шевельнулась маленькая женская радость за домашний уют, который

придет вместе с ремонтом. Хорошо бы еще ковер вон на ту стену. Она не только подумала об этом, но и машинально произнесла:

- И ковер бы вон на ту стену...

- Хотите – дадим талон?- на лету поймала ее желание председатель, аж хозяйка вздрогнула, покраснела и застыдилась за нескромность.

- Ну-у, вы и так великодушны. Как-то уж неудобно,- залепетала она.

- Чего тут неудобного? Все мы люди, всем нам чего-то не хватает, как в той песне: «Зимой лета, осенью весны». Будет вам талон на следующей неделе.

- Спасибо вам за доброту и заботу.

Потом они говорили о пострадавшем, о виновниках случившегося. Хозяйка, ранее непоколебимо настроенная на суд, начала колебаться. Конечно, жаль мужа, с которым дружно прожили сорок лет. Но ей виделась и обновленная квартира, и жаль было ее потерять. Разве мужики думают об этом, они – горлопаны, лишь бы свои амбиции удовлетворить, а что ремонт не делался столько времени, всем до лампочки. Тем более, врачи сказали, что опасность миновала, что надеются на благополучный исход.

- Поймите, уважаемая Галина Ивановна, я мать и вы мать. Вы все бы сделали для спасения своего ребенка, и я все сделаю для спасения своего. Ибо носили мы их под сердцем. Лучше бы меня упекли, чем его.

Ирина Ильинична говорила настойчиво, убежденно и вместе с этим с болью в голосе и мольбою в глазах, и пошатнулась уверенность хозяйки. Она представила себя на месте этой красивой, цветущей женщины, очевидно, неплохой жены и матери, и глаза ее повлажнели, а сердце забилось тревожней.

«А если бы твоего сына на скамью подсудимых, разве б ты не обила пороги тех, от кого зависело его спасение? Да ты бы встала на колени, лишь бы твоему ребенку не было плохо!»- думала она скорбно, и душа ее постепенно добрела и соглашалась.

- Хорошо, Ирина Ильинична. Я – мать, и я вас понимаю. Поговорю я с ним действительно,- произнесла она на прощание, провожая гостью до дверей.

Вскоре Ирина Ильинична встретила и со следователем. Это был рослый, еще молодой капитан с уверенным взглядом и самонадеянным лицом. Он принял ее сурово, не сразу предложил сесть. Все копался в каких-то бумагах или делал вид, что копается, не обращая на нее внимания. Наконец, оторвавшись от них, долго глядел в окно, высматривая там что-то интересное. Потом, повернувшись к посетительнице, сказал с ехидной полуулыбкой:

- Одни наломали дров, другие за них пекутся!

Ирине Ильиничне вдруг так стало горько, что она не сдержалась, заплакала, не пряча слез. А капитан, словно не замечая, долбил, как ворон по голове:

- Вот оно, дело. Четверо сопляков, напившись на отцовские деньги, накурившись до одури, ищут массовых развлечений. Задирают на улице, пристают к девчатам. Наконец, находят объект акций – пожилого человека, деда. И начинают хлестать, хлестать безжалостно, будто собаку! Да ведь и собаку жаль, а они ветерана войны, кавалера орденов, израненного и избитого немилосердной войной, хотели добить в мирное время, коль война не добила. Где родились они, кто воспитывал их? Посмотреть бы тому в глаза, спросить бы с него за таких детей, черт побери!

В сердцах он даже ударил кулаком по столу и, поняв, что хватил лишнего, хотел успокоить себя, не глядел ей в глаза, с места на место стал перекидывать серые папки. Его слова больно ударили по сердцу Загудаеву. Она смертельно обиделась, а за обиду в тяжелые минуты она умела мстить.

- Так посмотрите в мои глаза, коль приспичило вас! Может, в них увидите боль не за одного, а за весь район мальчишек. Или их застило от стыда? А вы работали по пять месяцев без выходных? А вы сидите до десяти вечера на собраниях, заседа-

ниях, сотни детей устраиваете в пионерские лагеря, турбазы, лесные школы? А в спортивные секции их устраиваете, а форму им добываете всеми правдами и неправдами? Ведете совет профилактики? Вы сами-то профилактикой не занимаетесь. Из ста запланированных на нашем заводе лекций работниками ОВД прочитаны единицы. И лично вами ни одной. Вот вам и рост преступности.

- Знаете, у нас и других дел хватает,- хотел он ее перебить, но она была «на коне».

- У всех работы хватает, наверно, потому дети и попадают в такие переpleты. По правилам, мне бы дома сидеть да воспитанием своих ребятишек заниматься. А я все время чужим отдаю, до своих руки не доходят. И до меня не доходили родительские руки, ибо в детдоме воспитывалась, а отец на полях сражений погиб. Вот и трудятся теперь бабы, чтобы поднять на ноги производство, восстановить после разрухи страну.

Долго в тот день они говорили, спорили. Каждый из них приводил резкие доводы, каждый по-своему был прав. Но в чем-то они были оба правы. Наверно, в том, что обоих тревожил этот сложный вопрос неудержимо бегущего вперед ералашного нашего века.

- Хорошо, я подумаю,- сказал капитан на прощание, вставая из-за стола.- Ну и кум, призналась она, ты и мертвого уговоришь...

## 11

С малых лет Зоя росла скромной. Привыкшая к одиночеству, она набирала полный подол игрушек, которыми баловали ее родители, забиралась куда-нибудь в дальний угол или уходила в сад. Целый день возилась с куклами, то укрывая их, то раздевая, укладывала спать. Иногда вместе с ними засыпала сама, и бабушка отыскивала ее с трудом, относила в постель, покачивая на ходу и ворча:

- Умаялась, бедная, все одна да одна. Матери неделями не видит.

В школе Зоя училась хорошо, и ее часто ставили в пример, отчего родителям было приятно. Ни разу учителя не пожаловались на нее, что порой даже настораживало мать. Иногда вечером она доставала из Зоинового портфеля дневник, просматривала, но ниже четверок оценок не было. Со стыдом замечала, что по месяцу не расписывалась, брала ручку и кидала свои проволочные завитушки на графу, где должна быть подпись родителей. Сожалела, что редко виделась с детьми, но работу особенно не винила. Работа ей нравилась. Она подняла ее на такую высоту, дойти до которой не каждый способен. Порою она сравнивала себя с орлицей, парящей в поднебесной выси и свысока взиравшей на бренный мир, и скупая гордость наполняла душу.

А Зоя росла, переходила из класса в класс, не претендуя на особое внимание. Знала, что ей вовремя купят платье и туфли, шубку и сапоги, что не надо, как иным девочкам, упрашивать об этом родителей. Придя из школы, Зоя садилась за уроки, потом убирала комнаты, протирала паркетные полы, а в свободное время с ногами забиралась на диван в самой маленькой уютной комнате, открывала принесенную из библиотеки книгу. Особенно любила про любовь. Ей нравились такие рыцари-отчаюги, как Владимир Дубровский. Героини наоборот – тихие и скромные, как она сама.

Прочтет она интересную главу, отложит книгу и думает, думает. То уставится в окно, смотрит на спешащих по дальнему тротуару прохожих, ищет в них своего Дубровского. Много шло в обе стороны всякого люду, а вот ее кумир упорно не проходил. И ей становилось тоскливо, на глаза наворачивались слезы, хотя знала, что этого не может случиться, что это плод ее юной фантазии. Хотелось кому-нибудь излить душу. Но кому? Подружек она стеснялась – разве поймут? Они почти все были современны, ходили на танцы, иные с мальчиками покуривали сигареты. На нее, тихоню и недотрогу, смотрели с сожалением.

- Почему у тебя до сих пор нет мальчика?- спрашивали они.

- Не знаю,- пожимала она плечами и стеснительно опускала глаза.

- Глупая, мне б такую красоту – королевой ходила бы.

«Неужели я красивая?- спрашивала она себя, подолгу разглядывая в зеркало.- По-моему, ничего особенного. Такая же, как другие. Если б была красивая, давно бы заметили». С кем поделиться мыслями, перед кем открыть душу? Бабушка живет далеко, в деревне, осталась в своем доме, да и поймет ли она, старый человек, проживший нелегкую, иную жизнь? С мамой видится редко, и не привыкла она с ней делиться мыслями. Папе вовсе не скажешь: когда трезв – очень строг. Так и жила в ожидании чего-то большого, славного в девической сладкой тоске, в душе надеясь и сомневаясь.

Нежданно-негаданно он появился на горизонте. Нет, от Дубровского его облик был далек. Его лицо было усеяно большими черными родимыми пятнами, губы вывалены наружу, короткие ноги и длинное туловище напоминали косолапого медвежонка. Он был студент торгового техникума, и встретились они на совместном вечере в их школе. Проходя мимо, он нагло осмотрел ее с головы до пят и прищелкнул языком. А как заиграл ансамбль, пригласил танцевать. Она, увидев его уродливое лицо и фигуру, покраснела от обиды и хотела уйти. Но что-то удержало ее, может, уверенные глаза, выстрелившие в нее двумя черемушинами? А может, в душе шевельнулось то, что тосковала в непонятном и сладком девичьем ожидании.

- Па-айдемте танцева-ать-то,- произнес он певуче, растягивая слова и беря ее под руку.

И она пошла, стройная и робкая, как молодая рябинка. Вначале раскачивалась несмело, опустив совестливый взор, боясь любопытных взглядов одноклассников и учителей.

- Веселей, энергичней,- подбадривал он, снова выстрелив двумя уверенными черемушинами.

И она послушалась его, внутренне расслабилась, и пошло, и поехало, завертелось все вокруг. Веером поплыли ее длинные волосы. От резких движений легкая кофточка вылезла из-под джинсов, слегка оголив тонкую гибкую талию. Он козлом выпрыгивал перед нею, старался изо всех сил.

- Техникум, не подкачай!- выкрикнули из толпы.

- Куда вам, криволапым! Дави, седьмая школа,- кричали подружки Зои.

В порыве танца она не замечала, что все меньше оставалось танцующих, все больше становилось зрителей.

И когда вдруг музыка погасла, мгновенно, как гаснет электрический свет, Зоя увидела, как в кругу их осталось лишь двое. Она не могла понять, что с ней случилось, откуда такая смелость? Хотела спрятаться за девчонок, скрыться на улице. Но тут грянули аплодисменты, и она с радостью поняла – приветствовали их.

- Какая ты молодчина, Зоя! А мы и не знали,- поздравляли подружки.

- Хорошо, Загудаева. Вот ты какая!- подошла классная руководительница.- И в труде, и в бою, значит?

А та засмушалась от поздравлений, переступала с ноги на ногу. Ей не хотелось, чтобы ее замечали, вдруг потянуло домой, к маме, рассказать об этом удивительном вечере. Но у мамы заседание профкома, и она, конечно, еще не пришла.

Она выскочила на улицу, когда начался следующий танец. Думала, проскользнет незаметно. Но не успела миновать аллею вязов, как рядом услышала торопливые шаги. Догонял тот парень из торгового техникума.

- Вы что-то забыли,- сказал он негромко.

- Ничего не забыла,- грубовато ответила.

- Свое приложение, то есть меня.

Ну, и нахал, подумала Зоя. Но подумала почему-то без злости. Даже вроде как с радостью. Он, как ни в чем не бывало, зашагал рядом, о чем-то беспрерывно болтал, но она, сму-



ценная, не слышала его слов, думала о своем, своих мечтах, о Дубровском.

- Давайте знакомиться. Меня звать Владимиром,- протянул он руку.

«Какой Владимир, уж не Дубровский ли?- внутренне встрепенулась она.- Он ведь не реален, писательская выдумка».

- Владимир Дубровский,- продолжал он.- Да вы не пугайтесь, я однофамилец пушкинского героя.

С ума можно сойти, думала она с сомнением. Не вечер, а сон. Надо дернуть себя за ухо и проснуться. Иначе представится сам Александр Сергеевич Пушкин.

- Как же звать вас?- спросил провожатый.- Маша Троекурова?

- Вы угадали. Нет, вру. К сожалению, я не оттуда. Не из повести. Звать меня Зоей.

- Какое редкое нынче имя!- откровенно удивился он, и ей это даже немного польстило.- А то все Светы, Оксаны, Татьяны. Прямо стереотипы.

Они подходили к ее дому, и Зоя поняла, что это не сон. Но в нем было что-то необычное, в этом новом смешном Дубровском.

- Дальше нельзя,- сказала она.

- Там имение Троекуровых?

- Как хотите, так и называйте. Но мне пора.

- И все-таки интересно придумать второй вариант их любви. Давайте встречаться тайно, писать друг другу записки, прятать в дупле хотя бы вот этого дерева. Я завтра пришлю вам.

Она улыбнулась, но не ответила. А он, уверенный в завтра, махнул ей рукой и пошел в сторону автобусной остановки. Зоя проводила его коротким взглядом и не вошла, а влетела в подъезд. С тревожно бьющимся сердцем открывала дверь, и все не могла попасть ключом. Войдя в квартиру, коротко бросила отцу: «Здрасьте», поспешила в свою комнату. Долго стояла у вечернего окна, глядела на тротуар, вновь высматривала

своего книжного рыцаря. Но в подсознании уже приходил Дубровский сегодняшней, некрасивый и неуклюжий, но все-таки Владимир Дубровский. Кто он, каков встреченный ею герой? «Второй вариант». Должно быть занятно и романтично, мог же быть второй вариант любви Владимира с Машенькой.

В прихожей стукнула дверь, и Зоя вздрогнула. Пришла с заседания мать. Она недолго поговорила с отцом, потом зашла в ее комнату.

- Добрый вечер,- сказала уставшим голосом.

- Здравствуй, мама, что нового?

- Что может быть нового на производстве? Разве только неприятности. Вот нужно новое мероприятие проводить – праздник улицы Добролюбова.

- А что это такое?- рассеянно спросила дочь, переводя взгляд с окна на мать.

- Это чествование ветеранов, состязания, концерт, гуляния и прочая микстура.

- И ты все будешь готовить сама?

- Не только я, весь профком, его службы.

- Ты у меня молодец,- подходя и обнимая, призналась Зоя.

Ирина Ильинична внимательно посмотрела на нее, и вдруг увидела в ней что-то новое. В чем-то Зоя изменилась, может, просто стала взрослее, ведь заканчивала девятый класс. Через год станет самостоятельным человеком. Время-то как летит! Дети уже почти взрослые. Значит, родители почти старые.

- Ты что так смотришь?- спросила дочь.

- Думаю, что же в тебе изменилось, чего я за сутолокой дней не смогла разглядеть? Что случилось?

- Ничего не случилось. Просто я была на вечере в школе и хорошо станцевала. Все смотрели на нас и хлопали.

- С кем же?

- Не поверишь – с Владимиром Дубровским.

- Что за шутки, хочешь меня разыграть?

- Правда-правда. Он из торгового техникума. Однофамилец пушкинского героя.

- А ты не Машей Троекуровой представилась?- не то шутя, не то с легкой издевкой спросила Ирина Ильинична, одновременно вспоминая только что закончившееся заседание, грызну на нем с цеховиками и главным инженером из-за слабой работы НТО, рационализаторов и изобретателей.

- Он сам меня так назвал.

- Вот как! Сколько лет ему, каков из себя?- с легким волнением в голосе спросила мать.

- Такой уродливый и смешной. Ноги кривые, короткие. Лицо страшное, в пятнах, только собак пугать.

- А-а,- успокаиваясь, протянула Ирина Ильинична.- Ты там смотри...

Она не досказала, но дочь поняла с полуслова и перебила.

- Ну что ты, мама, ты ведь знаешь меня.

- Разумеется, знаю и очень.

Она устало зевнула, погладила по голове дочь, поцеловала в щеку и поднялась.

- Пойду я спать. Ни рукой, ни ногой не шевельну. Спокойной ночи.

- Спокойной ночи, мама.

Ирина Ильинична исчезла, а Зоя вновь стояла у окна и улыбалась от тихой радости. Как редки мгновения, когда мать говорит с нею по душам вот так, как сегодня! И вообще сегодня великолепный день. Интересно, что завтра скажут девчонки? Она все смотрела на тротуар, где почти не было прохожих. Но верила, рано или поздно там появится ее Дубровский – пламенный, честный рыцарь, которых когда-то немало встречалось на Руси. Не все же они перевелись, ее-то остался, конечно, остался, не зря же каждый лень она выглядывает в окно, в каждом прохожем высматривает его. Кажется, сегодня нашелся один. Правда, его она не принимала всерьез. Ее рыцарь должен быть красив, и строен, и очень порядочен, и умен, и отважен, спосо-

бен ради нее пожертвовать своей жизнью, и талантлив, и бескорыстен. В общем, такой, какие бывают только в добрых старинных романах. Это было бы необыкновенно. И пусть смеются над нею подружки, что она несовершенно. Пусть ожидают своих суперменов в кроссовках, джинсах, роскошных автомобилях с японскими магнитофонами и усилительными колонками. Пижонство никогда не было главным, а пристраивалось в пристяжные, никогда не жило долго, не входило в легенды, как входили рыцарство, героизм, порядочность, доброта.

Она не хочет быть стереотипом, не желает стереотипной любви. Ее любовь будет единственна, божественна, неповторима. Будет такой, о которой не написано еще ни в одной книге. Ее любовь... Она не находила больше слов, фантазия её иссякла. Но на душе все равно было тепло и радостно от сегодняшнего школьного вечера, от смешного и уродливого Дубровского, от душевного разговора с матерью, от только что пришедших в ее незрелом уме мыслей, от ожидающего впереди будущего – как ей казалось, светлого, неповторимого.

Она машинально разобрала постель, и лицо ее светилось радостью. Потом сняла джинсы и кофту, подошла к высокому трельяжу. На нее глянула повзрослевшая, почти незнакомая девушка, длинноногая, стройная и высокая, с правильно оформившимися бедрами и грудями – еще небольшими, но упругими бугорками, стыдливо отворачивающимися друг от друга.

- Зойка, а ты красавица, мадонна!- изумленно вскрикнула она.- Ты достойна настоящего Дубровского.

И потом, когда легла в постель, долго не могла уснуть, прислушивалась к себе, с любопытством ощупывала тело, будто оно было не ее, с радостью отмечая, что взрослеет, и снова предалась еще бесхитростной девичьей фантазии.

На другой день в школе было много разговоров.

- Ну, Зойка, ты и выдала вчера!- восхищались одни.

- В тихом болоте все черти,- констатировали другие.

- Где ты выдрала такого клоуна?- любопытствовали третьи.

- Чудовище!- плевались скептики.

- И совсем не чудовище. Оригинал, которого надо поискать,- возражали девчонки с фантазией.- Жми, Зойка, во все лопатки. Это так романтично.

От гама, советов у Зои закружилась голова, но ее спас звонок на урок. Это был урок литературы. Вошла учительница по фамилии Триндифилинди, по происхождению гречанка. Высокая, строгая, с горбатым носом, она, как всегда, постояла у дверей, сквозь большие квадратные очки обвела класс изучающим взглядом, дождалась угнетающей тишины и только тогда прошла к столу.

- Сегодня, ребята, мы будем писать сочинение на свободную тему, которую назовем «Мой любимый герой в произведениях русских классиков». Можете выбирать любого героя из литературы любого писателя. Постарайтесь связать те времена с нынешними, посмотреть на них глазами нашего современника. В общем, придумывайте, фантазируйте, дерзайте.

- Анна Георгиевна, а про Базарова можно?

- Мо-ожно.

- А про Пьера Безухова?

- Конечно!

- А про матроса Кошку?

- Пиши про Кошку.

- А про пехотинца кота?

По классу сыпанул легкий смешок.

- Тебе б, Горюнов, всё хихоньки, а русскую литературу ты на три с минусом знаешь,- недовольно заметила Триндифилинди.

- У него же отрицательный заряд,- бросил кто-то с задних рядов, и класс снова колыхнулся.

- Это что такое!- возмутилась Анна Георгиевна и, как кор-

шун, обвела всех недовольным взглядом.- Вы не у меня, у себя время крадете.

Сразу воцарилась тишина. Лица стали сосредоточенными, задумчивыми. Каждый работал над своей темой. Зоя сразу выбрала любимого героя.

«Некоторые мои подруги,- писала она,- мечтают о жизненном достатке, техническом комфорте, способном поднять их выше своих знакомых, соседей. Конечно, такие Дубровского не выберут в герои, ведь из-за небольшого богатства, если уж на то пошло, и погибла эта дворянская семья. Маша не боялась будущего со своим небогатым героем. Она любила, а это немало. Но злой рок, вернее, ее отец, так распорядился ее судьбой, судьбой этой светлой любви, что все повернулось наоборот. Вот тут-то и проявилась натура порядочного человека, открылась душа пламенная, чистая, любящая, не пожалевшая себя ради счастья близкого человека. За это я и люблю Дубровского.

Есть ли такие герои сейчас? Время все изменяет. Но недавно я встретила юношу. Тоже Дубровский Владимир. Таков ли он, как пушкинский герой, не знаю. Но одна фамилия вселяет в меня надежду, что еще не перевелись Дубровские на Руси. А разве это плохо? Думаю, они так же способны любить, и жертвовать собою ради любви, и мстить за обиду – честно и откровенно, заступиться за близких, обиженных, оскорбленных. Да, мне возразят: Дубровские несовременны. Мне кажется, они современнее всех современных. И будь их больше, было бы больше добра и веры в людей, меньше пакости и неправды. Я за них, за Дубровских».

Вечером Анна Георгиевна варила борщ, кормила семью. Отказавшись от телефильма, уединилась в спальню, разложила тетради на туалетном столике, проверяла в одиночестве. Много было интересных сочинений. Горюнов написал о Курагине – брестере и дуэлянте. И откуда только выкопал – накатал пять страниц! Нашел же героя. Однако, роман читал, и это уже хорошо.

Встревожило ее сочинение Загудаевой. Девочка способная, но тихоня. И вдруг такой поворот, откровение. Никогда б не подумала. А мысли есть. Что это с нею? Литературная находка или протест мещанскому отношению к жизни? Разберись-ка.

За многолетнюю учительскую работу она перевидела многое, проверила тысячи сочинений. Но это не то, чтобы всколыхнуло, но заставило серьезно задуматься. Она перечитала его трижды, и перед глазами встали несколько поколений ее выпускников и годы юности, когда многие вот так же верили в светлое и святое, и недавние выпускники, уже более прагматичные, рассудительные, делающие переоценку ценностей. И ей вдруг стало грустно. Молодежь все больше мечтает об удобствах, достатке, выгодном замужестве, а то светлое и святое, что заложено традициями, что дано с молоком матери, хотя и медленно, но отступало на второй план, как менее потребное в жизни, непрактичное, лишнее.

Но куда деться душам нежным, мечтательным, которых остается все меньше и меньше? Как выжить им в этом непробиваемом, как скала, практицизме? Не сломают, не затопчут ли их в этом яром потоке молодых, деловых, дерзающих, способных, хотя в школе это не всегда замечалось, поступить в любой институт, устроиться на любую работу, достать любую вещь? А ведь вместе с ними по одной жизненной дороге пойдет она, Зоя Загудаева, девушка тихая, скромная, мечтательная, избравшая своим любимым героем пушкинского Дубровского. «При случае надо поговорить с нею по душам», - решила Анна Георгиевна и закрыла тетрадь.

Вскоре Зоя возвращалась из библиотеки вязовой аллеей. Подходя к дому, она вспомнила предложение Владимира о записках. И хотя была уверена, что это шутка, подойдя к дереву с выболевшим сучком, сунула руку в маленькое дупло. Сунула без надежды, как бы продолжая игру, и вздрогнула: что-то хрустнуло в ее пальцах. Вытащила – бумажка, исписанная, как показалось при электрическом освещении, мелким почерком.

От неожиданности все сильнее, сильнее начинало постукивать сердце. Ноги, будто их подгоняли, вдруг сами заторопились. Она тенью скользнула в комнату. Бросив на кровать книги и не успев перевести дыхание, развернула записку. Это было целое письмо на двух листах ученической тетради. Сперва пробежала одними глазами, не успевая вникать в смысл многих слов. Потом перечитывала, но уже медленно, шевеля губами, словно разжевывала и смаковала каждое слово.

«Как живете вы, Машенька?– писал он. – Я в ту ночь не смог даже заснуть – такую вы сделали революцию в моей душе! В жизни подобного не испытывал. Если бы вы знали – какая вы! Той, настоящей Троекуровой, до вас далеко. Мы должны встретиться еще и еще. Мне столько вам надо сказать. Это судьба, и от нее убежать не следует. Только ради бога ответьте! Ваше письмо будет самым большим праздником в моей жизни. Слышите, Маша?! С поклоном – ваш Владимир Дубровский».

Она еще перечитывала и все больше понимала смысл письма, и все больше наполнялось радостью ее сердце, радостью светлой и теплой, как майский день. Она тут же достала чистую тетрадь в линейку и стала писать.

«Владимир, я думала, это шутка, сейчас ведь все большие шутники, и серьезно к жизни относятся немногие. Я напротив не по годам серьезна, как говорят мои учителя. Недавно написала большое сочинение о пушкинском Дубровском. Он мой самый любимый герой. По поводу его в школе было много разговоров. Одни высмеивали меня, назвав старотипной и бесплодной мечтательницей. Другие наоборот хвалили за честность в мыслях и веру в добро. А русачка Анна Георгиевна стала как-то пристальнее смотреть на меня, будто пытается что-то прочесть на моем лице, отчего мне не по себе. Вы старше меня, наверное, опытнее в жизни. Подскажите, что мне делать? Заранее вам благодарна».

Она немного подумала и подписала: «Маша». Потом в скобках добавила: «Зоя Загудаева». Под предлогом сходить к под-



ружке она с трепещущим сердцем вышла на улицу. Оглядываясь по сторонам и боясь, чтоб никто не увидел, тенью скользнула к знакомому дереву, нащупала дупло и опустила записку. Еще раз внимательно посмотрела вокруг и почти бегом направилась к дому. Это стало началом переписки между двумя молодыми людьми. Потом будут встречи и разговоры, тайные от родителей прогулки к реке Рябинке, на богатые сеном луга.

Зоя стала неузнаваема. Что-то гордое появилось в ее осанке, неспешном повороте головы, разговоре. Она знала, что любила, и была довольна собою. В редкие свободные минуты мать присматривалась к ней, но понять не могла. Просто девочка взрослеет, решила она. В отпуск надо взять с собой и приглядеться внимательней.

### 13

Но отпуск, как задумывала Ирина Ильинична, не получился. К 1 Мая министерство выделило для завода несколько автомобилей, и председателю профкома засела думка приобрести «Жигули». Профком усиленно готовился к проведению праздника улицы Добролюбова. Загудаева сама составила мероприятия по его проведению, наметила ответственных. На очередном заседании их утвердили. Выделили средства. Покупали призы и подарки, готовили грамоты, мотались по магазинам, возили письма в торговый отдел горисполкома, просили дефициты промышленных и продовольственных товаров. Снова председатель собирала актив, работников клуба, столовой, спортсменов, транспортников. Обсуждали последние детали в подготовке и проведении праздника.

И вот назначенный день наступил. Погода, как по заказу, стояла теплая, солнечная. Сияли молодой листвой деревья. Цвели вишни, яблони, груши, словно их специально выбелили известкой, пылили по всем улицам белыми лепестками, будто снежной поземкой. И радостно было на душе: вновь наступила весна, пришло обновление, а значит, будут фрукты, и хлеб, и

овоши, а осенью – свадьбы. Жизнь станет продолжаться. Поэтому в тот воскресный день на улицы, детскую площадку, в парк вышло много народу. Но это было после обеда.

Ирина Ильинична же пришла на завод еще утром. Вначале заглянула в столовую. Заведующая, повара были уже там. Готовили кастрюли с шашлыками, пекли пироги, пончики, сдобные хлеба, готовили винегрет, жарили рыбу, котлеты и еще массу всячины, без которой не обходятся праздники. На ступеньках стояли ящики с водой, пивом.

- Ждем транспорт, Ирина Ильинична,- доложила пожилая, с отвисшим, лоснящимся подбородком заведующая.- Надо развозить столы и продукты. У нас почти все готово.

- Хорошо!- бросила на ходу председатель, быстрым шагом направляясь в гараж.

Начальника не было, и она завернула к диспетчеру, маленькому, чернявому, как грач, мужичку.

- Где машины на праздник?- спросила, не успев прикрыть дверь.

- Машины готовы, шоферов еще нет.

- Почему? Начальник пришел?

- Обещал.

- Заседали, говорили, ответственных назначали, и как с гуся вода. Срочно посылайте за ним автобус. Не приведи Господь сорвать мероприятие – голову за это снесут. Что за отношения у людей! Кому-то мы непременно влечем.

Она вышла за проходную и поспешила в клуб. В нем еще никого не было, лишь в дальней концертной комнате пикировал на баяне художественный руководитель Астахов. Малорослый и широкоплечий, как культурист, он склонился головой к самым ладам, закатил под лоб голубые, с косинкой, глаза и играл что-то медленное и мелодичное.

- Доброе утро,- поприветствовала Загудаева.- А где директор?

- Здравствуйте, Ирина Ильинична!- вскочил Астахов, от-

кладывая в сторону баян.- Нету еще, должна подойти.

- Что-то вы все не торопитесь. Не надо никому, что ли?

- У нас все готово. Сейчас придут люди, еще порепетируем и на праздник. Номера отточены, солисты, кто работает, освобождены. Не подведем, как всегда.

Он на минуту замолчал, обдумывая что-то свое, и она подумала: вновь что-то будет просить. Астахов был хвастливым и нотным. Все ему чего-то не хватало, чего-то выпрашивал, страшал уйти в городской Дворец культуры, хотя работать мог, и не зря несколько лет подряд коллектив заводской художественной самодеятельности занимал первое место в областном отраслевом смотре. Она не ошиблась.

- Как там с новыми инструментами, Ирина Ильинична?- начал он.

- Ждите. Возьмем.

- А с костюмами?

- Договаривайтесь в ателье. Сам знаешь, наличными не дают, надо по перечислению.

- Как мы договоримся?

- А я как договорюсь? У меня и без того сотни объектов. Деньги постараемся найти. Директор обещал подкинуть на соцкультбыт.

- И зарплату бы надо прибавить. Всех меньше из хударков города получаю. Двое детей. И квартиру бы новую,- закончил баянист.

- Начало-ось! Получаешь полторы ставки. Квартиру дали без очереди. Детей устроили в садик. Жену взяли руководителем кружка. Не жирно ли это?- психанула она.

- Когда мы работали в порту Ванине,- в который раз начал он хвалиться,- по тыще получали. И почетных грамот миллион. Вон они в столе.

Он стал доставать папку с дипломами, почетными грамотам, но она остановила недовольным движением руки.

- Не надо. Видела. Что ж из Ванина-то убежали? Холодно

там, что ли? Летунам всегда то жарко, то холодно. В общем, некогда мне байки слушать. Побегу. Чтоб вовремя все пришли.

Спортзал был открыт, но тоже пуст, только из угла в угол слонялся однорукий сторож Костя. Вернее – даже не сторож, а общественник. Никто и ни за что зарплату ему не платил, просто дядя Костя был большой любитель спорта, получал еще с войны инвалидскую пенсию и целыми днями пропадал в спортзале.

- Здравствуй, дядя Костя, начальство-то где?

- А грец его знает, ишшо не пришло,- спокойно ответил инвалид.

- К празднику подготовились?

- Спортивные снаряды, подарки готовы. Тренеры должны подъехать.

Ирина Ильинична села за телефон. С полчаса крутила диск, кого-то в пух и прах разносила, других успокаивала, уговаривала. Потом вскочила, чертыхнулась, галопом понеслась в столовую. На самых ступеньках ее встретила заведующая, женщина с хитринкой, тоже любящая в тяжелую минуту пустить слезу.

- Что делать, Ирина Ильинична, машина одна пришла, а грузить некому? Мы же буфеты не успеем развезти, сорвем праздник,- заныла она.

- Как это сорвем?- возмутилась председатель.- Нам с вами головы за это сорвут. Запомните: никаких срывов! Кто у нас за погрузку – комитет комсомола – отвечает? Да-а,- глянула она в мероприятия.- Если хочешь завалить – поручи заводскому комсомолу. Ну, Зыбрин, черт косолапый, пеняй на себя! Раиса Степановна, водитель, давайте быстро грузить.

Шофер моментально открыл борт, влез в кузов. Ирина Ильинична, отложив в сторону сумочку, взялась с заведующей столовой подавать продукты. Кто-то еще пришел на помощь, и вскоре машину загрузили.

В коридоре затрещал телефон.

- Это вас. Алексеев.

- Слушаю, Александр Михалыч,- приняв трубку, бодрым голосом сказала Загудаева.- Не волнуйтесь, все идет по намеченному плану. Клуб, спортзал готовы. Мы развозим продукты. Зыбрин где-то пропал с комсомольцами. Наверно, девок шупает, и мы грузим сами. Да-да, все начнется вовремя,- успокоила она парторга.- Приходите на праздник.

Потом развозили буфеты. Ирина Ильинична сама таскала столы, кастрюли с шашлыками, мангалы. Брала стол двумя руками, поднимала над головой и несла твердой поступью, словно всю жизнь этим только и занималась. Между делом прикривала на других.

- Мужики-и, шевелись, не у тещи на блинах! Не мужики – мужичонки, как вас бабы только держат?- недовольно махала рукой. Прическа ее сбилась набок, из-под платья выглядывал край розовой сорочки. Она не присматривалась, не поправляла. Слышала, как по спине и груди струится пот. Только не до него. Время подходило к полудню, а работ еще было много.

Наконец, за полчаса до начала с буфетами развязались. Народ уже собирался, толпился вокруг буфетчиц. Пришли спортсмены, принесли гири, канаты, мешки. Она бросилась к своему дому, быстро умылась, надела новое платье, прошла расческой по волосам. Вновь выскочила на улицу. У детской площадки увидела скопище людей, установленные микрофоны, динамики. На подставках домовые стенгазеты, на столах – множество букетов – выставка началась. В сторонке стоял со своими Астахов, негромко репетировал. И на сердце у председателя профкома отлегло. Она знала, никогда всего не предусмотрит. Главное, чтобы собрались люди, были готовы технические средства. Остальное образуется по ходу, даже если придется сделать какие-либо отклонения. Можно сфантазировать и прочесть экспромтом. Мероприятия всегда связаны с большим напряжением сил и нервов. Но уж такова у нее работа, и сетовать не приходится.

Прибыли гости – Жарилова, заместитель председателя горисполкома, редактор городской газеты, руководители других предприятий, чтобы перенять опыт. Она поспешила навстречу. С ними уже шел парторг Алексеев. С каждым любезно поздоровалась, пригласила на праздник, потом извинилась, пошла открывать. Ей подали микрофон, и она начала без волнения, спокойно, словно занималась этим всю жизнь.

- Дорогие труженики завода, почетные ветераны и члены их семей! Мы открываем сегодня праздник улицы Добролюбова, где живут сотни наших уважаемых передовиков труда, победителей социалистического соревнования, маяков производства и заслуженных ветеранов, чей труд отмечен правительственными наградами, грамотами обкома, горкома, руководства завода. Спасибо вам за труд, говорим мы...

Под дружные аплодисменты Ирина Ильинична передала микрофон ведущей, и начались чествования. Говорились добрые слова, вручались подарки, исполнялись песни и пляски. Рядом шло перетягивание каната, прыгали в мешках, поднимали тяжелые гири. Определялись лучшие букеты цветов, дворовые газеты, блюда, приготовленные жильцами. Соперничали дом с домом, подъезд с подъездом. Не забыли и детей, открыли кафе лакомок, мороженого, пряников. Получился настоящий праздник. И все это длилось несколько часов. Потом началось гуляние в парке, куда направились целыми семьями.

Ирина Ильинична измоталась в конец, еле передвигала ноги, а еще надо было отправить буфеты, привезти дискомузыку, занять почетных гостей. А завтра вновь на работу.

И вот официальный праздник позади. В «Рафик» погружена кастрюля с шашлыками, посажены гости.

- Давай к реке,- сказала она шоферу.- Отдохнуть в прохладе.

У самой воды расстелили брезент, разложили снедь, дали слово горисполкомовцу.

- Поздравляю вас всех, Александр Михайлович, с отлично проведенным мероприятием. Молодцы! Другим надо у вас учиться.

- Спасибо, Александр Михайлович, порадовали вы нас,- обращались к Алексееву, и тот сидел довольный и гордый.

И только утомленно-обиженная Ирина Ильинична молчала в стороне, словно была непричастна к празднику. Ей вдруг стало обидно, захотелось наговорить всем грубостей. Глаза её повлажнели, но, вспомнив о своей задумке, она взяла себя в руки.

- Александр Михальч, многих мы сегодня поздравили за хороший труд, вручили подарки. А кто нас наградит за хорошую работу и отлично подготовленный праздник?- заговорила она, глядя прямо ему в глаза.

- Награды она захотела! Работа у нас такая,- рассмеялся Алексей.

- А что вы хотите, Ирина Ильинична?- спросили гости.

- Машины легковые пришли на завод. Служебной у меня нет, так хоть на своей бы моталась по профсоюзным делам, а то ведь не выпросишь.

- Ну что вы, Александр Михайлович, уважьте председателя,- заговорили вокруг.- Человек уважаемый, энергичный, заслужил.

- А вот и уважим,- находясь в приподнятом настроении, пообещал он.

И не подвел. Вскоре сделали выписку, и Загудаевы поехали в областной центр за «Жигулями», благо гараж был готов. Цвет весенне-ласкающий. Легко подкатили к подъезду, словно всю жизнь были на колесах. С гордо поднятой головой вылезла из машины Ирина Ильинична, уверенно отмерила ступеньки на свой этаж, довольно объявила детям:

- Вот мы и с мотором!

Неделю прокачивали смазку, подтягивали болты, гайки. Отпуск решили провести не на море, как думали раньше, а

своим ходом объехать родню. Долго готовились, закупами продукты, подарки, взяли в спортзале спальники и палатку. Выехали в июле.

Зоя от поездки отказалась. Ей понаказывали работ на даче и дома под присмотром добродушной соседки. С рассветом выехали на трассу, и светло-ласкающий автомобиль мягко помчал их в голубую утреннюю даль.

## 14

Как хорошо одной остаться дома! Ни родительских замечаний, ни окрика. Спишь, сколько влезет, ешь, когда хочешь. По утрам Зоя ходила на дачу, поливала огурцы, помидоры из резинового рукава, собирала клубнику в пластиковое ведро, приносила домой. Работала в одном купальнике, загорала попутно. Иногда, изнывая от жары, направляла струю из шланга на плечи, живот, взвизгивала от холодной воды и смеялась. Дома вываливала клубнику в большой алюминиевый таз, засыпала сахаром, варила под присмотром всезнающей соседки варенье, закручивала в банки. Клубничный дух расползлся по всей квартире. Клубникой душисто пахло и от Зоинон кожи, и она шутя называла себя клубничной девушкой. После полудня, когда от несносной, непродуваемой жары звенело в ушах, Зоя шла с подругами на Рябинку. Забирались далеко вверх по течению, а потом неслись к городу, подхваченные большими желтыми волнами, держа над головой комом свернутую одежду, то пропадая, то высоко всплывая над бурунами, аж от страха замирало сердце.

С наступлением сумерек в заводском поселке появлялся Дубровский. Однажды он залез по водосточной трубе до самого окна и постучал. Она вздрогнула, но узнала, велела спускаться назад. Они гуляли с ним по безлюдным улицам, уходили к дню и ночью шумящей реке, садились на берегу и подолгу разговаривали о школе, жизни, литературе, обо всем, что приходило на ум и о чем имели свои суждения. А суждения



они имели. Им казалось, что все знают, во всем разбираются, понимают больше других.

В тот вечер они шли в обнимку вдоль берега. Владимир целовал ее в щеку, что-то тихо нашептывал на ухо. Она заразительно смеялась и тоже целовала его. По лугу, как сто и как больше лет назад, тянулись копны пахучего сена. Он повел ее к одной из них, и она согласилась. Не знала, что лет двадцать назад на этом же месте стояла другая копна, под которой нашли приют ее будущие родители.

- Ты необыкновенна и несравненна,- ласково шептал Дубровский, обдавая ее шею теплом.- Только ты способна на большую, настоящую любовь. И я склоняюсь к твоим ногам. Мы будем жить с тобой вечной светлой любовью, как ею жили пушкинские герои, как не дано никому.

И Зоя поверила ему. В ответ ей хотелось найти значительные слова, сделать для него что-нибудь необыкновенное. Добром ответить на добро, лаской на ласку. Она обнимала его, целовала невидимое в темноте обезображенное лицо. От переполнивших сердце чувств каждый мускул ее волновался и трепетал, словно осиновый листок. Она впала в такое душевное состояние, что уже не могла руководить собою, словно находилась в беспамятстве. А когда пришла в себя, поняла, что в ней что-то серьезно изменилось, что она перестала быть девушкой. На первых порах влюбленная Зоя не жалела об этом, даже была рада случившемуся, постепенно открывая в себе все новые, ранее неведомые чувства.

Она смутно помнила, как под утро добралась до дому, завалилась в неразобранную постель, как тело трясло в ознобе, аж постукивали мелкие ровные зубы. В мыслях был ералаш. Во сне являлись кошмары. И только когда проснулась и слегка успокоилась, поняла, что свершилось непоправимое. А если будет беда, терзала она себя, если бросит Дубровский? Что станет со школой, ведь впереди целый год? Как объяснить родителям? Отец может в горячке и прихлопнуть. От предчувств-

твия большой беды покатались крупные частые слезы. И Зоя, не в силах сдержаться, заревела навзрыд, вздрагивая каждой жилкой и нервом, поливая горючими слезами огромную, в розовой наволочке, подушку.

На дачу она не пошла. Целый день не выходила из дома, чувствуя себя крайне разбитой. Не бралась за уборку, не придрагивалась к еде, лишь иногда доставала из холодильника вместительную кастрюлю с клубничным компотом, подолгу пила и вновь валилась в постель, испуганная и до смерти уставшая, словно день и ночь копала огород.

Вечером Владимир позвонил, а когда стемнело, пришел прямо домой. Увидев его, преданно улыбающегося, она хлопнула дверь и бросилась в его объятия.

- Что наделали мы, что творится со мной, скажи?- тревожно шептала она.- Что будет с нами всеми?

- Успокойся, все будет нормально,- целуя ее в глаза, убедительно говорил он.

И она вновь поверила ему, разрешила остаться. Целую неделю крадучись приходил он с наступлением темноты, исчезал под утро. Иногда кто-то звонил в дверь, но они не открывали. Ничто в этом мире их не волновало в такие минуты. Включив на малую громкость магнитофон, они танцевали или сидели в обнимку, слушали записи. Вся неделя для них была праздником.

А праздники долго ожидаются, да быстро кончаются. Их праздник закончился к воскресенью, когда возвратились родители. И наступили для Зои черные будни. Дубровский куда-то пропал. Тщетно искала его пламенных записок в дупле старого вяза, ждала телефонных звонков. Звонили часто, но только матери, а если ей, то подруги, и Зоя с негодованием бросала трубку, недовольная, запиралась в своей комнате, падала на кровать, пустым, невидящим взглядом упиралась в потолок, так лежала часами, безвольная и разбитая, не думая ни о чем. Вскоре она узнала, что Владимир защитил

диплом и уехал по распределению на Дальний Восток.

- Вот почему не пишет. Боится, что письмо попадет папе с мамой,- пыталась его оправдать.

Но месяца через два до нее дошла ошеломляющая весть: Дубровский вызвал к себе сокурсницу и женился. Голова закружилась от этой горькой вести, и Зоя чуть не упала без чувств.

- Что делать, что делать?- лихорадочно спрашивала себя и не находила ответа.

Ей хотелось поехать туда, под Хабаровск, разобраться во всем, доказать, что Владимир необыкновенно хороший и добрый человек, на подобное не способен и скоро должен стать ее мужем. Но как поедешь, кто отпустит из дому? Она встрети-лась с его приятелем, и он чистосердечно признался:

- Да, Владимир женился, но адреса своего никому не дает.

- Не нужен мне адрес!- горько вскрикнула она и пошла.

В себе Зоя быстро почувствовала перемены. Стала покруживаться голова, все чаще подступала тошнота, и она проси-лась выйти с урока.

- Ты плохо ешь,- заметила как-то мать.

- Нет аппетита,- пожалала она плечами.

- Может, сходишь к врачу, я позвоню?

- Нет, я здорова,- успокоила Ирину Ильиничну.

Хотелось ей только лимонов. Она их ела без сахара по не-сколькx штук в день, набивая дикую оскомину на зубах, после чего не могла откусить даже хлеба. Но ничего не могла поде-лать с собой, словно внутри ее поселился большой, ненасыт-ный червяк и требовал, требовал, требовал.

Ложась спать, Зоя все чаще стояла раздетой перед зерка-лом, присматривалась к себе, ощупывала и портняжьим мет-ром измеряла живот, с испугом отмечая, как медленно, но упорно прибавлялся сантиметр за сантиметром.

- Наверное, много ем,- пыталась успокоить себя.- Надо меньше мучного...

И старалась есть меньше, не замечая, как заострились лопатки, как похудела. А сантиметры росли и росли, будь они прокляты! Она все реже надевала джинсы и узкие кофты. Все больше ходила в халате, а в школу - в расширенном в талии платье.

- Что с тобой?- все чаще присматриваясь к дочери, спрашивала мать.

- Ничего. Все нормально,- уверяла та, с большим усилием выдерживая пристальный материнский взгляд.

Та на время успокаивалась. Не до дочери было, муж снова входил в запой, вывести из которых ей стоило большого труда. Ирина Ильинична изнервничалась, издегалась. На производстве дела пошли хуже. Завод не выполнял план по прибылям, не получал премий. Искали виновных, грызлись между собою. Руководство то и дело вызывали вышестоящие инстанции, искали причину, «снимали стружку».

У Зои на лице начали проступать темные пятна. Она мазала их кремом, пудрила, чтобы замаскировать, но все тщетно. Первой хватилась Анна Георгиевна Триндифилинди. Она попыталась поговорить с Зоей по душам, но та отвечала немногословно, больше молчала. Тогда пожилая учительница решила встретиться с ее матерью. Она позвонила ей, попросила зайти.

- Что-то случилось с Зоей,- тревожно начала она, не успев поздороваться с Ириной Ильиничной.- Всегда собранная, серьезная, она стала растерянной, уроков не слушает, сидит с пустым взглядом, думает о чем-то далеком, своем. А ведь это десятый класс. Нужно жать на все педали, чтобы получить хороший аттестат, поступить в институт. Убедительно прошу вас, хотя знаю, вы очень занятой человек, поговорите с ней по душам, разберитесь во всем, помогите дочери, спасайте ее, пока не поздно.

Придя домой, Ирина Ильинична внимательно пригляделась к Зое и, наконец, все поняла. Ужас и страх охватили ее. Все еще не веря в свое предчувствие, она завела дочь в комна-

ту, усадила напротив. Разговор был тяжелым. Зоя упорно молчала, отворачивала лицо, порывалась уйти.

- Хватит крутить хвостом!- рявкнула Ирина Ильинична.- Говори начистоту, пока не узнал отец. Иначе беды не миновать. Может, еще не поздно. Хотя когда ему узнать за пьянкой?

И Зоя не выдержала, бросилась к матери на грудь, рыдая, выдавливая отдельные слова, их обрывки. Мать поняла, что вся эта история зашла далеко, и сама зарыдала от вновь свалившегося на нее горя, от жизненной безысходности и злой судьбы.

На другой день, припудрив вокруг глаз после бессонной ночи, еще надеясь незаметно выйти из позорного положения, Ирина Ильинична потащила дочь по врачам.

- Ничего нельзя сделать,- сухо говорила опытный гинеколог, будто ей было жалко слов, и будто щёлкала кнутом,- четыре месяца, не меньше. Надо пожалеть будущее девочки, помочь ей сейчас добрым словом.

Когда вышли на улицу, в глазах Ирины Ильиничны качалась земля и, ломаясь на части, падало небо. Сама она чуть не свалилась в кювет, но вовремя поддержала дочь. Страшное горе обрушилось на нее. «Уж лучше бы мне оказаться на ее месте,- в отчаянии думала мать.- Что станет с ней, какое будущее ее ожидает?»

Вскоре Ирина Ильинична взяла себя в руки. Снова напряженно, до боли в висках думала день и ночь, как выйти из щекотливого положения. Вспоминала народные средства, ходила к старухам-знахаркам. Приносила какие-то травы, поила дочь разными настоями.

Вечерами наливала в ванну горячей воды, силой затаскивала Зою.

- Парься до изнеможения, может, и выйдет. Кипяток не закрывай, терпи, если хочешь себе помочь.

И дочь терпела. Тело становилось податливым и безвольным, словно постепенно сваривалось, как мясо на борщ. Иногда мутилось сознание, и мать вытаскивала ее, укладывала в пос-

тель, заботливо укрывала двумя одеялами, садилась в ногах, подолгу рассматривала, словно видела впервые, тихо и скорбно плакала, в душе умоляя Всевышнего - помочь ее горю.

Но природа сильна. Проросшее в благодатной почве семя ломится даже сквозь камни. Наконец неладное заметил отец. Разговор был крупным, с руганью и слезами. Он порывался побить дочь ремнем, но между ними непробиваемой стеной становилась массивная мать.

- Ты во всем виновата со своей дурацкой работой! А мы тут все брошены, как сироты!- кричал он в бешенстве.- Все тебе мало власти, а семья, а дети?! Оpozорились на весь город...

Он вновь запил, еле приплетался домой. Иногда даже ночевал, неизвестно где. А в семье шла подготовка к встрече нового пополнения. Жена с дочерью шили распашонки, одеяльца, покупали пакеты, кровать, ходили на консультации. Зоя перестала бывать в школе, к экзаменам готовилась самостоятельно. В середине апреля, под утро, вдруг стало накатывать внизу живота, и она, стиснув до боли зубы, обняв болящее место руками, мучилась и стонала. Мать быстро позвонила в «скорую».

- Да, начались схватки. Ждем...

Роды были мучительно трудными. Более суток маялась Зоя. Вокруг нее все это время хлопотали врачи.

- Узкий таз,- констатировали они.

Она родила в полдень. Измученная тяжелым появлением девочка даже не плакала, и акушерка похлопала ладонью по ее жидкому красному заднику. Два дня не приносили ее кормить, усиленно боролись за начинающуюся жизнь. Полмесяца пролежали они в роддоме. А когда выписали, их приехали встречать мать и отец. Скрепя сердце после крупного разговора с женой согласился на это Виктор. Он принял от нянечки пакет с внучкой, посадил жену и дочь в машину, бережно передал укутанную с головой девочку, осторожно тронул «Жигули».

Дома новорожденную развернули, и он с любопытством разглядывал красное сморщенное, словно старушечье, личико,

мутно-голубоватые, непонимающие глазенки, белые, еле видимые волосенки и не сознанием, а шестым чувством почувал в ней что-то знакомое и родное. Но чувства этого не показал. Стоял задумчиво-недовольный, встревоженный и уставший. Потом подошел к празднично накрытому столу, налил полный фужер водки, опрокинул одним махом, хрустнул соленым огурцом и пошел курить на балкон. Тревожно и смутно было на душе молодого деда. А на улице ломился теплом апрель. Набухали почки деревьев, готовые вот-вот прорваться. По пригоркам зазеленена молодая трава. Природа возрождалась и обновлялась, говорила о том, что жизнь на земле продолжается.

## 15

Девочка, в честь бабушки названная Иринкой, росла хиленькой, часто болела, и Ирина Ильинична с Зоей подолгу возились с нею, мотались по врачам, консультациям. Дед все еще был настроенно-недовольным, и машиной правила сама бабушка, правила лихо, по-мужски, словно занималась этим всю жизнь. Девочку пичкали лекарствами, настоями трав, и она стала помаленьку поправляться. Все чаще тянула ручонки к бабушке, улыбалась, и та была от нее без ума, баловала сладостями и подарками, думала о ней с утра до вечера, все больше забывая о работе. Чтобы выкроить лишнее время, раньше положенного покидала кабинет, с порога кинув заместителю:

- Пошла по цехам...

Валентина Павловна понимала, ибо сама нередко пользовалась этим надежным приемом, когда нужно было обежать магазины или сварить для домашних обед.

- Ясно, Ирина Ильинична,- угодливо говорила она, ехидно посмеиваясь в душе.

Как назло, дела на заводе пошли хуже. Коллектив коробило. Не выполнялись поставки, план по прибылям. Соцсоревнование повелось формально. О премиях позабыли. Все больше

появлялось недовольных, увеличились текучесть кадров, жалобы. Словно джин, они вдруг вырвались на свободу.

- Вот тебе и постановление по работе с жалобами,- недовольно ворчала Загудаева, не успевавшая рассылать ответы.- Кому оно на руку? Явно, кляузникам.

А вскоре случилось самое страшное. Никто не знает, как Чивилиха, маленькая, злая и кособокая старуха, откопала на каком-то телеграфном столбе или заборе это злосчастное объявление о продаже дома Екатериной Дмитриевной Загудаевой. Бережно отклеив его, она на всех порах помчалась в исполком.

- Я говорила, предупреждала!- брызгая слюной, кричала она в кабинете председателя.- Не прислушались, дом записали на мать и продали. Мать к дочери ушла, а денежки уплыли. В карман сына со снохой. Вот вам без очереди квартиры, машины и гаражи.

- Успокойтесь, пожалуйста, разберемся,- пытался прервать ее Пуделя, но Чивилёва не хотела и слушать.

- Нечего меня успокаивать, опять замнете, растянете резину. Завтра в область поеду, в Москву напишу.

С утра до вечера рассказывала она у подъезда, как разоблачила махинации Загудаевой. Находились сторонники, люди недовольные, злые, обиженные когда-то. И вновь посыпались по всем инстанциям коллективные письма и жалобы. Вновь приезжала Жарилова, встречалась с людьми, уговаривала, но в этот раз безуспешно.

- Разберитесь немедленно и сделайте оргвыводы!- вызвав к себе, сказал ей сердито председатель облсовпрофа.- Хватит травить гусей.

И Дарья Ивановна сразу же помчалась на завод.

- Наворочали вы с Загудаевой,- затараторила, присев к столу Алексеева.

- А вы не наворочали?- обиделся парторг.- Не с вашего ли согласия ей дали квартиру?



- К сожалению, с нашего, но по просьбе администрации предприятия. Давайте решать, что с ней делать. Совпроф не доволен.

- Назначили мы комиссию. Скоро заслушаем на заседании.

Руководителем комиссии поставили начальника отдела кадров Клопова как человека принципиального и серьезного. Помощником – Сколоцкую, хотя она упорно отказывалась, мол, неудобно, вместе работают. Комиссия бурно взялась за дело, поехала разбираться на место.

Заседание парткома состоялось через несколько дней, когда была подготовлена справка. Секретарь предоставил слово Клопову. Николай Николаевич добросовестно доложил о сути дела, повторив несколько раз наставительным голосом:

- Факт, вскрытый жалобой пенсионерки Чивилёвой, полностью подтвердился. Домовладение Екатерины Дмитриевны Загудаевой продано. Сама она перешла жить к дочери, где и прописана по паспорту. Дело запутанное, и давайте подойдем к нему по-партийному.

- Валентина Павловна, что-нибудь добавьте?- спросил Алексеев.

Заместитель председателя профкома сидела побледневшая и смущенная. В ее воображении вновь замаячило освободившееся кресло председателя, которое не раз почему-то незаслуженно обходило ее. Оно притягивало и звало. Но ей почему-то вспомнилось время, когда она пришла в электроцех. Старые электромонтеры, охочие до всяких шуток, с серьезным видом послали ее с огромным ведром к главному энергетiku.

- Попроси у него жижи на триста восемьдесят вольт.

Не подозревая подвоха, она вошла в кабинет главного, представилась.

- Вам чего?- спросил тот.

- Ведро жижи на триста восемьдесят вольт.

Тот ошарашено посмотрел на нее, потом вдруг улыбнулся, подавил на лице улыбку и серьезно сказал:

- Передайте, что есть только на двести двадцать, да и то полведра.

Когда она вышла, он дал волю смеху, хохотал до слез. Потом снял телефонную трубку и отругал начальника цеха:

- Старички-то издеваются над молодежью, а она и не знает, что жижа – электрический ток. Вот так спецы у вас.

Второй раз она оплошала, когда ее спросили о силовой линии: «Что это за провода?»

- Фаза, земля и нуль,- не задумываясь, отчеканила она, и бригада покатила от смеха.

Чтобы не попасть впросак, не подвести лишним словом Ирину Ильиничну, она отказалась от выступления и лишь скромно промолвила:

- Мне нечего добавить. Дом был личной собственностью свекрови, и она имела полное право продавать или не продавать его. Нарушений я тут не вижу.

Валентина Павловна решила поддержать Загудаеву. А сама Ирина Ильинична, растерявшись, почти ничего не сказала, лишь смотрела удивленно-молящим взглядом, словно видела этих людей в первый раз.

- Кто хочет высказаться?- обвел строгим взглядом присутствующих Алексеев.

Сперва несмело, потом один за другим стали подниматься желающие. Говорили одни за нее, но больше против. Слово попросил старый бригадир обмоточного цеха Каширин. Грузно поднявшись, он некоторое время молчал, прокашлялся в лопатообразную ладонь и начал:

- Известно, что рыба портится с головы. Так получается и у нас. Председатель профкома строит себе особняк, стряпает липовые документы на свекровь, получает без очереди квартиру, продает дом, покупает машину, строит гараж. Все логично, но бессовестно. Тысяча человек годами стоят в очереди, ждут, скрепя сердце, а коммунист Загудаева, один из

руководителей предприятия, имея свой дом, получает благоустроенную квартиру, будто Советская власть дойная корова. У вас на первом месте личная выгода, корысть, а не государственные дела. Поэтому предлагаю Загудаеву исключить из членов КПСС.

Он сел на место, но все сверлил Ирину Ильиничну недовольным взглядом, как дрелью, словно она приходилась ему давним врагом. По кабинету прошел шумок, парткомовцы заволновались.

- Не виновата она, чего вы?- заговорили шепотом и в полный голос.

- Виновата! Что станет, если каждый таким путем пойдет?- жердиной вздыбился над сидящими шофер Евсеев.- Я семь лет жду очереди, с детьми таскаюсь с квартиры на квартиру. Чем же Загудаева лучше меня? Ее непременно нужно наказать. Предлагаю строгача с занесением.

Спорили долго. Последним выступил Алексеев.

- Конечно, с собственностью Ирины Ильиничны ясно не до конца,- поднявшись, устало произнес парторг.- Если это махинация, то своему посту она не соответствует. Если нет, то мы незаслуженно обидим человека, который ни сил, ни здоровья не жалеет для производства. В какой-то мере виновата администрация и я в том числе, ведь по нашему ходатайству ей дали жилье. Поэтому прошу не пороть горячку. Пусть компетентные люди, отраслевой обком профсоюза разберутся – место ей тут или нет.

Поступило два предложения: исключить Загудаеву из партии и объявить ей строгий выговор с занесением в учетную карточку,- закончил он выступление.- Кто за первое, прошу голосовать. Раз, два... шесть человек. Кто воздержался? Двое. Кто за второе? Восемь. Большинством голосов принимается второе предложение.

Ирине Ильиничне стало страшно. В ее голубых глазах качнулся полированный стол – взлетная полоса, качнулись тем-

но-кроватьные шторы на окнах, и она заплакала от бессилия и обиды, словно принародно оскорбленная и униженная, словно незаслуженно ударили ее по лицу, ударили больно, немилосердно. Не ожидала она такого. Подумала, что пришел крах. За что? За то, что столько лет не жалела себя, тянула за троих, не зная покоя и выходных? «Да где справедливость-то, люди?-хотелось крикнуть ей во всю мощь своих легких.- Вот тебе и к моим поступкам не придаться, как к гимну! Кончился твой гимн, нашлись мастера, придрались. Вот тебе и нет безвыходных положений! Перечеркнуто все одним махом. И кто перечеркнул? Те, кому вчера выдавала путевки в санатории, талоны на ковры, ордера на квартиры. Где совесть-то у людей?»

На нее смотрели с сожалением и ехидством: отгарцевала председательша, подбородок какой нашла! Привыкла в президиумах восседать, теперь пойдешь в цех да повкальвай, спесь-то быстро собьешь.

Персональное дело слушалось последним, и люди, не то торопясь домой, не то совестью решения, быстро покинули кабинет. Они остались вдвоем с Алексеевым. Он медленно подошел к ней, отечески положил на плечо руку.

- Успокойся, Ирина. Если мы не правы, нас поправит горком. Если правы – нечего обижаться. Тебе пошли навстречу, а ты подвела коллектив.

- За что так жестоко, Александр Михалыч?- взмолилась она, заплакав еще сильнее.- Для меня работа, профком – моя жизнь, и другого я не хочу. Столько сил отдать ему. Забыла семью, детей...

- Такова уж наша работа. О таких не поют, как говорится в песне. Поезжай к Жариловой, в совпроф, что-нибудь придумают. Без работы не останешься.

А позор на весь завод, на весь город, мрачно думала она. Пальцем будут показывать на нее и недруги, и друзья. Много раз ее обижали в жизни, но так, как сейчас, лишь однажды. Она четко помнила тот случай в детдоме. После гибели отца мать запила.

Где-то пропадала месяцами. Но однажды она появилась с гостинцами, принесла леденцов и небольшую красивую куклу. Ира кинулась к ней в объятия, и эта еще привлекательная женщина, от которой пахло вином, плакала, как дитя, извинялась.

- Ты прости меня, дочь, непутевую. Со старой жизнью покончено. Теперь начнем с тобой вместе новую. Завтра я заберу тебя навсегда. Жди...

Она ушла по той же дороге, что и пришла. Ира долго смотрела ей вслед, пока от перенапряжения не зарябило в глазах. Назавтра весь день прождала, время от времени закладывая за губу леденец. Мать не вернулась ни завтра, ни послезавтра. Ушла навсегда. Теперь навсегда от нее уходила любимшаяся работа. Это показалось такой же трагедией, как уход матери.

Две недели оставалось до отчетно-выборной конференции. И снова в управлении разговоры.

- Старого председателя оставят?

- Кого, Загудаеву? Все ей, крышка. Проворовалась с головой. Под суд ее надо, мошенницу. Квартиру получила, имея свой дом, машину вышибла, дачу построила, гараж. Чего еще? И совесть знать надо.

А Ирина Ильинична провела эти две недели, словно в бреду. Нет безвыходных положений, вновь говорила себе длинными, бессонными ночами, до боли напрягая мозги и ища выхода. Она кинулась к Жариловой, но та была где-то в области. Поехала в облсовпроф, председатель улетел в отпуск.

- Что делать, как выйти из положения?!- заламывала она себе руки, не находя ответа.- Вот и стала большим профсоюзным лидером!

Наконец отыскалась Дарья Ивановна, строгая, в маленьких очках с золотой оправой, недоступная и неприступная.

- Что делать, Дарья Ивановна?- бросилась она к ней, но та холодным жестом руки остановила ее.

- А я чем помогу? Сама в таком положении могу оказаться в любую минуту. Такой разнос за тебя получила! Такая уж у нас работа.

Это она так с любимым председателем, которая не раз весь обком, всю отрасль выручала?! Они просят, когда им надо. А на твои просьбы плюют, свою шкуру спасают, мрачно и зло думала Загудаева. Уехала опустошенной и ни с чем. А вскоре выступила на конференции с отчетным докладом. На ней работа профкома признана удовлетворительной. Но в списке тайного голосования ее фамилии не оказалось. А председателем избрали Сколоцкую.

## 16

Снова Ирина Ильинична на прессовом участке, правда, не мастером, а начальником. Сдержал слово Алексеев. В черном сатиновом халате с логарифмической линейкой в верхнем кармане, она спешит туда-сюда по цеху, наблюдает процесс упаковки, смотрит за техникой безопасности, запыленностью, технологической дисциплиной. К ней обращаются рабочие, мастера, и она терпеливо объясняет им что-то, дает указания, просит цифры отгрузки, докладывает технологом, все делает так привычно, словно и не отдавала много лет профкому. Но на душе ее беспокойно, тоскливо. Как волны на стремительной Рябинке, накатывает обида. И перед ней вновь проносятся эти нелегкие и тревожно прожитые годы. Видится Васькин суд и приговор к условной мере наказания, вспоминаются предродовые мытарства с дочерью и позор. Не лучше и с мужем. Пока Ирина Ильинична металась по инстанциям, находила выход из сложного положения, в которое попала неожиданно-негаданно, Виктор совсем отбилась от рук, пил два месяца беспробудно. Ругала нещадно, но все без толку.

- Свинья ты!- сказала в сердцах.- Опять за свое? Достукал-

ся – вылетел с работы. По статье за прогулы! Это лучший-то слесарь и бригадир! Вместо воспитания детей ты их разлагаешь. Господи, за что кары такие? Теперь и заступиться стало некому. Ты нам такой не нужен. Думала, жизнь-то длиннющая. Дико ошибалась, все уже позади – слава, достаток и молодость. Серой тенью от тревожного сна проскочили те годы. Бабка ты старая, Ирка, бабка...

В тот вечер Виктор последний раз в жизни заглянул в «Голубой Дунай». Так же, как раньше, играла музыка, за столами сидели знакомые мужики. Говорили, пили и спорили. Сел за отдельный и сделал заказ. Его стол быстро обрастал любителями выпить на дурняка. Появился и Сашка Крохалев с известным на всю округу алюминиевым костылем.

- Выпей для храбрости, а то снова прикидываешься инвалидом,- предложил Загудаев.

Сашка недовольно присел, опрокинул стакан, отломил сухую корочку хлеба, пожевал брезгливо, опрокинул еще. Лицо его было злым и нахальным.

- А ты-то не прикидываешься, бывший бугор?- заговорил он, глядя в глаза Загудаева.- Отбригадирили и отпредседательствовали вы. Опустились на грешную землю, а то все в облаках воспаряли.

- Ты что, офонарел? Пойди лучше выпить возьми на прощание, хватит пить на ширмака.

- Уже и рубля не имеешь? Раньше швырял деньгами.

- Да, брат, не имею. Скоро вот поступлю работать, тогда рассчитаюсь.

- Кукиш вот выкуси, председательский муженек. Отбоговали вы, и жена твоя отгарцевала. Квартиры им, дачи, машины! Я за производство пострадал, а много машин мне дали?- говорил он нарочито громко, и люди стали прислушиваться.

Загудаев долго смотрел на него, будто хотел понять, о чем толкует Крохалев, не шутит ли старый приятель, находясь под банкой? И вдруг понял: не шутит. Кровь прилила к его устав-

шему, изможденному лицу. Он медленно поднялся, схватил со стола Сашкин батог, замахнулся над головой.

- Ты жену мою не трогай, мразьё, она святая. Если хочешь, чтоб не расколел калган, пей за ее здоровье. Громко скажи на весь зал. Ну-у...

Он сильней замахнулся, и Сашка поднял стакан, заплетаясь от страха, заговорил:

- Её здоровье, Ирины Ильиничны-ы...

- Почтенной, святой Ирины Ильиничны,- потребовал бывалый слесарь,- и громче, правдивей!

- Почтенной, святой Ирины,- затараторил Крохалев.

- А теперь в пляс. И чтобы до седьмого пота. Настя, «цыганочку»...

Поставили пластинку с «цыганочкой», и Сашка, боязливо косясь, вышел на середину зала, захлопал ладонями по ногам в такт мелодии, затопал неуклюже каблуками, как верблюд, все больше набирая темп.

- Не туфти-и!- заведясь, кричал Виктор, и Крохалев, бледный от напряжения и испуга, старался вовсю.

- Вприсядку! На то и другое копыто!- бешено ревел Витька с занесенным над Сашкиной головой батогом.

И тот старался, приседал на левую и правую ногу, становился на карачки, прыгал козлом, забыв про полученную на производстве инвалидность, только иногда умоляюще и несмело попискивал комаром:

- Отпусти душу на покаяние...

- Я те отпущу! Костыль-то быстро о дурную макитру переломаю.

Крохалев мгновенно отрезвел. Пот заливал ему глаза, ручьями тек по спине, капал на пол. Ноги и руки дрожали от испуга, нервно подергивалась голова. Ему казалось, сердце вот-вот разорвется от перенапряжения. Он чуть не плакал от стыда, унижения и обиды и с ужасом замечал, как вокруг них росла толпа любопытных. Большинство из них, схватив-



шись за животы, бешено хохотали и пьяно брюзжали.

- Закалялся старый козел чужую капусту жрать! Дай ему, Витя, вкрути третью ногу, чтоб не паскудил хорошим людям.

- Вот так кале-ека, вот так инвали-ид!- доносились до него издевательские голоса.- Лучше братьев Гусаковых наяривает.

- Отпусти-и душу на покая-ание,- в последний раз простонал Крохалев и, не удержавшись, завалился плашмя.

Загудаев взял двумя руками батог, сдавил, и он вдвое согнулся. Отбросив батог, он подошел к лежащему Сашке, схватил за шиворот и штаны, ударом ноги распахнул дверь и выбросил со ступенек.

Зал ахнул от неожиданности, думая, что Крохалеву пришел конец. Но тот в мгновение ока вскочил и дал такого стремительного дёру, что погнавшаяся, было, за ним беспризорная чумазая болонка быстро отстала.

- Молодец, Витёк, быстро вылечил инвалида!

- Вот он, чисто святой, паломничество скоро к нему начнется,- смеялись довольные мужики.

Загудаев еще посидел за столом. Ему стало лихо, и он снова выпил. А когда на землю опустилась темнота и в небесной дали засветились колючие огоньки звезд, он вышел на улицу, тихо побрел переулком, запинаясь за невидимые кочки, то и дело хватаясь за шершавые доски забора. На него изредка взлаивали собаки, но он не обращал внимания. На душе было горько и одиноко. Вспомнился сегодняшний шумный вечер и выкинутый со ступенек Крохалев, вспомнились дети, жена, и он вдруг сравнил себя с Сашкой.

- Вот так же ты отплясал свое, и теперь никому не нужен,- с сарказмом бормотал Загудаев.- Я буду пить за ласковую Мэри...

Он уже протопал по лестнице, поднялся на второй этаж, достал ключ от квартиры, потоптался, но не открыл.

- Кому – дочке, внучке, жене нужен такой бродяга и выпивоха? Хочешь опять неприятность, стать виновником скандала? Будь хоть когда-то мужчиной...

Он тихо, чтобы не топтать на гулких ступенях, спустился, прикрыл двери подъезда, глянул на свой освещенный из кухни балкон и нырнул в темноту. Долго брел до гаражей, открывал и закрывал массивную металлическую дверь, потом распахнул дверцу машины. Печально осматривался вокруг, словно видел впервые или в последний раз. Завел двигатель.

- Прощайте, родные стены, мы свое отплясали. С рассветом или раньше поедем в другие края,- сказал на прощанье.

Привычным движением закрыл дверцу, скорбно подумал о чем-то своем, тяжелом, наболевшем. Его продрогшее на вечернем морозце тело обдало мягким теплом выхлопных газов. Он знал, что они беспощадны, не как жена, не простят ошибок. И на душе вдруг стало веселее. Он даже собрался включить радиоприемник, но рука вдруг ослабла, а голова медленно опустилась на руль. Намаевшись за последние дни, он засыпал. И видел последний в этом городе сон. Они шли с Ириной берегом стремительной Рябинки. Рядом, по всему лугу, шаловливыми телятами разбежались копны только что сметанного сена. Он держал ее за упругую талию и шептал ласковые слова. Она улыбалась и тоже шептала что-то ласковое, душевное. Потом копны кончились, и не стало Ирины. А он все шел, шел, шел, увлекаемый шумным потоком с детства любимой реки, и не было видно конца его трагического пути.



## ТРИ ФЕДОРОВИЧА

(Из повести «НАШ БРАТ ГАРАЖ»)

Их всех троих звали Иванами, а величали Федоровичами. Федоровичами звали чаще, особенно в последние годы, когда ушли на пенсию. Возраста почти одного – разница лишь в год – два. Они и работали всю жизнь на одном предприятии – кирпичном заводе.

Самым старшим негласно считался Брюллов, когда-то ходивший в заводских чинах, которого иногда называли художником и просили устроить Последний день Помпеи. Он был небольшого роста, кругленький, пышненький, как свежий пончик. Глаза то доверчиво-голубые, то недовольно-синие, смотря на настроение. В пятидесятые годы, когда приехал после института на завод, сколько девок по нему сохло! А его сразу – в заместители главного механика. Голова... И говор российский – не то владимирский, не то ивановский – протяжно так, все на «о». И присказка: «Однажды отец Онуфрий...»

- Пойдем, погуляем по парку-то, - брал с места в карьер.

И шли, и гуляли. И плакали потом которые, поверившие искреннему голубому взгляду, будто бы шедшему из самой глубины души, только их поезд уже ушел. Вернее, пришел поезд с женой Брюллова Полиной Михеевной, настоящей красавицей, учившейся на курс ниже Ивана. Самой красивой парой заслуженно считали их на заводе, а этого в южном городе, где каждый третий красивый, добиться почти невозможно. Полина Михеевна, чернявая, кудрявая, с тугими икрами точеных ног, имела и отточенный язычок, который мог любому дать отпор и взять в оборот, если нужно, самого Ивана Федоровича, и он нехотя отнекивался:

- Ну что ты, мать, уж ла-адно... Успокойся, пожалуйста.

Красота и острый язык жены отпугивали от Брюллова значительное число воздыхательниц. Но были среди них и стои-

чески крепкие, убежденные в том, что природа создана для всего общества, а не для отдельно взятого индивидуума, бессовестно притязующего на лучшие произведенные ею экземпляры.

- Я вам, сучки мокрохвостые, перья-то быстро повыдергиваю!- в штыки встречала стоических соперниц Полина Михеевна, и глаза ее розовели беспощадным блеском, наполнялись вспышками неумолимых молний.

Но и среди кубанок находились смельчаки.

- Видалы мы всякую кацапню, яка бурове разную чертовню та вышлѣпывается, як вошь на гребешку,- певучим голосом возражали ей.

И она на время замолкала, пережевывая местное наречие, а ее соперницы, подумав, что срезали наповал, дружно хохотали. Но та вскоре приходила в себя.

- Ржѣте, как сивые кобылы на овѣс, дурехи армавирские. Посмотрим, как заржете, когда он жеребят вам настрогает. Это его хлебом не корми.

Не мытьем, так катаньем отшивала она навязчивых, как мухи, бабенок. Пробовала урезонить и муженька. Но Иван Федорович обидчиво выкатывал из орбит голубые невинные глазки:

- Что ты Поля, выйдем в поле, сядем в копны свежие, мы ведь оба нежные. Ты уж не обижай незаслуженно-то, однажды отец Онуфрий... Как мне левака ловить, когда работы на заводе непочатый край, еле до кровати добираюсь?

- А бабья - початый край? Прикинулся ангелочком, а чуть смазливая попадетя, так сразу и зенки пялишь. Всех сучошек твоих перехлещу!

- Кто с такой красатулей сравнится, Полиночка моя – мягкая периночка, Поленька, Польшик – славненький пончик! И жестокой не будь, хоть на племя оставь.

- Молчи уж, бесстыжие глаза,- начинала сомневаться она, сбавляла напор и ластилась теплым котенком, мол, разве поймешь этих коварных и хитрых мужчин.

Так вот и жили. Не заметили, как вырастили детей, как разъехались они по белу свету, нарожали им внуков, как остались одни-одинёшеньки – дед да бабка. Не стало ни работы, ни друзей, а родни тут и сроду не было. Только и радости, что пригнать из гаража машину да съездить на дачу. Но это летом. А зимой хоть помирай. На лавочке у подъезда долго не посидишь. По телевизору американские полуфабрикаты да порнуху показывают. Хваленые-перехваленые недоноски, ничего общего не имеющие с искусством. Да и откуда ему быть, откровенно удивлялись инженеры Брюлловы, когда у американской нации даже нет своего языка, родовых корней на земле, где проживают? Постояльцы они на ней. Захватчики. А что от захватчиков ожидать – оскверняй и разрушай весь мир, бери с Мамаю пример.

- Разве есть у них хоть один фильм, чтобы запомнился так, как «Судьба человека», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Калина красная»?

- Куда-а им с грывей! Из всех фильмов глухонемого чудика Чарли Чаплина запомнили, название «Серенада солнечной долины» да «Судьба солдата в Америке», которым по пятьдесят-семьдесят лет.

- А как пропагандируют их наши подонки, поют осанну! Запретса необразованное быдло с ногами на стол, а наши сраные умники, которые без родины в душе, им рукоплещут. Одни выражения сыплются: «трахнуть», «сука», «задница». Слов меньше, чем у Элочки-людоедки. Развалили нашу страну, теперь за американскую возьмутся.

- Какая там культура, когда собрались искатели приключений, авантюристы всех мастей?

В этом чета Брюлловых была единомышленна, как два горба у одного верблюда. Но всевозможные дискуссии заставляли шевелиться мозговые извилины и думать, тратить лишнее время и нервы. Поэтому Иван Федорович, чтобы не отмерли инженерские знания и способности, свободное время старался проводить

в гараже. При постройке его он, как говорится, для усушки-утруски прирезал с одного и другого боков по погонному метру, настелил там стеллажей, разложил на них всевозможные детали, запасные части, масленки, фильтры, насосы для прокачки масла, мовиля, съемники и кронштейны, старые карбюраторы и новые подфарники. Прикупил крестовин, шлангов, вкладышей. И по силе возможностей претворял инженерские знания в жизнь. Без работы не сидел: то карбюратор регулирует, то бензонасос прочистит, подшипники поменяет.

В гараже он не один автомобильный мастер. Но работ при русском сервисе хватало на всех, и открытого соперничества не было. Мелентьев был силен в электрической части, Саблин в ходовой, а Степан Галдун, этот маленький шибздик с хохлацким говором, выправлял кузова, немного варил сваркой, а иногда и варил самогон, красил кузова, когда не к кому было обратиться. Надо сказать, нередко аляповато красил, когда был хорошо подшофе, когда квасил. Да что с него возьмешь – Галдун есть Галдун! Не столько дела, сколько крику. Брюллов, не видя здоровой, большой конкуренции, считал себя до мозга костей «моторником», то есть спецом по моторам. Хвастался по пьянке, мол, не одну собаку вместе с шерстью на этом схавал. И находились, что верили. Особенно тоже по пьянке.

Правда, «под этим делом» все гаражные подпольные и легальные мастера себя прихваливали. И чем больше были «под этим делом», тем больше хвалили и за глаза посмеивались над другими, называя их чуть ли ни дураками, что как легко говорилось по пьянке, так легко и прощалось по трезвости.

А над всеми ими смеялся и трезвый, и пьяный только один человек – Игорь Уржумцев.

- Когда купил тачку, еще ни в чем ни буб-бум. Включаю первую скорость – она вдруг задергалась, запрыгала, как застоявшийся жеребец. Приезжаю к одному – не знает. Другой – то же самое. Третий в карбюраторе час копался. Четвертый – Мишка Степухин, автотехникум кончил, начальником гара-

жа работал, целый час настраивал карбюратор, а «Лада» как дергалась, так и дергается, словно нервная невеста. Поехал в автосервис. Пацан лет восемнадцати – двадцати только глянул на дело и попросил задрать капот.

Оказывается, бегунок сгорел. Намотал он проволочку, и я поехал, как ни в чем не бывало.

И у кума ведь консультировался, он всю жизнь шоферит. А пацан-салажонок нос всем мастерам утер.

- Быва-ет и на старуху проруха,- потупив взор, оправдывались мастера.- Она ведь скотиньяка бессловесная, другая вообще с таким кандибобером, як хреновая жинка.

- Сами вы мастеришки хреновые да с кандибобером. Только цену себе набиваете,- откровенно смеялся Уржумцев. Но на него не особо сердились. Журналист. Может так пропесочить, что чертям будет лихо. Хотя порой и оправдывались.

- У меня начальник ОБХСС Дермонянц постоянно ремонтируется,- хвастал Брюллов,- и никаких претензий.

- Какие претензии, коль ты ему на ширмака ремонтируешь? Небось, еще своим самогончиком угощаешь?- не сдавался Игорь Сергеевич.

- Да, крепко поддали вчера, не помню, как домой дошел.

- То-то и оно. Такие товарищи это любят. У него и фамилия произошла от дерьмового корня. Не то армянин, не то еврей, не поймешь. Еще и приерывивает. Схлестывались мы с ним однажды, хотя я его и в глаза не знаю. По телефону лишь говорил. Очень соответствует своей фамилии.

- Расскажи!- просили мужики.

- Нет, ребята, подальше от дерьма – вонять меньше будет,- запирался тот и уходил от греха подальше.

Но как бы там ни было, клиенты у инженера Брюллова не переводились, что позволяло ему жить безбедно, сделать кое-какие накопления, содержать на ходу своего голубого «жигуленка», частенько задерживаться в гараже с друзьями и нередко приходить домой на хорошем взводе.

- Не бранись, Поинка,- подняв указательный палец, философски заявлял он.- Мы еще все моём, и это самое моём. А однажды отец Онуфрий...

\* \* \*

Иван Федорович Хрупеньков и с большой натяжкой не соответствовал своей фамилии. Росту в нем было не менее одного метра и восьмидесяти сантиметров, а весу уж никак не менее девяти с половиной – десяти пудов. Семнадцатилетним мальчишкой он захватил конец войны, срочную дослуживал в Германии. К концу сороковых Хрупеньков вырос в ладного и высокого парня с крутыми плечами и увесистыми кулаками, с густым, выющимся чубом на широкой, словно колхозная тыква, голове, на которого с интересом заглядывались породистые арийки и прочие фрау, встречающиеся в небольшом захолустном городке Ратенове или Восточном Берлине, когда ему приходилось бывать там по делам службы или спорта.

Дело в том, что еще юнцом, учась в строительном ФЗО, Ванюшка приглянулся тренеру по боксу. Длиннорукий, крепкий, с хорошей реакцией и упругой мускулатурой, он быстро научился держать удары, бить коротким крюком и доставать длинным ударом, вкладывая в кулак быстроту мышц и вес всего тела. При этом крепко стоял на ногах, уходил в стороны и подныривал под удары соперников.

Спортивный рост Хрупенькова был не по годам стремительным. Ему прочили судьбу Николая Королева, который был его величайшим кумиром, но война, жизнь впроголодь внесли свои беспощадные коррективы. Какой-то важный момент был упущен, и к боксу он вернулся уже после Победы, в сорок пятом, служа в Ратенове, учась в школе мастеров в Потсдаме. Его тренер, Михаил Мухортов, готовил воспитанника на совесть и гонял на тренировках безжалостно. Недаром Иван сперва стал чемпионом оккупационных войск в Герма-



нии в полутяжелом весе, а в пятьдесят первом и в тяжелом.

Демобилизация, строительный техникум, работа на стройке отнимали много его сил и времени. Стремление выжить, устроить судьбу заставили расстаться с мечтой о будущих лаврах, стать сильнейшим в Европе и на Олимпийских играх. Но несбывшиеся мечты не сделали Ивана недовольным на все и вся фрондером или филистером – самодовольным человеком с обывательским кругозором. Свои знания и любовь к боксу он передавал многочисленным ученикам и юным дарованиям, многие из которых стали чемпионами края, Юга России и не только Юга.

Но это после работы. А рабочее время Иван Федорович Хрупеньков отдавал строительству новых цехов и жилых домов, ремонту профилактория, детских садов, спортзала, стадиона, парка культуры и отдыха, магазинов и всего прочего, без чего невозможен быт трудового человека, и что стояло на балансе родного предприятия.

В свободное время он любил поохмить, побалагурить, слушать и рассказывать анекдоты, которых знал больше всех и лучше, чем таблицу умножения. Не дурак был посидеть в теплой компании, крепко выпить и закусить, «чтобы черти на том свете боялись», как он любил выражаться в минуты благодущия. Насчет барана, как знаменитый лесковский Левша, не спорил, что съест, но половину в один присест, пожалуй, осилить мог и уквасить полчетверти самогону на запивку. Да мужик он русский, ивановский, чему тут удивляться? Напоить его допьяна считалось делом бесполезным и накладным. А поить волей-неволей приходилось, ибо стройматериалы при любых властях и формациях котировались жизненно необходимо и высоко. Национальной и международной валютой в этом вопросе был пузырь, наполненный светлой, как слеза, влагой. Одному нужна была краска с бирюзовым оттенком весеннего неба для ремонта квартиры. Другому – для срочного ремонта дачи, да еще и требовались добрая

замазка, раствор. Третий нуждался в кистях – круглых или лопатообразных. И все шли на поклон к Хрупенькову.

- Иван Федорович, друг ты или портянка, выручи из беды!- просил один.

- Только на тебя вся надежда осталась, по гроб жизни буду обязан!- клянчил другой.

- Тут тебе база, что ли. друг сердешный, таракан запешный?- понимал он с полуслова гонцов.

- Иван Федорыч,- не успевал открыть рот третий, как его перебивал прораб:

- Нету-нету, вчера последнее отдал.

- Как же быть-то, я так надеялся?

- Осталась последняя бочка, так не знаю, что делать?- заводил он нарочно просителя, как будто краска бочками поступала.- Небось, не хватит тебе?

- Мне надо-то всего пару баночек, и я уж тоже без баночки не останусь, по-божески рассчитаюсь.

По природе своей Хрупеньков не был мотом или растратчиком государственного добра. «Бережёного Бог бережёт»,- резонно убеждал он себя, когда кто-нибудь пытался втянуть его в неблагоприятную авантюру. И хозяином он был прижимистым, экономным. Материалы штукатурам и малярам выдавал строго по нормам и согласно обрабатываемому метражу. Да и подчиненные понапрасну не разбазаривали дефицитные материалы и инструмент. Поэтому их на складе был полный достаток. И уж если кто-то для собственных нужд хочет выписать за наличный расчет краски или меловой побелки, то ему готовят и отпускают с полной душой и допустимым излишком. Бухгалтерия и руководство завода не возражали, а их дело, как говорится, пятое.

Так и был Хрупеньков на хорошем счету в сплоченном строительном коллективе, жил мирно и дружно с остальными кирпичных дел мастерами. В городе и Кирзаводском поселке пользовался заслуженным авторитетом и уважением. А если

уж кто забывал об этом и нарывался на неприятности, да еще, не приведи Господь, пытался размахивать руками, неумолимый и крепкий, как хорошо обожженный кирпич, его кулак мгновенно осаживал горячие головы. Да так осаживал, что долго потом в них гудело, плясали голубовато-розовые искры и кружились зеленые мотыльки.

- Что - хрупеньки-мотыльки мельтешат в глазах?- смеялись над ними более сведущие люди.- Хрупенёк-то не любит в бирюльки играть. Бугая колхозного одним ударом завалит.

- А вот этот – самый свежий-то знаешь, про мясорубку? А то все про политику да про политику. Давай лучше про баб.

- Нет, не слышал.

- Да слышал, наверно?- прикидывался Иван Федорович, желая блеснуть новым анекдотом.- У одного мужика уехала в командировку жена. Надумал он ужин сварганить. Вытащил из морозилки кусок мяса. Намолоть можно, котлет нажарить...

Он замолкал в самый интересный момент, хитровато шурил масляные глазки, обводил приятелей неторопливым взглядом и старался понять, какой произведет эффект.

- Ну-у?- не выдерживали и подгоняли те.

- Не понукай, не запряг еще, а поехал,- сбивал он невыдержанных, заметно окая и набивая тем самым себе цену.- Пошел к соседке на третий этаж за мясорубкой. Дорогой рассуждает, что вот позвонит и попросит мясорубку. А она спросит – зачем? Мол, фарша намелю, котлет нажарю. А она: «Да вот я нажарила. Садись за стол, и бутылка в холодильнике запотела». Выпьешь по рюмке, второй - за другой побежишь. Спать останешься, да чо да. Потом разговоры и неприятности пойдут.

- Ну-ну?- вновь подгоняли нетерпеливые, предчувствуя непредвиденную развязку.

- Звонит в дверь, соседка открывает и спрашивает: «Чего тебе, Иван?» А тот убежденно и гордо отвечает: «На хрен мне твоя мясорубка!»

- Ну, бе-ес, ну, соба-ака!- откровенно удивляются мужики.- Этот сказанет, так сказанет! Всё знает. Башка-а...

- А вот этот? Не-ет, вы его знаете,- разочарованно махнет рукой.- А вот про такую вот маленькую-маленькую пищульку,- сжав два пальца в еле видимый кружок и поднеся к глазу, спросит он с надеждой.

- Фе-одорыч, расскажи!

- Это маленьким детям слушать нельзя, когда вырастете большими, тогда расскажу,- вдруг отказывался он и переводил разговор на другую тему.

Вот так со стройками, ремонтами, спортзалами, анекдотами прошла-пролетела молодая жизнь Ивана Федоровича Хрупенькова. Дочки его выросли, закончили институты, выскочили замуж. Одна уехала с мужем работать в уже объединяющуюся Германию, другая жила в Ставрополе. Они нарожали Хрупеньковым внуков, видели которых те редко. Еще Нина Валентиновна, уже ушедшая на пенсию, иногда к ним наезжала, к ближним, ставропольским. Германские же бывали только в отпуске.

Тут подошла очередь уходить на заслуженный отдых и Ивану Федоровичу. По весне его еще привлекали в стройотдел и посылали с бригадой на Черное море ремонтировать домики заводской турбазы. А летом, зимой совсем скучно стало старому строителю и боксеру. Хоть в петлю лезь. Начал он иногда выезжать на автобусную остановку и стоянку такси, чтобы сбить на старенькой «Ладе» случайную шабашку. Менты, правда, извозчиков гоняли, но Федоровича не трогали. Вел он занятия по боксу с ними и их детьми в муниципальной милиции. От всего этого появлялась кое-какая копейка. Выложит большую часть дома или на запчасти, бензин припрятает, да две-три тыщеники на разные мелкие расходы оставит. Иногда с тезками встретится «холодильник разморозить», как автор Василия Тёркина выражался, или беса погонять. Завелся он в гараже. И не то, чтобы здоровых размеров и бо-

гатырской силушки. Не-ет, сильнее их он не был и до них, особенно до Хрупенькова, ему было далеко. Был он маленьким, скорее всего бесенком, но настырный, подлюга, и пакостный, хитрый. В такие дебри и неприятности мог завести, живыми и невредимыми из которых даже старым членам партии было нелегко выкарабкаться, а про такого неразговорчивого, скромного и доверчивого, как профессиональный водитель автобусов Иван Сухов, и говорить нечего. Не зря он в таких безвыходных и затяжных ситуациях хватался за монтировку и говорил: «В стос и правительство мать, и в вулканизационную заплатку хлесть»!

Это на гаражно-ключевом языке означало, что с пьянкой пора завязывать и срочно уматывать на озера и пасеку, которые они с зятем арендовали у одного хитрого-прехитрого председателя и директора кирзавода, как-то странно попавшего к нему в напарники.

\* \* \*

Иван Федорович Сухов был человеком простым и местным. Родился он в небольшой кубанской станице Наглядной. Там учился в школе, там получил похоронку с фронта на погибшего отца. Оттуда мальчишкой угодил на курсы шоферов в районный городок, где и остался навсегда. Там и женился раз, второй, но жены почему-то быстро уходили от него.

- Кто же выдержит пол-аршинную балду!- смеялся Хрупеньков.- Если по пьянке не подмотает полотенце, женка на другой день на бюллетень уходит. Это половой король в транспортном цехе и на всем кирпичном заводе. Пошел в сук да в голову. И фамилия-то – Суков! Не зря говорят, что по Сеньке и шапка, по едрене мать – колпак.

- Это неправда, не Суков, а Сухов, от слова сухой,- серьезно возражал шофер.

- Правда, Федорыч?- любопытствовали иные.

- Ну-у, может, так чуть покрупнее других. Вон у Жорки

Бурмаги балда была так балда!- без иронии и улыбки оправдывался Сухов.

Худой, жилистый и длинный, он чем-то походил на завязанный узлами стальной трос, который невозможно ни распутать, ни порвать, или на суковатую палку. Он мог сутками копаться возле белой красавицы «двадцатьчетверки», забыв про обед и отдых, пропадать на арендуемых озерах, натянув до самого паха болотные сапоги, следить за сбросом воды и отловом рыбы, которая почему-то норовила проскочить мимо сетки и оказаться в нижнем пруду.

Иногда, когда высказывала недовольство его последняя супруга Шура, с которой прожил в мире и дружбе более двадцати лет, он бросал пруды, пасеку вместе с глуховатым и мастеровым Васей Рубцовым и подгонял машину к подъезду. Дня два-три они регулярно выезжали с Шурой на дачу, собирали клубнику, огурцы, помидоры. Потом наступал длительный и тщательный ремонт автомашины, прокачка-промазка узлов и гаек. Вечерние встречи с тезками, когда по очереди отыскивали в гараже замаскированного беса. В такие минуты Сухов доставал из старого шкафонера, как называл его внук, баян, они пели песни своей молодости, балагурили и хохотали.

Случались вечера, когда толпа мгновенно разрасталась в размерах, высыпала на улицу, на асфальтированный проезд, и песни переходили в пляс. Сами Иваны Федоровичи, как Пат и паташата, крепко взявшись за руки, исполняли «Танец маленьких лебедей» из известного балета Чайковского, смешно взбрыкивая ногами и опасно, по-лошадиному, топя сапогами сорок растоптанного размера, от чего гаражники валились со смеху.

- Там-там-там-тара-ам-там-там-там, там-там-там-тара-ам-там-там-там,- подыгрывали кто на баяне, кто на губах, и танцоры, войдя в раж, уезживали с такой резвостью и неподдельностью, будто были светилками-пародистами классического балета.

В горячке они забывали, что их вновь может подвести под монастырь хитрый и неуловимый бесенок, спрятавшийся в початую вчера бутылку самогона, специально оставленную Иваном Федоровичем-Длинным на случайную похмелку.

Расходились в такие творчески возвышенные вечера, естественно, затемно, на скорую руку защелкнув или закрыв на один первым попавшийся замок массивные металлические двери. Держась с обеих сторон за Хрупенькова, чтобы не погнуть сторожевую, из арматурин, калитку, вежливо раскланивались со сторожем и уходили в огромную прореху сетчатого забора, каким была огорожена инфекционная больница. На центральной аллее, широкой и длинной, как могли, прощались. Брюлов с Суховым, крепче вцепившись друг в друга, желали самому крупному тезке спокойной ночи.

- Дойдешь? Дристунов больничных не перепугай.

- А у них вот такие пишульки,- старался показать пальцами щелку и улыбнуться Хрупеньков.

- Углы там ненароком не посшибай.

- А нам не драться, не бороться, нам бы лишь бы напороться,- бросал тот на прощание и шел медленной твердой походкой, припечатывая к земле, словно бетонные, свои ноги.

Проходя мимо муниципальной милиции, слегка поднимал козырек-аэродром огромной фуражки, и его дружно приветствовали молодые милиционеры или дружинники, сидящие на ребристых скамьях под высокими пирамидальными тополями и белыми акациями. Потом сворачивал в свой двор и исчезал в темном широком подъезде, как в пещере, в старом, построеном после войны доме.

Два других Федоровича забирали правее, к самому берегу ручейка и шли вдоль него до пестрой крупнопанельной пятиэтажки. У второго подъезда, где жил Сухов, дружно останавливались, словно занузанные кони, крепко обнимались на прощание, похлопывали друг друга по спине, долго пожи-

мали, раскачивая из стороны в сторону, руки. И шли на свои этажи. Брюллов жил на первом, и ему было легче. Сухову же требовалось подняться на третий, выдержать неласковый взгляд Шуры, дочери и зятя, мужика, кстати, необидчивого, доброго и хозяйственного, в отношениях с которым у тестя не было трений и непредвиденных эксцессов. Они понимали друг друга, поэтому вместе пропадали на подсобном хозяйстве, где Геннадий считался заведующим, а Иван Федорович-Длинный, как его еще называли, как вроде нештатным подчиненным.

Иногда тезки пробовали спеть. Трио из них, конечно, получалось разнокалиберное, иногда из него даже дуэта не выходило, но желание было неиссякаемым.

- Из-за острова на стрежень,- богатым голосом начинал мощный Хрупеньков, надувая бычьи легкие, аж покачивались ветки жирных каштанов.

- Вороши-илов едет к на-ам,- помогал мягко и доверчиво Брюллов, будто прокрадывался за полночь в свою квартиру, находясь под приличной мухой.

- Какой Ворошилов?- удивлялся Хрупеньков.- Клим, что ли?

- Он, отец родной, Климентий Ефремыч, под началом которого я лично проходил курс военных наук.

- Зачем о политике, давайте лучше о бабах. При чем тут Ефремыч?- не понимая, беспомощно разводил руками, словно шуфельными лопатами, Иван Федорович-Здоровила.

- При чем, при чем... Служил я у него, вот при чем.

- Я у Георгия Константиновича служил, да помалкиваю, а он Климом загордился. А ты чего молчишь, Иван, где ты запропастился?

- Да тут я, через канаву перелажу,- деловито отвечал Сухов.- Не пойму, к какому берегу лучше пристать: «Из-за острова на стрежень» или к тому, где Климентий Ефремыч едет к нам?

- На хрен он тебе сдался, этот Климентий?

- Я вот тоже сомневаюсь – на хрен? Стенька-то, считай,



наш, донской да кубанский казак, а этот Луганский кочегар с усиками-соплями, Питер немцу чуть не сдал. Хорошо, Жуков вовремя подоспел.

- Правильно понимаешь политический момент, молодец! А этому Ворошилова подавай. Мало сейчас всяких демократов-бюрократов развелось, так еще тот понадобился, сталинский. Он вам порассуждает про политику, а ну давай лучше про бабцов-с. За это не посадят. Я и говорю: у нее вот такая маленькая пищулька, а он катится где-то, как колобок, про колобок и трандичит, транда. А вот у этой... Эх бы, сейчас бы...

- Ты чо ерепенишься?

- У кого что пенится?

Так вот и каламбурили, пока не прощались до следующего раза. А чего им, пенсионерам, больше делать! Такова селявуха, как высказываются под французов.

\* \* \*

В гараже Иван Сухов считался человеком хозяйственным и ответственным за свое слово. Автобус его, на котором привозил на завод и отвозил смену, был всегда в исправном состоянии. Он бдительно следил за уровнем масла, ключом и отверткой вовремя подкручивал гаечки-болтики, вытирал тряпкой панели, наводил марафет в салоне, и гигантский красавец «Икарус» всегда смотрелся свеженьким, чистеньким, в любое время готовым к работе.

Конечно, «Икарус» в его ведении был в последние годы, как бы подарок за предыдущие и терпение, когда работал на ЛАЗах, ЛиАЗах, ПАЗах и другой многочисленной технике, непривередливой и послушной, верой и правдой служившей старому «водителю» Сухову и его товарищам. Не случайно со стороны цеховых рабочих, которых возил на смену, на море, на похороны и свадьбы, никто и никогда на него не жаловался. Бывало, Иван Федорович за шелуху от семечек отругает и за

занесенную в салон грязь, но зато был очень внимательным и подбирал заводских в любом месте трассы, а не только на остановках. Так же и останавливал там, где просили пассажиры.

Лет за пятнадцать до пенсии поехал он на Север на заработки. Кое-какие деньги привез. На хорошую машину не хватало. Пошел снова на кирзавод, «не пил, не ел», как скажет потом, но накопил. Услышал, что в Сочи у какого-то городского начальника продается «Волга» - ГАЗ-24. Попал тот случайно в аварию, кого-то крепко помял. Пришлось откупаться, а машину, восстановленную по знакомству, словно с иголки, решил продать. Что сделаешь, ведь шоферы – народ суеверный?

Сухов позвал на помощь напарника Петьку Бородина, когда-то бывшего мастера международного класса по мотогонкам или мотоболу. До Сочи добирались поездом. Разговор вели в кабинете продавца машины. Вытащил Иван Федорович сумку с деньгами, отсчитывал и подавал круглыми суммами. Тот пересчитывал и сгребал в открытый ящик стола.

- Тут пяти тысяч не хватает, а говорите, что все!- в недоумении заявил хозяин.

- Как не хватает?- подскочил на стуле Сухов.- Все были, десять раз пересчитывал.

Снова принялись считать, слюнявя пальцы о влажный язык. Раз, второй, третий. Не хватает. Ивана Федоровича ах в жар бросило. Куда делись?!

- Подожди!- вдруг вспомнил он.- А куда исчезли трехпроцентные облигации?

- О-ой, балда!- ударил себя по лбу потной ладонью высокий городской начальник, на вид серьезный и строгий.- Я их вот в уголок положил и забыл. Не подумайте плохого.

- Да чо уж,- сразу обмяк Сухов, и на лице его, шее выступила испарина.- С кем не бывает. Перепугался до смерти. Сроду больших денег не имел. А если какой трояк или червонец положишь в карман, так шупаешь потом целый день: не потерял ли?

Наконец рассчитались, взяли бумаги, ключи от зажигания. Вышли во двор. Открыли дверцы.

- Садись, Петя, за руль,- устало крикнул Бородину, устраиваясь на просторном заднем сидении.

- А ты разве не хочешь объездить новье?- удивился тот.

- Сегодня мне не до новья, и голова что-то кругом пошла, будто глобус. Перенервничал. Видать, старым стал, несообразительным и мнительным. И мондраж привязался.

- Ну, расслабься. Сними напряжение.

Петр лихо накручивал по серпантину дороги, круто виляющей, бегущей то по краю высоченного обрыва, то неудержимо скатывающейся в глубокие ущелья, и Сухов даже почувствовал тошноту. Так миновали Дагомыс, Лазаревское, Туапсе.

- Ну, за покупку,- достав бутылку и наполнив кружку, поднимал новый хозяин машины, обращаясь к Бородину.

- Давай, Иван Федорыч, чтобы долго-долго бегала без усталости и не беспокоила хозяина,- согласно кивал Петр, легко и привычно накручивая послушную баранку.

Сухов отходил, «отмякал». Нервы его все более успокаивались, и дрожь в руках, начавшаяся еще с вечера, с дороги в Сочи, постепенно исчезала. Перед глазами выскакивали и падали в пропасть невысокие горы, сопки, показывалась вдруг голубая полоса моря, так же вдруг пропадавшая за вершины или сливающаяся с небом. И нередко он уже не мог отличить, где кончается море, а где начинается небо. Не то в Лермонтове, не то в Джубге Сухов в последний раз глянул на море, и веки его глаз все чаще стали смыкаться. Он, кажется, пытался еще затянуть давным-давно полюбившуюся и почти забытую песню, которую пел на Севере в минуты трудные, в минуты переживания и большой усталости:

Замела метель дороги,  
Все деревья в серебре...  
Ожидаю на пороге  
Я мальчишку в январе.

Ожидаю и не знаю  
Расписанья поездов...  
А пока что замерзаю  
От жестоких холодов.

Особенно эта песня пробирала его, когда водил автопоезда на Крайнем Севере. Накручивает, бывало, целый день ба-ранку по завьюженной трассе, мимо бесконечно тянувшихся телеграфных проводов, покрытых жирным куржаком, дружно облетающим в ветреный день и оставляющим на снегу ровные ряды полос, будто прочертил их какой-то невидимый землемер для каких-то неведомых своих дел.

День завьюженный, морозный,  
Все вокруг белым-бело...  
Едет парень в край колхозный  
На каникулы в село.  
Он все знает, понимает,  
Что, когда и где растет...  
Только одного не знает,  
Что его девчонка ждет!

- Теперь будешь ездить, как король,- бросал между делом Бородин.- И шабашку на извозе собьешь, и на свадьбы молодых возить затаскают. И пьян, и сран, и нос в табаке.

Белая красавица «Волга» уже оставила позади Горячий ключ и неслась к Краснодару. Душа Ивана Федоровича все больше успокаивалась и теплела. И он продолжал тянуть про себя свою спасительную в пути песню

Замела метель дороги,  
Скрылся тонкий санный след...  
Стынут руки, стынут ноги,  
А его все нет и нет

\* \* \*

Свою машину Сухов берег, как зеницу ока. С масленкой вокруг нее то и дело круги давал, будто напуганный заяц. С

тряпочкой, щеточкой. И она, словно снежная королева, ярко блестела на солнце ослепительно-белыми боками и крышей. Не случайно не было отбоя от молодоженов. К субботе закрепит он на крыше два желтых обручальных кольца. Натянет над капотом, багажником зеленые, красные, синие ленты, прикрепит огромную куклу, воздушные шарики, усадит молодых и помчится к районному ЗАГСу, навстречу очередному людскому счастью, только ветер запоет в ушах, заволнует его русский поредевший чуб. И радостно запоет сердце, словно свое личное счастье везет.

Чуть не всех молодоженов поселка перевозил на регистрацию, а кого и на венчание. Заработок, конечно, не бог знает, какой. Но все на дорожающий постоянно бензин добавка. И чарку поднесут. Он, правда, чарки не пил, за стол не садился. Работа есть работа. Да и каждый сверчок должен знать свой шесток. Иногда, если было желание, брал в презент «пузырек». Потом выпьет в гараже с двумя Федоровичами.

Но годы неумолимы, как фининспектор. Незаметно подкатилась пенсия. Да и машина, хотя и берег, поизносилась, капитального ремонта запросила. Пришлось уважить свою красавицу, а краски белой, как на грех, даже в Черкесске, где есть лакокрасочный завод, не достать. Думали-мерекали с зятем, решили выкрасить серой, куда денешься? Вместе с белым цветом машины сами по себе отпали свадебные поездки и какой-никакой скромный приработок. А на голую пенсию, которую после распада СССР сделали непростительно мизерной, тяжело жить. Да еще такую громадную машину тянуть.

- Время-то какое пошло, батя!- сказал однажды зять.- Коммерция, кооперативы разные открываются. Подсобные хозяйства. Я ведь сельхозтехникум окончил. Могу со скотом работать. Директор кирзавода Хрененко зовет заведующим подсобного хозяйства.

- Ну и берись,- одобрил тесть.- И я на подхвате у тебя буду.
- Вот и добро. Мне как раз хороший помощник нужен.

С утра до темна они в хозяйстве. Оно километров за двадцать от города. Своей машины не жалел. В хозяйстве сотни полторы свиней, овцы, коровы, пасека, два пруда зарыбленные, постройки. Только успевай работать. В спешке не успеешь встретить лето, как на пороге зима. Зять с тестем закрученные-заверченные, словно штопоры. Свету белого не видят. И корма нужны, и лов рыбы, и резанье поросят по заявкам цехов, и медок для детских яслей да садиков. Неделями их в поселке не видят. Замотались, как забытые на вешеле тряпки. Зато люди довольны их работой, а вот жены – нет. Не видят своих мужиков, и запахи их забываться стали.

Недоволен и директор. Чего ему надо – не могут понять. Пруд третий – сделали. Нагнали техники, сброс из второго сделали. Воды налили. Ловись, рыбка, большая и маленькая, как в известной сказке. Да только маленькую-то они не брали, разве только плохонькие рыбачишки. Отдыхай по-семейному. Кругом взгорки, низины, фруктовые лесополосы, грибные поляны, где полно шампиньонов, синих, белых грибов, оянт и представителей других пород, которые и на жарение, и на супец грибной, и на маринровку идут. А на южном горизонте розовоголубой силуэт Кавказского хребта, и двугорбый верблюд Эльбруса в знойном мареве качается совсем рядом, протяни руку и достанешь. Зачем за сотни верст к морю ехать, купаться в воде, наполовину разбавленной теплой мочой, когда тут ставь домики, палатки, теннисные столы, натягивай волейбольную сетку, приезжай с семьей, малыми детьми, внуками и отдыхай на здоровье. И мясо рядом, и рыба, и пчелы, и фрукты. Разве можно о лучшем мечтать, когда к власти пришли демократы? При них уж не до жиру, быть бы живу, словно специально задумали народ заморить с голоду. Зарплату месяцами не платили, а на бартер давали то консервы, то крупы. Получит человек за месяц продуктами и унесет в одной авоське.

А тут кто ни приедет из заводских, все радуются хозяйству. Даже жена директорская. И только сам Хрененко все

чаще дуется, недоволен, словно избалованная барышня. Они ему и мяса, и рыбы, и меда. А он все шипит, будто змей подколодный, будто вместе со свинарником, складами, выпасами, вместе с потрохами хочет слопать.

И слопал. Видать, к этому дело и шло. Потому и шипел по-змеиному, и дулся, словно индюк, аж короткая бычья шея наливалась розовым жиром. Низкорослый, пузатый, словно уродливый огурец.

- Мало-помалу подкапывался, пока не нашел зацепку, не выжил нас из хозяйства, как и наших предшественников,- жаловался потом Сухов друзьям.- Те про него и в центральной газете писали, да что толку? Советской власти не стало, и заступиться за работягу некому. А он с друзьями-председателями нашел общий язык. Мол, выкупить нужно землю, коль хозяйство завалили. Процветало оно, а не завалилось. Пудрил мозги заводским, мол, большие потери терпит коллектив. Почти триста гектаров за пять миллионов купил. «Новым русским» стал. А теперь восемь соток земли под строительство личного дома стоят пять с половиной миллионов. Ему, его детям и внукам хватит. Правнукам останется, которые палец о палец не ударили. Вновь испеченный помещик и капиталист. На чужом горбу вылез. А рабочие на заводе по полгода зарплаты не получают. Личный наш мотороллер прикарманил. Все мало, не нажрется никак, бездонная бочка. Ведь три слова не свяжет, а матюгов, хитрости в нем на десятерых заложено, словно дерьма в гадюшнике.

Вот так я вновь стал безработным. Да еще дерьмом нас полил, кобелина. Все равно вернется наша родная власть, все поставит на свои места. А уж с этими пузанами мы сами справимся. Не зря, видать, революцию в семнадцатом году совершали.

Не проедет милый мимо,  
Свою любушку любя...  
Приезжай скорей, любимый,  
Замерзаю без тебя.

Это он только близким друзьям рассказывал, и те понимающе и сочувствующе кивали. А еще Уржумцеву. Тот, когда ни обратись, всегда внимательно выслушает, с пониманием и участием. Даст совет, а то и статью напишет, коль надо, так продерет, что чертям будет тошно. Чем может, тем поможет. Честный человек, свой.

- Звонил я вашему директору насчет мотороллера. Говорит, разбитый он стоит в мехмастерской. Пусть забирает эти железки,- сообщил однажды Игорь Сергеевич.

- Бог с ними,- безнадежно махнул рукой Сухов. Возможно, привирал, чтобы очернить мужика.- Пусть подавится ими.

- Не переживай,- пытался успокоить журналист.- Без этого в нашей жизни не бывает. Я вон ни с того ни с сего врага нажил в лице начальника районного ОБХСС.

- С какой стати?- удивился Иван Федорович, готовый слушать дальше и взаимно посочувствовать.

- С мелочи,- видно, не желая рассказывать, проронил неохотно Уржумцев, потянувшись за сигаретой.

Они сидели в подсобке суховского гаража, где у самых дверей стоял массивный верстак с большими тисами, который иногда служил и столом. У боковой стены, вдоль прохода, приткнулся старенький шкафчик. «Шкафонер», как говорил внучек, из которого Иван Федорович, словно кудесник, гуляя со своими тезками, доставал последнюю, «стременную», поллитровку. Напротив него, у противоположной стены, прочно прилип к полу старый замызганный диван с пробивающимися наружу штопорами ржавых пружин. В углу его лежал старенький баян, на котором в минуты особого настроения пиликал хозяин, а иногда и Пашка Саблин, если оказывался рядом и находился под Киrom. Посредине подсобки стояло ведро, куда кидали окурки, обьедки и тряпичную рвань, сыпали мусор, невообразимо быстро накапливающийся в гараже.

- Ну и что?



- Делал я материал о кирпичном заводе. И мимоходом зацепил его ОРС. В общем-то, положительного больше, чем отрицательного. Но есть там очкастая Ляля, на которую много жалоб рабочих и заводских пенсионеров. Зашел я к ней на минутку, она и меня успела облаять. Естественно, я не прощаю хамства и зацепил ее в статье. Даже фамилию принципиально не стал узнавать. Очкастой Лялей и назвал. Она, передали мне знакомые, согласна с названными недостатками, но выражение «очкастая Ляля» ее почему-то оскорбило. «Будут у тебя неприятности,- предупреждали меня,- ведь ее дрючит начальник ОБХСС». При чем тут ОБХСС, говорю. Пусть жульничество ОРСа присекает. Ему ж за это деньги платят. А до их личных связей мне нет дела. «Да они заодно с торгашами, вместе руки греют на народном горе, принесенном демократами. И спекулируют по всей России. С ценами жульничают, с налогами».

- Знаешь, как в воду глядели,- начиная волноваться и входя в раж,- продолжил журналист.- Вскоре приходит ко мне в редакцию молодой человек, представляется, мол, старший лейтенант Рогов. Я об его бате, теперь уже подполковнике, не раз писал когда-то. Самый честный и благородный из всех ментов, кого знал я в жизни. Чужой копейки не возьмет.

- Поэтому ты и говоришь, что в России трое честных – ты, Рогов да маршал Жуков?

- Поэтому и говорю, хотя не без доли иронии. Неудобно выпячиваться. Так дядя мой говорил. Спрашивает, какие у вас есть доказательства, акты проверок, свидетели, что в ОРСе и на заводе допускаются нарушения? Актов и прочих сыскных доказательств у меня нет, отвечаю. У редакции другие функции, она не прокуратура. Вроде убедил. Через три дня звонит, мол, Дермонянц, начальник отдела, подготовил письмо и требует ответа.

- Он армянин или, как говорят, «из наших»?- спрашиваю.- Фамилия-то похожа?

- Передаю трубку,- отвечает лейтенант.

- Мы тгебуем пгедоставить доказательства,- скороговоркой закартавил тот,- такой у нас порядок.

Все с тобой ясно, морж пархатый, думаю. Присылай. Видать, тоже на журналистов зол. Не ты один в последнее время. Вот и Диму Холодова из «Московского комсомольца» уквасили, как неугодного, такие же деловые рожи. А я в этой газете когда-то в студенческую пору печатался. И Павла Гусева, ее редактора, знаю. Бывал у него в кабинете вместе с однокурсником Александром Барковым. Он нас еще и кофе угощал. Как нож в горле для них журналисты. Понял, что на понт меня хочет взять, двумя или тремя большими звездочками напугать. Плюевать мне на таких, как выражался Райкин.

- И прислал запрос?- не выдержал наступившей тишины Сухов.

- Прислал. И я дал любопытный ответ.

Текст письма, над которым он, возмущенный до мозга костей, просидел немало времени, до того врезался в память, что он почти запомнил его.

«Начальнику РОВД Н. И. Шишкову. Уважаемый Николай Иванович! На днях я получил ваш запрос «на имеющиеся в редакции материалы по фактам нарушений правил торговли и грубого обращения с гражданами работниками ОРСа кирпичного завода на основании ст. 11, п. 4 Закона «О милиции» и был несколько удивлен. Тот, кто готовил это послание (очевидно, Дермонянц), требовал от автора статьи «заявлений граждан, актов проверок и тому подобное».

Разговор идет о статье «Будем учиться у капиталистов?», опубликованной в № 70 районной газеты, где вскользь упоминалось о недостатках в работе ОРСа. Нагрубил лично автору. И справок, естественно, на свою грубость не выдали. И неоднократно требовать их начальнику ОБЭП по крайней мере наивно. Пенсионеров, которые жаловались в редакцию на работу ОРСа, десятки, о чем они подтвердят вместе с советом ветеранов. И с них актов тоже не возь-

мешь. Среди них А. И. Захарченко, П. С. Морозова и др. Обо всем этом я ранее сообщал сотруднику ОБЭП Е. Рогову. Но почему-то его начальнику этого показалось мало.

Поясняю: проверками магазинов газета не занимается и их актов не составляет, она же не следственно-коммунальный отдел, а лишь печатный орган, поднимает те или иные проблемы, старается воздействовать психологически, ведет воспитательную и патриотическую работу, является нервом народа, и отнимать хлеб у милиции, юристов не намерена, как и работать за них. Так почему к ней унтерпришибеевское отношение?

По вопросу статьи никто из упомянутых в ней в редакцию и лично ко мне не обращался. Был у меня разговор с руководством ОРСа, сообщившим, что недовольна лишь продавщица Л. Чернякова, которая якобы оскорбилась от слов «очкастая Ляля» и собиралась подавать в суд, хотя со всем остальным согласна. Начальник ОРСа Г. Н. Свеклин справедливость упомянутых недостатков признал в ответе редакции «Вам поможет ОРС», опубликованном 10.11.94 г. (Ответ прилагается) Кажется, вопрос исчерпан, тогда какие еще нужны «акты» и «материалы»?

Сдается мне, что весь этот амбициозно-личный сыр-бор разгорелся при поддержке начальника ОБЭП и по инициативе продавца Л. Черняковой, которая действует не через суд и, как говорится, поставила на уши всю милицию. Любопытнейший альянс, и тут, извините, сам напрашивается вопрос: кто кого должен контролировать?

Если это так и стараются найти козла отпущения, а сейчас с неугодными журналистами безжалостно расправляются, то я буду искать защиты у прокурора, а также местной и центральной печати. И добавить к сказанному у меня есть чего.

К сожалению, на кирпичном заводе не всегда тишь да благодать, о чем не раз высказывалась наша газета. Одним не дает покоя продукция предприятия, другие за его счет хотят обогатиться. Не пора ли борцам с экономической преступностью

снять шоры? Еще в 1988 году мы поднимали вопросы хищений в серии статей «Стройматериалы для жулья!» Чуть раньше на весь Союз кричала о воровстве и мафии на заводе «Советская Россия». Не на это ли, думаю, затаилась обида у «внутренних органов»? А ведь редакция и читатели с интересом бы узнали о том, что сделано в этом плане ОБХСС-ОБЭП? Может, поиссяк бы и ажиотаж, неумолимо растущий в это тяжелое для страны время, поубавились махинации? Неплохо бы узнать, на какие средства возводятся вокруг города особняки, в том числе работниками РОВД?

Но все за семью печатями. Кому это выгодно? Отсюда и пересуды, полоскание чужого белья. А знает ли отдел борьбы с экономической преступностью, за что недавно отставлено руководство отдела сбыта завода? Вот бы чем заняться стражам общественного добра, а не вылавливать «блошек» в журналистских статьях и мстить за мелкие обиды подружек вместо призвания их к порядку.

Газета много лет предлагает страницы для выступления работникам ОБЭП, ибо борется с недостатками и несправедливостью в обществе. Но они не слышат ее. А воспользоваться Законом О печати, по которому инстанции обязаны предоставить журналистам любую информацию, не связанную с безопасностью государства, для редакции кажется несолидным. И я призываю к контакту, а не к унижительному допросу. И прошу разобраться в мотивах указанного послания.

Письмо же за вашей подписью, уважаемый Николай Иванович, мне кажется, составлено без Вашего ведома, поэтому и выглядит оскорбительно-дилетантским, поэтому и отправлено с нарочным, а не почтой.

С уважением зав. отделом промышленности газеты  
И. УРЖУМЦЕВ».

- Вот это ты выдал! Молодчага. Бесстрашный человек.

- Думаешь, это легкое дело и обходится бескровно?- не согласился Игорь Сергеевич.- Ответ мой стоил немало нервов и

времени. На это они и рассчитывали – выбить из колеи. Спором с ментами и редактор недоволен. Поэтому прислали грязный запрос с одной и той же закорючкой в трех местах за начальника милиции. Она у меня и вызвала сомнение. Поэтому позвонил его заму, Косте Бураку, моему хорошему знакомому. Мол, не Шишкова подпись, а подделка. Он сказал, присылай, мы разберемся.

Но, как я позже узнал, запрос подмахнул сам Бурак. Автоматически, не читая, подмахнул или тоже захотел журналистской крови? Или постеснялся признаться?

- Ну, дела-а,- только и вымолвил Сухов.- Куда нам, простолюдинам, соваться, когда таких людей стараются оскорбить?

- Как сажа, Ваня, бела. Как сажа. И не докажешь. А те же борцы с экономической преступностью получают на предприятиях машины, заправляются наширмака бензином, тянут на строительство особняков материалы. Выставляют свою охрану, которая сторожит их особняки и дворцы директоров заводов, ставших вдруг их первыми друзьями. И на общественный порядок им наплевать. Да, дела, как сажа, бела...

\* \* \*

Отстраненный от дел на подсобном хозяйстве, Сухов скучал по работе, особенно дождливой осенью и промозглой зимой. На даче работы в это время прекращались, и на Ивана Федоровича накатывала такая тоска, что брал ужас. Иногда, когда кто-либо из сторожей уходил в отпуск или на бюллетень, его приглашал на замену председатель кооператива Чурашов. С лысой головой и блестящей макушкой, большеглазый, он сильно смахивал на «крестьянского писателя» Черниченко, которого Сухов считал чрезмерным крикуном и телевизионной балаболкой. Подобно своему двойнику, Чурашов был тоже разговорчив, умел себя поставить, был до смешного принципиальным и чутким, не давал спуску зарвавшимся политикам. И нередко костерил их во

всеуслышание, подбирая каждому меткие метафоры: Ельцин-хряк, Чубайс-мертвяк!

Тем не менее, Георгий Алексеевич не первый год возглавлял правление кооператива «Ключ», был терпим для членов общества и следил за деятельностью подчиненных ему сторожей. Постоянно предлагал в работе какие-то новинки. Взносы владельцев гаражей были самыми низкими в городе, а это в трудные 90-е годы значило очень много.

- Гаражный сторож – это не просто какой-нибудь сторож на стройке или угольном складе. Он – охранник человеческого состояния, страж огромных материальных ценностей,- по-дружески учил его сменщик Сёмый, - и духовных, ибо транспорт не только материален, но и духовен, особенно когда чужих бабёнок возят в лесополосу.

Виктор Петрович был примерно такого же возраста, но в штате «Ключа» считался ветераном. Попав лет тридцать назад в аварию, он не расставался с транспортом, имел красного «запорожца» с инвалидским знаком. Ходил с батошкой, прихрамывая на одну ногу. Был черным, как после голодной зимы весенний грач, и быстро заводился на вопиющую несправедливость, обман и подлость. Как бывший член коммунистической партии, запрещенной ненавистным ему президентом Ельциным, он не стеснялся в выражениях, крыл правду-матку и для пущей убедительности крепко пристукивал по полу алюминиевым костылем, словно не терпел возражений.

В минуты покоя он любил пошутить, посмеяться, напевал песенки типа «О-ох, рано встает охрана...» В минуты недовольства материл демократов, правительство и президента, по чьей вине, был убежден Виктор Петрович, жизнь с каждым днем становилась беднее, гнуснее, что его немолодое сердце обливалось кровью. Забегая вперед, надо сказать, что на этой почве оно скоро и остановится, не в силах вынести навалившиеся переживания.

- Тут надо не проворонить транспорт, умело разместить на

стоянке «суточников» или «новичков», глядеть в оба за пьяной рваньей, днюющей и ночующей в гаражах и возле них, которой палец в рот не клади – вместе с батогом откусит, которая не упустит момента сбондить, что плохо лежит, и продать на выпивку,- деловито подсказывал он начинающему сторожу Сухову.- Но и на рожон с ними не особо лезь, а то подстроят козью морду или дадут кирпичом по башке, как дали Жоре Ефимову. За самогонщиками смотри, чтобы открытую монополию не развернули, ибо ментация-милиция бдит редко, но четко.

И Сухов быстро познавал нехитрую сторожевую науку, приносящую дополнительную копейку. Работать было несложно. Сутки отдежурил – трое дома. Занимайся, чем душе угодно. И все-таки не каждый день торчишь дома у жены на глазах. Все-таки какая-то разгрузка. Да еще в гараже, рядом с транспортом, которому отдал всю жизнь. Вон Павел Андреевич Стругов, бывший сослуживец по цеху, каждый день приходит. Видать, невыносимо болит душа, и его тянет поближе к транспорту, братьям-шоферам, объехавшим половину земного шара и знающим все и вся. Про этого Стругова Уржумцев даже когда-то написал статью «Он объезжал бренденбургских коней», где говорилось о восемнадцатилетнем пареньке-фронтовике Павлике Стругове, который после победы, в мае 45-го, взобрался на Бранденбургские ворота и оседлал немецкого железного коня. Вот тебе и мальчишка с Северного Кавказа!

Днем Сухов пилил и колол дрова для печки, которую не забывал топить вовремя. Отчего в сторожке было тепло и сухо, хотя за смену через нее проходили десятки человек. Поленья весело постреливали искрами, и очажок заводил свою бесконечную убаюкивающую песню, от которой успокаивались нервы и на душе становилось теплей и уютней, словно наступал с детства любимый божественный праздник. И хотелось быть внимательным и почтительным к людям, ненавязчиво делать добро, думать глубже о назначении и таинствах жизни, вспом-

нить добрым словом всех ушедших в мир сказочный, незнакомый, потусторонний.

Думать о весне, которая принесет тепло, работы на даче, радость ожидания урожая. Думать о товарищах по сторожевой службе. В основном их всех любили и уважали, и работали они не от жадности, а от нехваток. Даже псы, которых было и жило вокруг сторожки, в будках и угольном сарае не менее десятка. Но больше всех ему нравился добрый, спокойный и руссудительный Мажаров, как и Сухов, бывший черноморский моряк, а теперь пенсионер и инвалид. Его звали Владимир Кирьяныч, но Сёмый, его лучший друг и товарищ, нередко окликал его Бурьянычем. Владимир не обижался, только посмеивался, оголяя коронки на зубах из нержавеющей стали.

Иван Федорович помнил его еще молодым, только пришедшим с флота красавцем, чей густой кудрявый чуб не давал покоя поселковым девочкам. Так всю жизнь и прожил он мягким, беззлобным, готовым прийти на помощь в любую минуту. И, видать, не зря говорят: Бог добрых метит. Дал ему жену красивую, работающую. Купили они кооперативную квартиру, двоих детей на ноги подняли. Да занемогла его кареглазая Людмила, Мила. Разбил паралич. Куда только не обращался, к каким врачам не возил! Сперва отнялся язык. Потом она перестала ходить. Выведет он ее на балкон, посадит в уютное кресло и побежит на работу. Пусть сидит Мила, на теплом солнышке греется, смотрит с высоты на спешащих в магазин или по другим делам прохожих, думает свои отживающие думы.

Летом выносил во двор. Ставил кресло у подъезда. Но то и дело прибегал проведать, в туалет сводить, накормить, узнать, не надо ли чего? Узнать по знакам, кивкам головы, миганию глаз, протяжному горловому звуку.

А искупать, а стирка, а приборка, приготовление обеда – сколько дел свалилось вдруг на него, о которых раньше почти не имел представления! Даже мать родная отказалась от такой дочери, дети все реже проведали. А у него две трети желудка



вырезаны. Нужны диета, покой. А Мила? Разве бросишь человека в беде! Пришлось уволиться с работы и пойти на инвалидность, жить на пенсию инвалида третьей группы, перебиваться с хлеба на квас, да еще тянуть больную жену. Что сделаешь, коль такая судьба, вдруг отвернувшаяся за что-то от него? Но не мы ее выбираем, а она нас. Какая уж достанется, какую Господь даст.

- Нет, не самая у тебя горькая доля,- успокаивал себя Сухов.- Были в жизни и радости, и достаток. Вон Мажаров как мается, а не сдается, не плачет. Про его человечность и любовь дважды писала городская газета, сам Уржумцев. До самой смерти не бросил он Люду, много лет вожжался. А тебе-то, Иванка, стыдно бедным прикидываться. Обут, одет. Пенсиишку кой-какую получаешь. Да еще сторожишь. А зима-то капля по капле, день за днем и проходит. Весной зеленый лучок и редиска пойдут, а там и до огурцов, бурелых помидор дойдет. Не-ет, не погибнешь. Лишь бы гражданскую войну эти деятели не развязали...

На улице было слякотно и дул пронзительный ветер. Качались и скрипели свечи голых, словно обгоревших, пирамидальных тополей, на которых к ночи собирались с полей, как их звал Сухов, лохмотья вороньей рвани. На рассвете вороны устраивали оглушительный грай, напоминая сторожу о наступлении утра и о том, что скоро потянется сюда гаражная рвань и начнется целодневная колготня, мандрыканье любителей похмельиться и прочей наброды. А он, Сухов, пойдет с уставшей душой отдыхать. Намайлся за сутки, заработал.

К вечеру, может, вновь прибежит от нечего делать, с друзьями покалякать, последние новости узнать. А что еще надо пенсионеру?

## КУБАНСКИЙ КАЗАК

*Памяти Михаила ПЕРКОВА*

Его вагончик стоял рядом с гаражным въездом. Обитый железом с двумя зарешеченными оконцами, разрисованный синей и желтой краской, перечеркнутый во всю длину какими-то стремительными полосами, напоминающими информационно-указательный знак автострады, он мягко вписывался в интерьер окружающих строений. Строения эти были тоже произведениями рук человеческих, не лишенных порой фантазии: железные гаражи-ракушки. Они стояли вне зоны кооператива на самозахваченной земле и чем-то смахивали на цыплят-сиротинок, ищущих защиту под крылышком кооперативного общества.

Не раз тут проходило и проезжало городское и заводское начальство, не раз пугало сносом и составляло предписания в адрес председателя кооператива Чурашова, который «работал индивидуально» с самозахватчиками, страшал беспощадным «выкорчевыванием вместе с корнем», но количество разнокалиберных гаражей росло, на удивление, с каждым месяцем. Шанхай, да и только.

Рядом с Шанхаем и поставил свою мастерскую Павел Саблин. В двух метрах от нее соорудил высокую металлическую эстакаду, на которую заскакивали легковушки прямо с дорожного асфальта. Она вибрировала и потрескивала решетками, словно сигнализировала хозяину, что очередной «гусь» на боевой позиции и его пора начинать «оципывать». Хозяин не заставлял себя долго ждать. Он не торопко появлялся на пороге, лениво-опытным взглядом проползал по машине, бегло, но безошибочно точно оценивал возможности ее владельца и со скучающим видом отворачивался в сторону верстака. Копался в болтах и гайках, аккуратно сложенных в железные коробки, ставил в прорези на полочках инструмент, смахивал в ведра стружку, сматывал или

разматывал переноску, делал еще что-то серьезно и целенаправленно, не обращая внимания на появившегося в дверном проеме клиента. Тот какое-то время мялся, переступал с ноги на ногу, раздумывая, с чего начать. Хозяин, не глядя в его сторону, помогал:

- Ну, что случилось?

- Масло есть?

- Какое, в коробку передач?

- Нет, моторное.

- Есть, конечно.

- А фильтр?

- И фильтр есть, как в Греции, все есть.

- Заменяем?

- Какой разговор? Закатывай на эстакаду и плати бабки.

- Уже закатил.

- Приятно с таким клиентом работать. Мастер не успеет подумать, а он на ходу ловит.

- Да, понимаешь...

- Сейчас все пойдем, даже больше, чем надо.

Взяв ключи, Павел умело и быстро снимает решетку, выкручивает пробку, фильтр, подставляет под масляную струю широкий гофрированный шланг, идущий от рядом стоящей пустой бочки. Несет масло и новый фильтр, успев перед этим промыть двигатель веретенкой. Все у него получается ладно и быстро. Ни одного лишнего движения, ни одного сбоя, словно не человек, а автомат. Все по уму и красиво. Невольно залюбуешься таким и поверишь, что крепко знает свое дело, что делает на совесть.

- А может, и подвеску помотришь?- спрашивает клиент уже успевшего понравиться ему исполнителя.

- Можно и подвеску, пока других клиентов нет, а то скоро обещали подъехать.

Пока смотрит, крутит, вертит, подскакивает желтый «жигуленок», потом красный, за ним и зеленая «двадцатьчетверка».

- Здравствуй, Паша.

- Добрый день, Пал Ваныч!

- Привет, старик,- здороваются с мастером и крепко жмут мазутную руку, будто от этой крепости цена ремонта понизится.- Ты хоть покури.

- Секунду, вот товарища отпущу.

И товарищ рад, вперед всех успел, в очереди не торчал, и на душе спокойней, и не столько своротил, сколько в других местах.

- Спасибо, возьми вот за работу,- протянет хрустящие бумажки.

- Езжай на здоровье,- с улыбкой ответит мастер и бросит их небрежно на широкий верстак.

А там уже очередь. И покурить некогда.

- Паш, клапана настроишь?

- Конечно.

- Шину заклеишь?

- Само собой.

- Сколько берешь?

- Как всегда - тридцатку. Вон у переезда полсотни дерут.

- Да я ничего

- И я ничего. Оставь. Освобожусь и сделаю.

И так целый день. Один не успеет отъехать, другой подворачивает.

- Генератор глянешь?

- Нет, это Дмитрий Алексеич делает, Мелентьев. Вон за загородкой второй гараж от угла.

- А люфт посмотришь?

- Это по моей части.

До самого вечера упирается. Летним днем начинается невыносимая жара, и он остается в одних шортах. Накачанный, плотный, тело атлета. Крутой мужик и за словом в карман не ползет. Заскочит на «жигуленке» молодлица и взгляда оторвать не может, и что сломалось - забудет. А Павел скользнет

по ее фигуре свысока матово-голубой поволокой, мол, знай наших. И та совсем растеряется.

- Что случилось, красавица?

- Да вот это, как оно... колеса стучат.

- Но не в прокуратуру же? Это с перепугу, что в женские руки угодили,- смеется мастер.- Сейчас глянем, чего они стучат. Может, подшипники или соленблок.

Он заканчивает часов в шесть. Нередко работает без обеда, чтобы времени не терять и не упустить выгодного клиента, ведь время бежит неумолимо. Умывшись и переодевшись, посидит перед уходом на вертящемся стуле, небрежно сгребет пачку денег, сунет в бумажник или карман. Закроет въезд на эстакаду, двери мастерской и отправится домой или в гаражи.

\* \* \*

Пашка Саблин еще в школе считался непредсказуемым. Он мог месяцами не пропустить ни одного занятия, а в конце полугодия исчезнуть на целую неделю. Его искали, но даже родители не знали о местонахождении сына.

- Где был?- грозно спрашивал потом директор, недовольно топорща рыжие прокуренные усы.

- На охоте,- понурился мальчишка, дерзко отвечал мальчишка.

- Какая охота, когда четверть кончается, экзамены на носу?- не в силах сдержаться, выходил из себя директор, и его костистые кулаки непроизвольно сжимались и походили на отполированные булыжники.

- Утка пошла,- не обращая внимания на кулаки крутого директора, фронтовика, гнул свое Саблин.

- При чем тут утка, когда можешь на второй год остаться? Что важнее - учеба или охота?

- Охота,- ни секунды не сомневаясь, заявлял мальчишка.- Это хлеб, азарт и ученье жизни.

- Ученье жи-изни! Ну что ты будешь с ним делать, а? Его из школы выпирают, а он тут про ученье жизни толкует, ёрнича-

ет. Сабля, ты и есть Сабля. И все у вас в роду такие -засабленные. С глаз моих убирайся...

Пашка убирался. Классная руководительница тоже ругала. Больше для блезиру, чтобы дурной пример не стал заразительным для других. Но Пашка и ухом не вел, думал о чем-то своем. Виделась ему утренняя зорька, первые робкие лучи солнца, пробивающиеся сквозь густой и длиннобудылый камыш. И реактивно-свистящий взлет уток, напоминающих истребителей МИГ. Он вскакивал и бил дуплетом. Нередко от сильной отдачи в плечо отлетал назад. Но не реже и падали утки, за которыми плавал в холодной воде не хуже легавой собаки.

Ругань Пашке, как с гуся вода. Порода у них такая - саблинская. Казачья. Дед его, Митрофан, до революции был лихим наездником, рубакой и драчуном. Брал призы на скачках, проводимых в дни Масленицы. На Германской он отличился, выведя из окружения эскадрон и порубав шашками расчет артиллерийской батареи, за что был награжден Георгием. В Гражданскую он потерял под Екатеринодаром коня и ногу и домой вернулся на костылях.

- Сложил крылья Митрошка, отбосяковал,- неласково говорили о нем в станице.

- Отлихачил...

А он вскоре вновь взгромоздился на коня, сунув целую ногу в стремя и цепляясь культей другой ноги за край седла. Болтали, еще самим буденовцам перцу давал и на Маныче добрый след оставил. Мечтал с самого командарма знаменитые усы состричь.

Был известен в округе и сын его, Иван. Небольшой, но вертикальный, как юла, мужичок, после Второй мировой войны бригадиривший в станичном колхозе. С фронта вернулся раненым и вся грудь в орденах. Колобродил сначала, в соседние хутора на бидарке ездил по молодым бабенкам, пока не встретил будущую невесту Полину Звягину, дородную и красивую молодлицу. Таких, говорят в станице, вместо коня можно запрягать.

Вот Иван и запряг. Всю жизнь тянула не хуже лошади. Да еще детей немало нарожала. А Ванька все бригадирил. Все лето на полях. Вставал затемно, затемно и возвращался. Когда и на хорошем взводе, за что жена «включала пилораму».

Однажды осенью не дошел с полкилометра до станицы. Ослаб. Упал в лужу и уснул крепким сном бригадира. Ночью ударил морозец. Лужа льдом покрылась, вмерз в него бригадир Саблин. Утром чуть свет пошли доярки на ферму к первой дойке, увидели вмерзшего в лужу Саблина, смертельно перепугались.

- Свят-свят, Царица небесная! Замерз наш Ванька-начальник, царство ему небесное! Стали вырывать из льда, на сухое вытаскивать, а он как рявкнет громко и гневно:

- Так вашу мать, куда мэнэ потягали?

Взвизгнули бабы с перепугу и дернули врассыпную, кто в правление колхоза, кто на ферму. Мол, так и так. Кранты Сабле пришли! Не жилец. Скованный льдом ночевал, как ледакол. А вскоре, забежав домой переодеться, и тот появился. Те и глаза выпучили.

- Вы что белены объелись, будто бузынки, в какой луже ночевал? У родной бабы под балдахинном спал, спросите у Польки. Вон и жупан не пожмаканный,- пристыдил их у председателя на глазах, нервно дернув розовой, как осеннее яблоко, щекой.- А за срыв дойки я с вас взыщу. Кавардачите с утра поране, налыгач по вам дюже плачет.

В тринадцать лет Пашку вдруг потянуло к музыке. Записался в колхозный духовой оркестр. Дул по праздникам в клубе и на стадионе. Даже несколько трудодней на этом заработал. Но быстро сменил инструмент. Потянуло к гармошке, баяну. Часами слушал их залиvistые переборы. И виделись ему белая дымка цветущих садов: «Лучше не-ету того цве-ету, когда яблоня цветет». И раздольные кубанские степи с яркими фонариками диких тюльпанов: «Вдруг вдали, у реки, засверкали штыки». И далекие города, за которые проливал кровь его отец: «Едут-едут по Берлину наши казаки».

Поэтому и поступил в культпросветучилище. Домой вернулся красивым и важным. Хоровой кружок вел в клубе. А девок, девок сколько вокруг! Роста среднего, коренастый и плотный, словно сбитый, а в глазах - весенние васильки. Вылитый Есенин. Трудно мимо такого пройти равнодушно. А на танцах ему и замены не найдешь. До полуночи и дальше играл без устали, да все разные, модные мелодии. С таким не жизнь будет, а праздник!

Иные ребята, правда, косились: уж больно много внимания этому молодому баянисту. Иные даже искали зацепки и ссоры. Он не особо их избегал. Придрались однажды два дюжих тракториста с нижней улицы - Генка Солдаткин и Васька Опёнок.

- Пойдем, салажонок, выйдем на кручу.

- Давай выйдем,- снизу вверх посмотрев на Ваську, спокойно согласился Пашка и направился к выходу.

За ними высыпала толпа любопытных. Заахали девчонки, заподбадривали ребята.

- Что творится, такие бугаи на мальчишку!

- Только один на один, чтобы честно,- встряли молодые ребята.

- Неужели вдвоем на такую цуциню?- обиделись верзилы.- Вдвоем мы всю вашу псюрню разгоним.

Вышли на самую кручу, бросили приятелям пиджаки, осмотрелись вокруг.

- Заранее, шатоха, за фершалом посылай, чтоб потом не мандрыкаться,- предупредил Опёнок.

- Мы без фельдшера обойдемся. О себе подумай,- небрежно кинул Пашка и пошире расставил пружинистые ноги.

Руки у Васьки длинные, словно тележные оглобли. Пальцы похожи на дубовые сучья. И не успел Саблин оглядеться, как краем глаза увидел широкий замах. Чудом успел унырнуть, и здоровенный кулак, казалось, просвистел над самой головой. В этот замах было вложено столько ненависти и силы, что Опёнок не удержался, и его по инерции развернуло. В это мгнове-



ние Пашка резво ударил боковым и коротким ударом, которого многие даже и не заметили. Ваську срезало, как косой, он кубарем покатился с обрыва и растянулся в темно-синей грязи.

Сообразив, что просчитался и обозлившись до бешенства, Васька мгновенно вскочил и в три прыжка оказался рядом с противником. Его тяжелый кулачище молнией сверкнул возле Пашкиных глаз, но тот успел кинуть голову в сторону и резко ударить по подбородку. Пролетев юзом, Опёнок вновь оказался в грязи. Какое-то время лежал неподвижно, потом стал подниматься, обвел соловельным взглядом толпу любопытных и побрел низом туда, где берег был пологим и травянистым.

- Ну что, Геша, теперь твоя очередь? - отряхивая руки, ехидно спросил Саблин и направился навстречу Васькиному дружку.

- Помордувались и будя. Оставим до другого разу, - неохотно ответил тот и пошел вслед за Опёнком.

- Вот и кутыляйте с приятелем да макитрой больше соображайте, а то обоим зубы вышибу ненароком.

- Как он их отбрил! - долго вспоминали в станице, и Пашкин авторитет рос, как на дрожжах, а в друзья набивалось все больше ребят. Вскоре корешами стали Васька Опёнок и Генка Солдаткин. И про успехи молодого баяниста заговорили даже в районном отделе культуры.

\* \* \*

Павел не был пунктуальным и на работе появлялся часов в девять. Солнце уже стояло высоко, и верховой ветер трепал верхушки пирамидальных тополей, шелестел листьями, ломал сухие сучки, скрипел старыми ветлами, словно выгонял на свет все живое, чтобы оно порадовалось жизни, увидело теплое утро и принималось за свои неотложные дела. Но все живое уже давно было в работе, искало дневное пропитание, кормило потомство, радостно распевало песни, чирикало, свистело, каркало, рычало. И только мастер по ходовой час-

ти легковых автомобилей мог позволить себе задержаться дольше положенного. Понежиться в постели, попить чайку с маслом и паюсной икрой, охотничьим ножом отхватить кусок холодной, из морозилки, буженины. Сидя в кресле перед цветным телевизором, затянуться дымом пахучей сигареты и по-мальчишески озорно выпустить несколько жирных колец, которые тут же подхватывали холодные струи от неслышно работающего кондиционера и безжалостно разбивали о бетонные стены квартиры.

Стены были обклеены импортными моющимися обоями, по которым дружно разбежались мелкие желтые розы, обставлены дорогой полированной мебелью. Полы застелены шикарными паласами. Все в квартире было обставлено и отделано с большим вкусом, и Павлу казалось, что он находится в маленьком земном раю, уходить из которого не хотелось. Рай этот создан его собственными руками, не знающими усталости и покоя, и иногда в тихие утренние часы нирваны, короткого душевного блаженства его могучее сердце на мгновение испытывало маленькую радость за себя и благополучие семьи, за свою удачу. Но он тут же глушил ее: не дело мужчине, потомственному кубанскому казаку, тешить сознание мимолетной радостью и легкими жизненными успехами, которых при желании может добиться каждый, как, впрочем, и потерять.

Саблин их терять не намерен, да и стыдно терять, имея такие способные руки и не самую глупую голову. Они не дадут потерять, не способны. Да и не особо задумывался он над этим. Мысли его в основном заняты работой, запчастями, маслами, за которые приходилось выворачивать большие деньги. По выходным толкаться на рынке, просить, уговаривать, торговаться, чтобы не промахнуться и не продешевить, чтобы иметь навар на клиентах. Такой стала жизнь, таков рынок, как убеждали его правители, телевидение и газеты, забившие Павлу поморочки, за которые он брался все реже и реже.

Нет, не скоро он добился своего благополучия, не налегке

пробежался по жизни, а испытал многие ее нюансы и варианты, где приходилось рисковать собственной шкурой и выкручиваться ужом, становиться цепным псом и судьей, виноватым и обвинителем, переживающим за близких, и непростительно равнодушным.

- Что ты мучаешься, ведь за все отбатрачил!- каждый раз упрекал и успокаивал он себя и, чтобы отвлечься, быстро отправлялся в мастерскую. Только работа избавит от этих дурацких мыслей.

У мастерской уже ждали машины. Тут и там от безделья маялись водители, тянули сигарки или разговаривали между собою.

- Долго спишь, начальник. Хотели прогул записать.

- Наверстаем, куда денется ваша работа?- с улыбкой отвечал Павел, отмыкая двери.

- У тебя болты «восьмерка» есть?

- А камеры?

- У Саблина все есть, кроме покоя.

- Карбюратор посмотришь?

- Хоть в очко посмотрю, лишь бы навар был.

- А скаты поменяешь?

- Хоть башку поменяю, если старая надоела. Неси колесо...

И загремел шиномонтажный станок. Запел воздушный компрессор. Задышали обжигающим жаром толстые металлические губы вулканизатора, из-за тесноты пристроенного по левую руку от самого входа. Многие в толчее нечаянно прикасались к нему, обжигали локти, пальцы, прожигали нейлоновые одежды и смачно матерились, а то и материли самого хозяина.

- А-а-а!- смеясь, вскрикивал он.- Не ходи босиком!

И раздавался дружный хохот, ибо каждый из постоянных клиентов и друзей Павла обжигался об этот агрегат не один раз, износил не одну болячку. А хозяин уже под эстакадой. Дергал тяги, проверял болты, крепления.

- Выхлопной-то пришел дроздец. Менять ее треба,- бросал на ходу.- Ручник натягивать некуда, только трос укорачивать или новый ставить.

- Делай, Пал Ваньч, я пока закуской займусь. Мясца привез, может, шашлыки сварганим или шулюн?

- Рано еще, не вечер. Сейчас в мангал и на тигле изжарим.

Между делом появлялись мангал, вернее четырехугольная кастрюля, сваренная хозяином из двух-или трехмиллиметрового листового железа, свиной жир, лук, перец-горошек, лаврушка. И вскоре зашкварчит, потянет запахами жареного мяса и специй, защекочет в носу, вызывая слюну и волнение желудка у подъезжающих клиентов. Пойдут по кругу пластмассовые стакашки из скромного сервиса мастерской. Иные и уснут в машине или уйдут под хорошим газом.

Саблин тоже не оставался сторонним наблюдателем. Дергал между работой два-три стаканчика, засмаливал сигарету, но дело свое знал, и машины отходили без задержки. Случалось, до вечера через мастерскую проходила не одна веселая компания, а он все крутил гайки и вулканизировал, менял тяги и тормозные колодки, ремни вентиляторов и втулки. Небрежно кидал на верстак новые зеленые купюры достоинством в тысячу, пять, десять тысяч рублей.

Он был спокоен и шаловливо-дерзок. Побочные мысли в это время отлетали от него, как град от эстакады. Ему нравились с улыбкой отъезжающие и довольные его работой клиенты. И легкая радость зажигалась в самом дальнем и темном уголке его души.

\* \* \*

Техника ему нравилась с детства, когда любил копаться с велосипедами, мотоциклами. В армии выучился на шофера, возил командира части. Не успел демобилизоваться, как вызвали в райком комсомола. Провели в кабинет «первого», а там начальник милиции в погонах подполковника.

- Послужной список у тебя неплохой, не желашь в милиции поработать?- взял с места в карьер начальник.- О карьере подумай, о будущем.

- Какой я милиционер?- удивился вчерашний солдат, растерянно разведя руками.- На баяне вот играю, людей веселю...

- Не каждому такое доверие,- стоял на своем подполковник.- У нас тоже музыку любят. Создашь самодеятельность или ансамбль песни и пляски северокавказской милиции. На курсы в училище пошлем, лейтенантские звездочки прицепим. Не заметишь, как генералом станешь. Судьбами людей будешь ворочать, счастье и покой трудового народа беречь. Это почетно и ответственно.

И клюнул солдат на лейтенантские звездочки, которые со временем могут вырасти в генеральские. Да и, как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Захотелось ему постоять на страже покоя и счастья трудового народа, чьим законным выходцем себя считал. И надел он милицейскую форму, и грыз гранит милицейских наук, и повесили ему погоны с лейтенантскими звездочками, и стал он неплохим участковым инспектором, которого боялись вся местная шпана и ворье, и получил городскую квартиру. Не каждому так подфартит. Жить бы да радоваться. А радость все меньше и меньше заглядывала в его дом. Все больше вспоминалась станица. Клуб, стоящий на самом берегу реки Калалы, вокруг которой прятались в камышах десятки плес, где водились крупная рыба и раки. А летом - стада диких уток, гусей, которых он промышлял с детства. Вспоминались станичные девчата и парни. И черноглазая Люба с соседней улицы - девушка необыкновенной красоты, от которой невозможно было оторвать глаз.

В такую грустную минуту он доставал баян и пел свою любимую песню, которую сочинил когда-то для нее: Все спешит вперед, все спешит вперед, но что-то остается позади. Первая

любовь, первая любовь встретится вам где-то на пути. И пусть все говорят, что не последний это раз, и пусть все говорят, что повторится. Но первая любовь, но первая любовь к нам уж никогда не возвратится.

Он догадывался, что его песня несовершенна, ведь он не был ни поэтом, ни композитором. Но она исходила из самых глубин души, касалась самых сокровенных ее струн и чувств, чище и правдивее которых не может быть в жизни.

\* \* \*

Была у Саблина и дача: четыре с половиной сотки земли и три на четыре уютный домик, где стояли стол, три стула и старенькая диван-кровать. Любил он для разнообразия и отдыха покопаться на ней в тишине, подышать чистым воздухом, наполненным ароматом расцветших пионов, роз, других цветов, которых было множество и которые обожала жена Любаша. Подставить загорелое тело свежему ветерку, доносимому с широко разлившегося Большого Зеленчука и леса междуречья. Приедет он чуть свет, когда еще на деревьях серебрилась и, как ему казалось, поскрипывала роса, загонит в тень «шестерку», возьмет инструменты и ковыряется в саду. Вроде и не торопится, а работа спорится. И деревья вовремя опрысканы, и колорадские жуки потравлены, и выполото, и огребено.

А помидоры - чудо! Рассаду он привозил за многие километры из родной станицы. Брал их у тещи - Александры Николаевны, женщины приветливой и работающей. Снабжал и близких, соседей. Сорты разнообразны - и «сливки», и «бычье сердце», и «черный принц», и «розовые» - гордость хозяина, сочные, сладкие, крупные, в иных весу чуть не кило: одним можно наесться. А вишни, абрикосы, яблоки, персики! Все лето живут Саблины с овощами и фруктами, на всю зиму консервируют. И на их участке идеальная чистота.

- Когда успеваете, вроде и на даче вас вижу редко?- удив-

лялся сосед Игорь Уржумцев, заведующий отделом районной газеты.

- Уметь надо кошку греть, чтобы не царапалась,- просто-душно улыбался Саблин, не отрываясь от дела. А оно спорилось и кипело. Да и сколько тут дел, сам с собой рассуждал он. У отца огород сорок соток. Все детство на нем горбатился. А этот только для разминки, будто лuskanье семечек.

И вспоминалась казачья станица, где знал каждого человека, каждый бугорок и ямку, где каждая выбоина на дороге была чем-то памятна и дорога. Работа от зари до зари и редкие праздники, запах навоза и парного молока, треск спелых арбузов и натужный скрип гружёной кукурузой арбы, топот лошадиных копыт в ночном и призывное кряканье уток на плесах - все это было близко и дорого Павлу. Все это была станица - его кровная любовь и душевная боль. Она то утихала, то возрождалась с новой силой, тянула днями и ночами. И он, бросив все дела, закинув в машину ружье и сети, иногда взяв с собой на рыбалку соседа по даче Уржумцева или друга по Северу Мелентьева, но чаще один, вдруг мчался туда, как угорелый, чтобы на несколько дней окунуться в той родной жизни и атмосфере, в которых прошли детство и юность, посидеть в компании родителей и друзей. Излить душу в нескончаемом разговоре, поставить на любимых плесах и потрясти сети, куда попадали двухкилограммовые толстолобики и другая рыба. Поднять со дна раколовки, в которые на запах макухи набивались десятки и сотни раков, прекрасно идущих к пиву. Успокоиться и так же неожиданно умчаться в город, к жене и дочке, к прибыльной работе, что приносит безбедное существование, к городским друзьям, которые тоже стали частью его жизни.

Но удовлетворение от поездки скорее было внешним, поверхностным и успокаивало лишь на несколько дней. Гораздо глубже в его душе и памяти залегали впечатления от увиденного и услышанного. Он с содроганием понимал, что станица постепенно уменьшалась, старела и медленно умирала. Все

меньше в ней оставалось молодежи. А из тех, что оставались, большинство были бессребреники и пьянь, которым не до богатства, дворцов и высоких урожаев, не до жиру, а быть бы живу.

Все больше из жизни уходило стариков, а с ними умирали традиции, умирало казачество, которое Советская власть, а точнее Троцкие, Губельманы, и без того не раз унижали и изводили.

- Дивимся росту цен на продукты, а как же иначе?- доказывал он в спорах с городскими мужиками.- От темна до темна вкалывают колхозники, света божьего не видят, а получают шиши. Сорокалетние мужики, вместе со мной учились в школе, уже древние деды. Многие на тот свет отправились. Износились, изработались. Городские восемь часов отторчали на заводе, и свободны, в домино стучат, водку пьют, рассуждают, умничают. Те же с полей приедут, да еще за свое личное хозяйство берутся. Ну ладно колхозники. Был в последний раз в станичном магазине. «Надя,- говорю,- взвесь того-то». «Откуда ты знаешь эту бабку?»- спросила меня Любушка. «Да это же Надька Пяткина, с тобой в одном классе училась». Не узнала жена, выглядевшая в два раза моложе, свою одноклассницу. Почему на чистом воздухе и физической работе люди села стареют быстрее?

Говорил он на повышенном тоне, эмоционально. В его голубых глазах то и дело вспыхивали непримиримые огоньки. Руки металась снизу вверх, став неуправляемыми, пальцы то сжимались в кулаки, то выбрасывались в виде веера, словно тугие лепестки мгновенно распутившихся бутонов цветов.

- Не-ет, все мы ищем работенку полегче, а шабашку и жизнь получше. И я в том числе. А деревню, корни свои, бросили на съедение рынку, как слепого котенка в омут, мол, пусть сам выгребает.

- А городские разве не брошены?- возражали ему.- И заплата при демократах вроде бы выросла в десять-пятнадцать



раз, но цены выросли в пятьсот, тысячу раз! У крестьян хоть свое хозяйство. Корову подоят, картошки нароют, поросенка заколют.

- Корову, поросенка еще вырастить надо,- гнул свою линию Саблин.- А комбикорма в три дорога, а уход за ними с утра до потемок?

- Да как же быть, и кто виноват?

- Вот и суди, кто. Кто всю эту бузу затеял?

В общем-то, споры тоже ничего не давали, только бередили душу, как и поездки в станицу, портили настроение. Временами Павел понимал, что никому и ничего не докажешь, никого не переубедишь, в том числе и себя. Но и молчать уже не было сил, ведь кто-то и для чего-то же эту подлость придумал. Только революция поможет.

- Да разве ты сам жизнь переделаешь? Тебе больше всех, что ли, надо?- спрашивал он себя.- У тебя все необходимое есть, даже больше того. Ты никому не подчиняешься. Хочешь - работаешь, хочешь - нет. Прогула не запишут, за опоздание не уволят. Жена на нехватку денег не обижается. Дочь учится в институте, бедности не испытывает, тряпки модные, музыку имеет. Жена - заведующая детсадом, уважаемый человек. И домой что-то принесет, и в конверте получит за левое устройство в садик ребенка. У тебя - квартира, машина, гараж, дача, охота, рыбалка, собственная мастерская, куча друзей. Какого еще рожна?

Не знал он - какого? Все есть, и все будет, что захочет его душа. За грехи свои отбатрачил на Севере.

- Грехи-грехи! Далась они тебе,- успокаивал сам себя.- Ну, в чем ты согрешил? В том, что в ментовке работал, общество очищал от разных элементов? Так что в том грешного и предосудительного? Конечно, был резок, несговорчив. Не давал жизни жулью, наркоманам и пьяницам. Так все по закону, на страже которого находился.

И все-таки неприятный осадок остался в душе. Ехал однаж-

ды на мотоцикле по своему участку, увидел пьяного на детской площадке. Остановил мотоцикл, бросился вдогонку. Завернул руку выше на голову его сильному человеку, поволок в коляску, надавил на газ.

- Сто-ой, Пашка, сто-ой!- крикнул бегущий навстречу Игорь Уржумцев.- Это хороший мужик, мой сосед!

Но Саблин и ухом не повел, промчавшись мимо и включая следующую передачу. Тепленьким сдал прямо в вытрезвитель, чтобы пользоваться услугами заботливого государства.

- Почему ты так беспощаден?- высказал потом свое недовольство Уржумцев.- У Петьки Гадючкина большая жена и двое детей. Золотые руки электрика и теле-радиомастера. Много лет стоит на кирзаводе в квартирной очереди. Представляешь, какие ждут его неприятности? Ну, выпил не от легкой жизни, с кем не бывает. Он не хулиган, не дебошир. И тебе людей своего участка надо знать лучше.

- Но выпил же!- не сдавался Саблин.- Для чего тогда законы?

- Ты не пьешь, что ли? И еще неизвестно, чем закончишь. А закон, что телеграфный столб: перепрыгнуть нельзя, а обойти можно.

- Вот и обходят прохиндеи всякие.

- Петро - не прохиндей, я за это ручаюсь. И твоя законность легче ему не сделала. Не надо молиться по тому принципу, когда лоб расшибают.

Молод был Павел, прямолинеен. Многих тонкостей жизни еще не знал. И слова Уржумцева поймет лишь через несколько лет. Может, они вместе с другими душевными напластованиями и сделают резкий поворот в его крутой жизни? А жизнь была, в самом деле, крута и богата событиями.

- Пусть я был неправ тогда с Гадючкиным, по молодости не разобрался, хотел выслужиться,- убеждал теперь себя Саблин.- Но из-за чего тогда рисковал своей жизнью, не боялся идти навстречу крепким кулакам и оружию?

Ему часто вспоминался случай пятнадцатилетней давности

ти. Дела занесли его на одну сельскую автобусную станцию, забитую грибниками, огородниками, рыбаками. Он ожидал своего автобуса, спрятавшись от жары в коридоре небольшого вокзальчика. И в толчее не заметил, как подошла пьяненькая компания ребят. Их было человек пять, и каждому было лет по восемнадцать - двадцать. Молодняк. Они громко разговаривали, смеялись, размахивали руками, матюгались.

- Я - грузчик на мелькомбинате и спортсмен-гиревик, и если ударю вот этим кулаком - останется мокрое место,- хвастал самый старший и крупный из них, очевидно, главарь компании, потрясая здоровым, как лопата, кулаком и сверкая плутовато-самоуверенным взглядом.- Да я всех в рот и в нос...

- Ребята, вы потише выражайтесь, люди кругом,- негромко, но настойчиво заметил Саблин, сунув себе под мышку папку с делами.

- А ты кто такой, прокурор, что ли?- мгновенно окружили они его.

- Видишь, кто?- показал на свою форменную рубашку Павел.

- Мент, что ли? И документы есть?- спросили, упирая на «у».

- Есть и документы,- вытянув из кармана уголок удостоверения, показал тот и засунул обратно.

- Да мотали мы всех ментов!- все плотнее сжималось вокруг него кольцо.

- Пацаны, бросьте глупостью заниматься, я при исполнении,- быстрым взглядом оценивая обстановку, попытался он их урезонить. Но не там-то было.

К нему потянулись жаждающие дать выход горячей силе молодые руки, мелькнули первые кулаки. Его стали тянуть, толкать, попытались свалить. И все это на глазах многочисленной автовокзальной толпы, равнодушно глазающей на разворачивающиеся события, никто из которой и не подумал прийти на помощь милиционеру. У него порвали форменную рубашку,

почти сорвали погоны. Начали бить кулаками и пинать. Но не зря в милицейском училище он считался лучшим борцом и боксером, брал призы на краевых соревнованиях.

Свора уже высыпала на посадочную площадку. И тут, словно получив физический заряд и взорвавшись, он скинул с себя повисших на нем хулиганов, и его упругие и злые кулаки заходили невидимыми молниями. Безвольно сложился вдвое один, юзом по асфальту отлетел другой. Мелькнул ногами в воздухе и шмякнулся на дорогу третий, рассыпав чью-то корзину. Шархнулись в стороны огородники и грибники, бросив у скамеек кошелки и ведра. И вновь ни один не поспешил на помощь участковому. И от этого Павла еще больше взяло зло.

Он снова бил и бросал через бедро попадавших под руку хулиганов. Видел мельком, как из чьих-то носов брызгали струи крови, и чувствовал, как в его сердце просыпалась звериная радость. Грузчика-гиревика он догнал, где уже закончилась посадочная площадка, когда тот убежал во все лопатки в сторону переулка.

- Стой, бычок, хуже будет!- задыхаясь, выдавил из хрипящего горла.

Надав из последних сил, Павел выхватил из кобуры пистолет и ударил не то по затылку, не то по шее. Здоровила как-то неестественно, по-утиному крякнул и пошел винтом, пока не уткнулся головой в бетонный бордюр и не обмяк.

- Кто тут еще хочет ментовской крови?- тихо покачивая в руке пистолет Макарова и брызгая ошметками запекшейся на побитых губах слюны, спрашивал он у перепуганных пассажиров и двигался в сторону автовокзала.- Сволочи, все пересрались! Ни одна сука не помогла. Да люди вы или стадо баранов! Из-за вас мордовался, шкурой своей рисковал. А вы бакланов, крысятников испугались, сопливых салаг!

С опухшим от побоев лицом, с окровавленными руками, изодранной рубахой и пистолетом в руке он скорее походил не на милиционера, а на бандита. Поплевав с досады на паль-

цы и покурив, он быстро взял себя в руки, поправил рубашку, умылся под краном, нашел папку с документами. Застегнулся по форме, сбил в кучу хулиганов, погрузил в автобус и отвез в районный отдел милиции...

- Так какие же у тебя грехи за это?- приставал он к себе в минуты уныния и непокоя, но ответа не видел и покоя не находил.

\* \* \*

Зимой было тяжелее. Дождь, холод, слякоть мешали делу. Клиентов наезжало значительно меньше, а то и вовсе не появлялось. Павел готовил детали, копался в своей машине, требовавшей постоянного ухода, заряжал патроны и готовился к воскресной охоте. Иногда подъезжали друзья-приятели, просили о чем-нибудь.

- Помоги, Паша,- подсказывал запыхавшийся Филя, промышлявший извозом, чьи карманы оттопыривались от денег.

Как им откажешь? Одному камеру заклеит, другому карбюратор наладит, третьему клапана настроит. Нередко и гаишники «осчастливливали» появлением. Тоже близкие хлопцы, тоже не откажешь. А платы со всех их брать неудобно. А если колдыряловка начнется, так еще и свои выкинешь, не жалея. Заработка в такие дни не жди, а у друзей-приятелей нюх собачий, за три версты чуют. Одни не успевают отъезжать-отходить, как другие прут, третьи.

- Приве-ет!

- Эй, здорово, брат-кондрат!- спрашивал его станичник Володя-Ухо, человек душевный, с интеллигентным лицом.- Ну, как?

- Да вот та-ак, нет навара...

И пойдут, и покатыят. Галдеж до самой темноты, разговоры. Все себя умными считают, на любой вопрос подкованными. А там и Игорь Уржумцев подрулит или притопает своим ходом. Рядом живет, и гараж его в «Ключе».

- У-ух, устал, голова, словно свинцом, налита. Такую статью сбагрил...

- На, прополощи мозги - легче станет.

- Можно и прополоскать, а то завихрения начнутся. Хорошо у тебя, раскрепощенно. Никого не надо остерегаться и кривить душой. Сама жизнь, без подделки.

И снова разговоры, иногда очень умные, как им казалось. Перебирались за забор в гаражный кооператив «Ключ». Распахивали ворота гаражей, тащили посуду, мясо, паяльные лампы. Варили шулюн. На рынок за водкой гоняли. Пели под баян, даже находились желающие сплясать.

- Паш, давай-ка твою любимую,- просил Уржумцев, подсаживаясь поближе. И тот, подняв вверх голову и глядя туманными глазами, начинал:

- Все спешит вперед, все спешит вперед, но что-то остается позади. Первая любовь, первая любовь встретится нам где-то на пути.

Ему помогали Игорь Сергеевич, другие, и песня крепла, выносилась за ворота кооператива, привлекала внимание случайных и неслучайных прохожих.- И пусть все говорят, что не последний это раз. И пусть все говорят, что повторится. Но первая любовь, но первая любовь к нам уж никогда не возвратится...

Иногда в самом конце гулянья, когда большинство разбрелись по домам, Саблин закрывал ворота гаража, шел на соседний ряд, где частенько играли в карты.

- О-о, друг сердешный - таракан запешный, заходи-и!- приветствовал его добряк и мужик-рубаха Иван Мутузкин.- Сдаю на тебя.

Компания раздвигалась, давая место пристроиться Саблину. Игра продолжалась. Иван, медленно выдвигая двумя пальцами карты, разговаривал сам с собою:

- А почему-у? А зачем-ем?..

Так выражался четырехлетний внук, и деду нравились его повседневные вопросы. И он любовно передразнивал его, надеясь на удачу. Впрочем, и из неудачи он не делал трагедии.

Проигравшись, вытаскивал из верстака бутылку холодного самогона, зацветшей алюминиевой вилкой накалывал в трехлитровой банке сморщенный соленый огурец, выпивал граненый стаканчик, морщил курносый нос, похожий на ружейный курок, с кряканьем запивал рассолом.

- Что пропито, продарёно, в дело воспроизведено,- философски замечал он и наливал приятелям.- Давай дёрни да не печалься. Не они нас наживают, а мы их.

Мутузкин был всегда спокоен и невозмутим, будто совершенно не имел нервов, добродушен и приветлив, словно неприятности и беды его обходили стороной. Жизнь приучила его не тратить напрасно нервы. И еще там, работая в тяжелых условиях Заполярья, он научил себя относиться ко всему как можно спокойней и без эмоций, не делать трагедий из мелочей, быть честным в мужской дружбе и деловых отношениях. Около него всегда крутилось много людей, совершенно не похожих один на другого. Каждый что-то хотел и чего-то просил. Бесхитростный, добрый, он с утра пораньше мог опохмелить перебравшего накануне человека, карманы которого давно позабыли запах денег, мог отдать займы последнюю наличность, хотя сам был пенсионер, последнюю канистру бензина и оставить свою «тройку» без топлива. Мог и сам набраться до чертиков и уснуть в гараже, не замерзнуть там зимой, бросить открытыми ворота, и соседи, охрана, расположенная за двадцать метров, присматривали, чтобы не наскочил какой залетный, не унес и не увел чего-либо, что плохо лежит, ведь недавно у него потерялось устройство для зарядки аккумуляторов. Но его он мог кому-то под этим делом отдать на время и забыть. Да, любили этого пожилого и потрепанного жизнью мужика с классической загорелой лысиной. Тянулись к нему, как мухи на мед, что-либо просили и предлагали.

- А заче-ем?- дурашливо тянул свою песню Иван.- А почему-у? А что скажет Вася Выжарка?

А Вася, его приятель, мужик крепкий, с усами запорожского казака, когда находился рядом или играл в карты, с улыбкой поддакивал:

- Ну, если надо ему.

- А почему-у, а заче-ем?

Между тем банк горбатился от все прибывающих купюр, и глаза игроков все больше загорались лихорадочным блеском или неестественно леденели, готовые в любую секунду радостно вспыхнуть или трагически потухнуть.

- Десять кусков дальше,- говорил кто-то, небрежно бросая в кучу бумажку и стараясь придать голосу неподдельную твердость.

- Еще двадцать,- принимали вызов Саблин или Выжарка, и в гараже вдруг становилось жарко. У кого-то не выдерживали нервы, у других не хватало денег или терпения.

- Пас!- болезненно и глухо выдавливали они, недовольно бросая карты.

- Вскрываю!- небрежно заявлял кто-то, и все любопытные взгляды устремлялись в его сторону.

- Твоя бита, отвал!..

А деньги уже сгребались другой рукой, куча уплывала к тому, кому повезло, у кого крепче нервы.

- Ну, как вчера выиграл?- спрашивал иногда у Саблина Уржумцев.

- Да нет, при своих остался или кусков десять проиграл,- без видимого интереса и сожаления отмахивался тот, словно это его абсолютно не занимало.

- Ничего себе - кусков десять! Лучше бы просадил за кахетинским.

- На это мы всегда найдем. А тут душа, понимаешь, эмоций просит, острых переживаний, адреналина, как сейчас глаголют, азарта. Деньги - это тля, засаленные бумажки. Как пришли, так и ушли. О них тут же и забываешь. А вот чувства, мысли не забываются.



- Деньги, может, и тля, только люди не могут без рубля. И вы же стараетесь надуть друг друга,- не соглашался Игорь Сергеевич, жестикулируя тонкими чуткими пальцами.

- Выиграть любыми путями. Сорвать побольше куш, и плевать вам на того, который заложит последнюю копейку. Были бы тля, так отдали бы друг другу, и вся любовь.

- Ну и что? На то и игра. Силой никто не тянет, не садись. Но и добровольно никто не отдаст. Это заложено в самой психологии, принципе игры. Иначе зачем играть? Поделители банк поровну, и все. Тогда к чему собираться?

- Как у Толстого об обществе трезвости получается: собираться, чтобы не пить вина? Вздор. Если не пить вина, тогда зачем собираться?

- Во-во,- согласился Павел.- Зачем собираться, если не играть в карты?

- Огромные мысли и чувства!- язвил Уржумцев, язвил осторожно, легонько, чтобы случайно не обидеть человека.

- Чего ты смеешься?- не соглашался Саблин.- Нам они не чужды. Я не рассказывал, из-за чего уехал на Север?

- Почти.

- Тогда слушай. Причин несколько, и ты их знаешь. Однажды вечером гнался на мотоцикле за машиной. В темноте не заметил камень. Навернулся со всего ходу и не могу подняться. Мимо проходят и проезжают люди. Ни один не подошел ко мне. Кому нужен человек в беде, да еще и мент поганый? На счастье, идет мимо Петро Гадючкин. Услышал стон, подвернул. Ну, думаю, возьмет и придушит своими ручищами или добьет каменюкой в отместку за вытрезвитель. А он взвалил на плечи и отнес до самой поликлиники. Вот она, неизведанность русской души! Каково мне после этого? Будто заново народился. И размышлять стал совершенно по-другому.

- Крепкий сюжет!

- Еще какой крепкий. Наверно, вы не знаете и об этом?

- Валяй,- вытаскивая сигарету и пристраиваясь удобнее в

надежде, что рассказ будет долгим, согласился однажды Игорь Сергеевич. В тот день он пребывал в хорошем настроении, а жизненные истории, конфликты и забавные ситуации были для него чем-то вроде духовной пищи. Он смаковал их, как хороший коньяк. словно собравшись жевать, перекидывал из угла в угол сознания колоритные выражения и неожиданно-любопытные мысли. Порой увлекался и шел за ними, проигрывая в уме всевозможные варианты и повороты, забыв про рассказчика и не слушая, и его голос ему казался музыкальным сопровождением разворачивающейся картины, нарисованной фантазией журналиста.

- Ты не слушаешь, что ли?- недовольно спрашивали его в такие моменты.

- Слушаю-слушаю!- боясь обидеть невниманием, возвращался тот в разговор и старался быстро восстановить в памяти пролетевшие мимо ушей слова и ухватить главную нить разговора.

Так слушают пьяные, но они на другой день совершенно не помнят, о чем шла речь. Воображение же Игоря Сергеевича в такие минуты могло рождать целые литературные полотна, которые надолго врубались в память, и иногда ему казалось, что они, в самом деле, имели в жизни место. И если бы кто-то спросил его, о чем шла речь, он бы мог такого наворочать, нафантазировать, о чем говорящий не имел ни малейшего представления, что бы другими слушалось с удовольствием.

- У директора консервного завода пропала новенькая машина,- рассказывал Саблин, привычно крутя кистями рук и жестикулируя пальцами.- Вызывает меня заместитель начальника милиции, мол, кровь из носа, а машину найди. На твоём участке завод, а от него все городское начальство кормилось. И наше тоже. Ночей я не спал. Весь район вверх ногами перевернул и ухватился за ниточку. Вела к наркоте. Прихватил одного, и тот колонулся. Приятель его увел тачку. Держал в дальнем селе у старой бабки этого приятеля. По ночам выезжали на ней, воровали, что плохо лежит, грабили, с бабьём крутили, малолеток

насиловали. Выследил я их и поймал на месте преступления. Начали удирать на ворованной «Волге», я их на своем «жигуленке» стал догонять. Залетели они по пьяне в канаву, и я их начал брать тепленькими.

- Ты знаешь, кто я?- нагло спросил главный виновник.

- Там разберемся,- отвечаю ему.

- Я сын Сидорова, заместителя председателя райисполкома.

- Ну и что? Закон для всех равен,- вдалбливаю в пустую башку этому кретину.- И срок тебе наматывают большой.

- Мужики, кончаем с этим ментом!- крикнул сидоровский сынок и кинулся с мантировкой.

Примочил я ему хорошую плюху, да перестарался. Челюсть сломал и сотрясение куриных его мозгов произвел. Сам же и в травматологию оттаранил ублюдка. И взъярились они на меня: и папаша Сидоров, и замначальника РОВД, мол, изувечил, изверг, паиньку-мальчика, стоеросовую тридцатилетнюю дубину. А директор консервного завода вдруг назад забрал заявление. И остался я в голых дураках и виновниках. Они откупились друг от друга, а я оказался бандитом с большой дороги.

- Да-а, оч-чень интересный сюжет для небольшой повестушки,- резюмировал благодушный Уржумцев,- и закрутить его можно так, что слезу прольет сам прокурор. Ну а если по-человечески, по-честному, то ты гусь тоже хорош. Известны твои похождения.

- Ну, не без отклонений. Жизнь таким сделала,- соглашался Павел и беспомощно разводил руками.- А тогда я вдруг понял, что трагически ошибся в выборе своей профессии, что в ментовке тоже нет правды. Поэтому и рванул на Север для духовного очищения.

- И, думаешь, очистился, посвежел?- саркастически-насмешливо спрашивал Игорь Сергеевич.- Прямо заново народился?

- В таких дебрях я не разбираюсь, но тогда думал об очищении. Мелентьев по старой дружбе добился мне вызова, и я,

забрав жену, дочку, смотался. Десять лет отбатрачил за баранкой. Ездил по зимнику и замерзал в сугробах, тонул в тюменских болотах и кормил кровью мошку.

- И не сломил башку?

- Не сломи-ил, слава Богу.

- Матерый ты человечиче, Пал Ваныч, не снимаешь штаны на ночь.

- Смотри с кого,- доверчиво улыбался автомобильный мастер,- а то и неоднократно.

- Вот оно и очищение. Самообманом ты занимался, а не очищением, не благотворительностью. Поэтому и с большими деньгами прикатил.

- Так вкалывал же! И жена не сидела без дела. На базе пахла.

- Не директором?

- Нет, а что тут плохого?

- Да ничего. Все профессии важны, как сказал один басенник. Просто хорошее стечение обстоятельств. Хороший ты мужик, говорю, разбитной, пробойный. И не лезь не в свои сани, не мучай свою душу, не казись. Никто из самых великих не разобрался в своей душе, словно в мусорном ящике. А нам-то, грешным, где уж там разобраться. Пососем, пососем ее, как пиявки, да и сплюнем, не найдя ответа и устав от самобичевания. А поэтому наливай.

- Мне нравится течение твоей мысли,- согласился Саблин, принеся из закутка нераспечатанную поллитровку.

\* \* \*

- Вот на Севере были добрые сражения в карты,- с усмешкой рассказывал Саблин, закусывая зажаренной в тигле курицей.- Как подымется на неделю - две буран - свету белого не видно. Сутками сидишь в бичарнике - гостинице, по-тамошнему. Слышал трассу Надым - Уренгой?

- Слышал, конечно.

- Жратва - консервы, тушенка. От нечего делать играли в секу. Стол полон денег, еще тех, дорогих, советских, и окурков. Спирт, стаканы. Закуске нет места. Один шоферюга продавал спиртягу. Напоит, козел, и обдирает в карты.

- Не пей,- подтрунивал Уржумцев, раскуривая «Астру».

- А чо больше делать? Может, завтра выедешь в рейс и не вернешься. Едем однажды: метель непроходимая. Не видно ни зги. Хотели до Пенгоды дотянуть. Сели полностью в сугроб. Ни в зад, ни вперед. Глушить мотор нельзя - замерзнем. А палево убывает. Ну, спалим борта, деревянные части, колеса. Надолго ли этого хватит? Может, несколько суток придется сидеть? Пусть пампушки на поминки готовят, пошутил бригадир Иван Леонтьевич Мутузкин, имея в виду наших жен. Грустная, знаешь, штука. Надежда-надеждой, без нее нельзя в трудную минуту, особенно на Севере, но и грустные мысли все чаще гложут душу, как голодные волки.

Пробились два мужика на 156-м ЗИЛу и тоже стали. И у них бензин на исходе. Правда, спирт был. Плеснули нам для сугрева, а сами тоже грустные, мол, вместе-то веселее околевать.

- Давай-ка и мы подогреем, уж больно мрачная картина,- подавал голос Игорь Сергеевич, вроде бы внимательно слушающая и мысленно витая в голубых далях неумемной фантазии.- Как наяву вижу эту всепожирающую метель и вас вдвоем с Леонтьевной в кабине. Вам холодно, и вы в предчувствии беды греете друг друга, пробираясь все дальше и дальше в одежные складки.

- Если б Леонтьевна, то куда бы еще ни шло,- смеялся Саблин.- Может, тогда бы и повеселее стало перед смертью. А то Леонтьевич - лысый и старый мужичок, отдавший всю молодость Уренгою.

- Ну, а если б Леонтьевна, молодая и незамужняя? Возможны какие-то неординарные последствия, как у Эмиля Золя шахтер с шахтеркой, оказавшиеся заваленными в забое?

- Не знаю, сам Бог не создал такой ситуации, и слава ему. Живыми оставил. А ведь сколько было случаев. В одном автобусе замерзли шестнадцать человек. Их искали на трассе, а они свернули другим путем, короче. Хотели быстрее проскочить. Сожгли все топливо, салон, скаты. И там же сами погибли. Позже с вертолета их обнаружили.

- Ужас!

- Еще какой. Вот и мы к худшему готовились. Но нам повезло. Выслали на помощь батпруг, два бензовоза «Урал». У них заправились, за ними и пробилась. А ведь какие сугробы намело - выше трактора!

- Значит, везунчики.

- Везунчики, честное слово. Ну, отбатрачил я там десять лет. Думаю, если и были грехи, все сняты. Заказываю билеты, с друзьями прощаюсь. Приезжаю сюда. Устраивает меня на кирзавод заместитель директора. Возить то его, то парткомовского секретаря. Бабу. Да она такой нудной и привередливой оказалась, что и полгода не вытерпел. Из одной тюрьмы да в другую. Кое-как убежал. Покантовался в цехе, а тут и частникам послабление. Купил вот этот вагончик на санях и давай потихоньку вкалывать. Ни милиция тебе, ни партийная секретарша. Один в трех лицах. Кто мешает, так это налоговая инспекция.

- Ну а душу-то успокоил?

- Знаешь, нет. Все что-то ее грызет и тревожит, словно по пьянке нагадил принародно, а по трезвости вспомнил. Тоскливо на ней и одиноко.

- То-то и оно,- многозначительно кивал головой Уржумцев.- А я тебе о чем баял?

\* \* \*

Недобро вспоминалась и работа на заводе. С начальством рядом работать - талант нужен и терпение. Чуть свет уезжать, в ночь-полночь возвращаться. Иногда целый день простоишь

на месте, просачкуешь, а порой и перекусить некогда. А на голодный желудок работать очень даже невесело. Начальство-то перехватить всегда сумеет, даже и за воротник кинуть. Порой до зеленых соплей набраться. А о тебе, водила, не всегда вспомнят. Наверное, как себя сумеешь поставить, как поведешь. Например, Мишка-Цапля, как дразнили директорского водителя, молодой и длинный, будто оглобля, парень, сумел себя поставить. Только директору подчинялся. Как цапля и ходил, поглядывая на всех свысока. Уйдет директор в отпуск или уедет в командировку, и Цапли на это время след простывал. Где, что делает - одному Богу известно. Никто не мог его уговорить на пять минут куда-либо смотаться. Выше шефа себя поставил.

Саблин же не мог отказать, не такого склада человек. Да и возил начальника, который командовал хозяйственной частью, транспортом. Поэтому из-за нехватки легковушек частенько посылал своего шофера. Иной с ним и по-человечески обходился, интеллигентно. А другой смотрел, как на автомобильное приложение к заводу, командовал, дергал, будто мерина за узду. Такой была и Татьяна Федоровна Бондаренко, партийный секретарь. Вечно у нее дела в райкоме, крайкоме. Вечно куда-то спешила. Жена Саблина недовольна, да и шеф его, Кузнецов, не поощрял длительные отлучки. Между трех огней Павел оказался. Горячих и опасных огней.

А тут еще случай, будь он неладен. Пьяный Колька Бондаренко по прозвищу Рыжик, сын Татьяны Федоровны, посадив в кабину грузовика девок, парня, вихрем промчался по поселку и погнал в сторону кубанских холмов. Как тараканы, разбежались в разные стороны от него встречные машины и люди. Позвонили Кузнецову.

- Быстро погнались!- выскочил тот из кабинета.- Наворочают дел, сопляки!

Под полторы сотни в час «молотил» Саблин. Догнал у самого обрыва третьего холма, загородил проезд, и в него чуть

не врезался Колька-Рыжик. В кабине галдеж, магнитофон на всю катушку.

- Ты чего, козел!- высыпала компания с кулаками.- Давно не бит? Сейчас научим уму-разуму. На пятаки порубаем.

- Ах вы, сопляки!- не выдержал Саблин.- Я вам покажу кузькину мать.

Молодые, горячие парни. Да только мало каши едали. Против Саблина - овцы. Колька не успел и глазом моргнуть, как от длинного удара в грудь пошел юзом под грузовик. Через две секунды оказался там и его приятель. Завизжали девки, но Кузнецов, здоровый, коренастый мужчина, выскочив из машины и погладив квадратную лысину, грозно рявкнул на них:

- Цыц, кривоссачки!

Повязав разгулявшуюся компанию, они скидали их в кузов и привезли в народную дружину.

- Татьяна Федоровна,- позвонив домой Бондаренко, сообщил Кузнецов,- тут твой сынок распоясался, так сделай милость, забери его из дружины.

Павел не заметил тогда, что рассек о чей-то зуб мизинец. Он стал быстро опухать и нарываться. И Саблина положили в больницу.

- Инфекцию занес,- мрачно резюмировал хирург.- Мизинец придется отнять, чтобы дальше заражение не пошло.

Так и остался без пальца. А секретарша затаила обиду, зло прошептала при встрече с ними.

- Я вам припомню при случае. Избили, как собак, ребятишек. Да еще на позор выставили.

- Хороши ребятишки, что хрен в оглоблю и с бабами загуляли, чуть аварию не сделали. Мы их от беды, от трагедии спасли, а мама отблагодарила,- не сдавался заместитель директора.

И случай не заставил себя ждать. После первомайской демонстрации посадили они девок из бухгалтерии, чтобы попутно домой завезти. Да угодили на берег Кубани. У Петра Семеновича коньячок нашелся и балычок появился, колбаска копче-



ная и апельсины с «трюфелями». Праздник есть праздник. Их кирзавод встретил его хорошими показателями, выпустил полмиллиона кирпичей сверх плана. В предмайском соревновании завоевал первое место среди промышленных предприятий. За это и на демонстрации шествовал в первых рядах.

- Почетный и примерный труд - достойный отдых,- резюмировал Кузнецов, мотнув разметавшимися на затылке патлами.- Победителям по этому поводу можно и остограчиться.

Особых возражений не промелькнуло. Да и как нужно не любить, не уважать свою профессию, чтобы не отметить производственные заслуги? Налили по единой, хорошо закусили. Еще по единой. А у Пашки в багажнике баян, вчера из ремонта взял. Пробежался по ладам, прогнал аккорды.

Первая любовь, первая любовь

Встретится вам где-то на пути...

Остальные дружно подхватили, и получилось. Складно и звучно получилось. Отозвалось в груди чем-то дорогим и знакомым. А Кубань доверительно плескалась уже успевшими нагреться ласковыми волнами и заманчиво звала освежиться, смыть производственную и моральную усталость. А за ней, на пригорке, загорелись красно-красным огнем головки диких тюльпанов. И повеяло революционным обновлением и душевной свободой. Прибрежные ивы и кусты облепили, распустившиеся нежным зеленым бархатом, мягко покачивались на чутком ветерке, тревожно приветствовали и манили войти в их сень.

Не самые длинные дни в это время года. Соскучившихся за зиму по теплу людей тянет побыть на природе, покупаться в ласковых лучах солнца, поваляться на бархатных коврах травы-муравы, насладиться молодостью весны. И они не заметили, как солнце зашло за холмы, потонуло за распустившимися деревьями густых лесополос, стремительно убегающих вместе с автотрассой в сторону высоких холмов. Земля еще дышала теплом, жила своей жизнью. Кто-то свиристал в траве, и птички

голоса еще оживляли все больше отступающие в темноту кустарники. В такой обстановке трудно не потерять счет времени, не забиться. И разве часто такие моменты бывают в жизни?

А их уже потеряли дома, искали мужья и жены. Звонили в ГАИ - не случилось ли аварии? К счастью, не случилось. Подняли на ноги Татьяну Федоровну - что это за демонстрация, на которой остались их благоверные?

Татьяна Федоровна, по-кошачьи благодушно прикрыв веки, изобразила довольную улыбку, что делала в минуты душевного блаженства. Но все видит, все знает ее рентгеном проникающий взгляд хитрых зеленых глаз. Невозможно провести на мякине опытного партаппаратчика. Да и слух у нее не хуже, чем у бухарской кошки. И не только земля, но и жизнь, как известно, слухом полнится. Видела она боковым взглядом, как садились в кузнецовскую машину молодые бухгалтера-свиристки. Слышала, как беззаботно смеялись, как прыгали легко и безответственно, словно молодые козочки, на заднее сидение.

- Мы будем петь и смеяться, как дети,- тихо и довольно промурлыкала она, словно заранее предугадывая исход.

И начала звонить. В милицию и больницу, в морг и руководству завода, городскому начальству и знакомым.

- Не переживайте, разберемся,- успокаивала она родственников пропавших. Через неделю собрались на очередное заседание члены парткома, на котором стоял вопрос о моральном облике заместителя директора кирзавода коммуниста П. С. Кузнецова и его воспитательном воздействии на подчиненных. Заседание было длинным и утомительным. Бондаренко, чьи зеленые глаза блестели кошачьей мстью, настаивала на исключении из КПСС, что грозило ему концом карьеры. Но мир не без добрых людей. Прямых доказательств не было. Поругали, пожурили друзья-заводчане товарища по партии ёрника Кузнецова, от чего его лысина, обсыпанная будто обломками кирпича, пошла бурыми пятнами, и обошлись «строгачом».

Остальные же виновники «кубанского рейда» не были членами этой серьезной организации, поэтому отделались легким испугом или мужниными оплеухами и нравоучением. Не попал под партийно-нравственный обстрел и Саблин. На другой день он принес Кузнецову заявление. «Прошу уволить по собственному желанию».

- Чего ты занервничал, эту высоконравственную дуреху испугался?- скаля редкие зубы, спросил с улыбкой Петр Семенович.- Она сама по уши погрязла в райкомовских шашнях.

- Я знаю, поэтому не хочу быть предметом для избияния,- спокойно и рассудительно ответил Павел.- За сто пятьдесят колов вкалывать день и ночь и еще расшаркиваться перед каждой шавкой - ты уж уволь. Еще и дерьмом обмазали.

- Дело хозяйское,- глядя потную лысину, посочувствовал Кузнецов.- Захочешь вернуться - возьму.

- Вы уж тут как-нибудь без меня складывайте бурые кирпичи в здание своего светлого будущего. А я стану сам себе начальник и голова.

- Служить бы рад - прислуживаться тошно,- словами классика выразил потом состояние его души Уржумцев и одобрительно подмигнул.

Так стал Саблин автомобильным мастером, лицом не то юридическим, не то частным, не то еще каким, о чем сам толком не знал. Да он об этом и не задумывался. Он стал хозяином, и его беспокоили клиенты, запчасти, масла, цены, а позже и налоговая инспекция, обрушившаяся вдруг на предпринимателей, как снег на голову.

- Оштрафовали, гады, мол, заработок скрываешь, налоги не платишь,- жаловался он Игорю Сергеевичу.- На пятьдесят рублей.

- В смысле тысяч?

- Ну да. Так они сейчас ценятся, как при НЭПе.

- И что теперь?

- Дня три на это придется пахать. Отпашу.

- У тебя и имя соответствующее - Паша.

- Вот это правда. А я думаю, чего меня так на работу тянет? Оказывается, самой судьбой предназначено.

- Вообще-то в переводе с латинского Павел - это малый. Но, видать, мал золотник, да дорог.

- Верно, коль на полтинник оштрафовали,- согласился Саблин.- Как-то одно время меня гаишники подлавливали. Раз права забрали, два. Отрывался один раз от них под этим делом. Иду в крутой подъем за сто. А навстречу прет по моей стороне КамАЗ с прицепом. Крутанул я вправо руля, а там куча гравия. Пошел винтом, перевернулся на крышу и вновь встал на колеса. Подбежал мужик с КамАЗа: «Ты чо?» «А ты чо?»

Вытащил я бутылку из бардачка и выхлестал через горло на радостях, что жив остался. А тут и гаишники подоспели.

- Снова пьяный за руль садишься?

- Только сейчас выпил. С перепугу. Вот свидетель.

- Точно?- спросили того.

- Точно. При мне пил,- ответил водила. Вот так и выкрутился.

- А машина?- спросил Уржумцев.

- Почти не помял. Да ведь сам мастер. А гаишники потом подружились со мной. Нужный я им человек, на халяву ремонтирую.

- Не зря говорят: такова жизнь.

- Не зря.

- Ну, теперь-то ты доволен собой и жизнью? За грехи отбатрачил. Никому не подчиняешься, никого не боишься. Зарабатываешь много. С выпивкой завязал. Дом полной чашей ломится. Жена с дочерью избалованы тряпками и питанием. По субботам в Краснодар за дочерью мотаешься, что не ближний свет. По воскресеньям обратно в институт отвозишь, как барчука. Что еще надо? Такие люди не могут быть недовольными жизнью, новой властью. Они на коне.

- Вроде бы все есть,- согласился Павел.- Я себя не обижаю. В том году костюм купил за двести тысяч.

- Вот видишь. А я за десять кое-как наскреб. На работу не в чем ходить. Стоило кончать университет, быть одним из лучших на факультете, считаться хорошим журналистом, чтобы получать пятьдесят-семьдесят тысяч, то есть рублей по-старому? Регресс, возвращение в первобытный строй. Неграмотная Машка в буфете или дуrolом-кооператор в сотни раз больше получают талантливого инженера или журналиста. Это ты теперь считаешь справедливым? Конечно, если прикинуть, что квартира, дача, машина, на которую всю жизнь собирали с супругой, сейчас стоят миллионы, то меня можно назвать миллионером. Только миллионер-то дутый и нищий. Помри завтра, и схоронить не в чем. Докатились: хоронят в целлофане, гробы берут напрокат. А раньше хоть двухрублевая колбаса, но не выводилась из холодильника. При желании и коньячку мог позволить выпить, не опускаясь до гаражного самогона.

- С одной стороны,- почесав за ухом, растерянно посмотрел Саблин,- вроде бы не на что обижаться. Работа есть, деньги есть, все есть. А с другой стороны, все это и раньше у меня было.

- И у других было, и у очень многих!- подхватил Уржумцев.- А теперь у единиц.

- Посмотри на завод,- вновь согласно заговорил Павел,- рабочие, жёгари по несколько месяцев не получают зарплату, ведь у каждого семья, ее кормить надо. Да и получают копейки. А тот же Кузнецов - миллион двести. Директор три миллиона. Ленточки на зарплату теперь дают только каждому в руки, по негласному приказу директора, чтобы «коммерческую тайну» не разглашать. Высшее начальство получает по отдельному списку прямо в своих кабинетах. А сейчас вот в два раза добавили им зарплату, значит, по три-шесть миллионов будут они получать. Да плюс всякие сделки, да по несколько коттеджей строят из бесплатного заводского кирпича. Силами стройотдела. По несколько «тачек» имеют. А рабочий хлеба не может купить. Выходит, от чего ушли в семнадцатом году, к тому и

пришли. За что боролись, на то и напоролись. Хоть они меня и не касаются, а снова тяжело на душе, думы всякие лезут.

Саблин вновь почесал за ухом рукой, на которой не хватало одного пальца, долго и растерянно смотрел в потолок, словно там мог найти ответ.

- Наконец-то понял, слава Богу,- усмехнулся Игорь Сергеевич.- Я по своей душевной темноте, по неверию социалистической пропаганде думал, врала она, что хозяева были эксплуататорами. Ну, если теперь руководители предприятий эксплуатируют и обманывают своих бывших товарищей по заводу, так чего ожидать манны небесной от законных хозяев, помещиков и капиталистов? Мы еще сами не понимаем, в каком обществе жили! Думали, с рыночными реформами каждый станет хозяйчиком. Как бы ни так. Недаром диссидент Александр Зиновьев, выпертый из Союза двадцать лет назад, ту систему считает самой прогрессивной. И теперь удивляюсь, как же они в семнадцатом отдали свою власть? Я думал, что марксистские теоретики запудрили мозги народу, сбили с толку. Но, наверно, и народ не хотел больше терпеть. Эти не отдадут, хотя сначала и растерялись, особенно директора. Но им и теневикам создали хорошие условия, они наворовали народные миллионы и стали князьками. Люди боятся выступать на собраниях, говорить правду, ибо будут вышиблены с работы и останутся без последнего куса. Протест выражают тем, что не ходят на выборы. Те же действуют наоборот, выборы взяли в свои руки, кормят и поят на них, платят по двадцать тысяч членам избирательных комиссий, дают отгулы. А что проще, как надуть пьяную и купленную комиссию?

- Думаешь, подтасовывают?

- Еще как. Возразил Верховный Совет, так его безжалостно расстреляли. Кровь в «Белом Доме» лилась рекой, ни детей, ни женщин не пожалели. Так чем же Черный Октябрь лучше Красного Октября?

- Политики воду мутят,- вставил неуверенно кубанский казак.

- А народ, как всегда, отдувается. Они узурпаторами называются, и плевать им на народ.

- А партийные начальники не так жили?

- Я их не оправдываю. Хотя вон первый секретарь райкома Иванов был честным человеком, до конца остался с партией. Второй же, Брындя, у меня в отделе начинал. Хреновеньким шелкопером был. Чтобы не мешался под ногами, этого демагога выше двинули, в замредактора. Потом проскочил в райком. А как началась заваруха, переметнулся директором банка, забыв про «святое назначение партийной идеологии», как он любил выражаться.

- И что?

- Вжился в коммерческие структуры. Лупит грабительские проценты за кредиты, разорил все предприятия, в том числе и районную газету, которая вытащила его из грязи в князи. Не Сбербанк «Поиск», а «Происк» я его называю. На полгода подписка стоила две тысячи рублей, затем шесть тысяч, и так подскочила с полутора целковых при коммунистах! Как выжить? Пошел я по старой дружбе к Брынде, мол, из нашенских вышел, помощи. А он: «Мы бедным детям помогли, Петровскому дурдому. Вы уж сами выкручивайтесь, хоть торгуйте на Казачьем рынке». Сморчок, там смотреть не на кого, доходяга, а туда же - князек! Видишь, какая дурдомовская идеология? А сам, подлец, довел цену на тонну бумаги до шестисот тысяч. Это вместо прежних ста рублей.

- Таких убивать надо!- вскочив со стула, не выдержал Саблин, чего собеседник никак не ожидал.

- К этому они и ведут, перестроечные мошенники. Решили вновь в быдло превратить народ. Не всегда же он будет терпеть, а бунты в России беспощадные, как предупреждал Александр Сергеевич. Вот и пришла пора их возрождать.

- Вот и кирзаводские гонят, как перед всемирным потопом. Кирпич есть, стройматериалы есть, бесплатная рабсила есть. Все районное жулье у них пасется. Целый подпольный посе-

лок строят. И охраняют милицией, боятся, чтобы красного петуха не пустили, не разбомбили их дворцы-коттеджи... А когда директора спросили об его зарплате, он сказал, сто пятьдесят тысяч получает. Им соврать, что два пальца обмочить.

Долго еще мужики говорили, отводили душу, беспомощно вздыхали и разводили руками. Молчали, каждый думал о своем, наболевшем. А что остается делать, думал грустно журналист, коль мы плохо в школе, техникумах, институтах, как и наши сверстники, изучали марксистско-ленинскую теорию? Коль допустили сделать с собою такое, какое сделали демократы с нами и страной? Почему стали такими инфантильными, сами за себя и свое счастье не можем постоять! Обыватели несчастные, матушка лень заела! Уржумцев с неприязнью и ненавистью вспоминал этих, на первый взгляд, недалеких, но бойких людишек, которые не растерялись в минуты роковые, присвоили и украли все, что можно было присвоить и украсть. Они и в партию из-за этого лезли, как тот же Брындя, словно молодой петушок с черным гребешком волосенок на конусообразной макушке. «Большой идеолог», который продал себя и свою вшивую идеологию ради личной мамоны.

- Почему же ты не пошел по их пути, ведь коммуняки все мазаны одним миром? - вдруг с жаром и подозрением спросил Павел, жестикулируя руками. - Такие статьи пишешь, и не смог, что ли?

Тот долго и с улыбкой смотрел на мастера, прикурил погасшую сигарету и негромко ответил:

- Конечно, смог бы и я найти себе тепленькое местечко, в том числе в коммерческих структурах. Связи были. Но ведь столько лет отдал своей работе, профессии, людям. Бросить ее сейчас, значит, предать, предать, как родного дитя, перечеркнуть и предать свою жизнь. Не надо думать, что все коммунисты были дерьмо. Раньше ругали коммуны за власть, теперь за то, что бросили народ на растерзание демократам и тенивикам. У народа вечно кто-то виноват, только не он сам,



способствующий отстранению этих коммуняк. Верхушки партии предали, а обленившийся народ способствовал освобождению коммунистов от власти, срубил сук, на котором сидел сам. Это ж надо так поглупеть или спиться, что пойти против себя и своего счастья! И нечего винить всех коммунистов. Их теория самая лучшая и справедливая. Только иным умникам и лодырякам все больше надо и за здорово живешь, лень даже мозгами пошевелить и ударить палец о палец.

Не подумай, что я ортодокс. У меня тоже были претензии к идеологам и теоретикам. Но почему в войну, уходя в бой, простые необразованные мужики, родителей многих из которых совсем недавно беспощадно раскулачили, как мироедов, просили в случае гибели посмертно считать их коммунистами? Нельзя брать коммуниста за эталон совести и поступков, что я считаю лицемерием и рабским зализыванием одного интимного места, ибо в партии было немало прохвостов и карьеристов. Эталоном всегда должны быть порядочность, человечность, правдивость. Только порядочностью можно оценивать человека, а не принадлежностью к той или иной партии или фракции, которые уже являются политикой. А там, где политика, там борьба за власть и ложь. Пример: первый секретарь райкома и второй. Первый остался с партией, народом, а второй выгодно и вовремя слинял и душит этот народ, не способный разобраться в ситуации. Оба коммунисты. Только один порядочный, а второй дерьмо и жулик. Тысячи людей пускает по миру и думает, откупился за свои грехи, если помог десятку сирот или душевнобольных. Паразит на народной шее и ведь считается уже капиталистом, банкиром. А раньше бы его за перерасходованный рубль или копеечную взятку выгнали из партии и с работы в три шеи, потому что берегли народное достоинство и честь партийца. Теперь он разъезжает на «Мерседесе», сыну купил «Тойоту». Жёгарь кирпича, работяга, вкальывая на восьмидесятиградусной жаре, получает сто тысяч, а банковская уборщица миллион. Раньше была кухарка у власти, и хоть

что-то делалось для народа, а теперь техничка у денег, и блага делаются для вора. Раньше в ночь-полночь иди - и никто не тронет. Теперь среди бела дня вламываются в квартиру, грабят и убивают принародно на улице, и никому нет дела, потому что первое жулье - это силовые структуры, которые должны стоять на защите народа.

Поэтому человек не защищен, унижен, растоптан. Даже к тебе, которого боится половина города, залазят в бронированную мастерскую, не раз срывали двери дачного домика. А что говорить о немощных, стариках? Такая тебе нужна демократия, такое хозяйничанье? Это называется разбоем с благословления высшей власти и при ее активном участии, ибо нос у нее здорово в пушку.

Не все понимал в его словах вдруг подрастерявшийся Саблин. В последнее время он не смотрел телевизор, не читал газет, а книги и в спокойные времена не очень-то любил. Теперь же вообще не до этого. Его беспокоили запчасти, погода, клиенты, «навар», ради которого хлестался без отдыха и выходных. Он даже бросил пить водку, карты, потому что это отнимало время и средства, которые нужно было пускать в оборот. Его беспокоили растущие, как на дрожжах, цены на детали, масло, бензин, дошедший уже до трехсот рублей за литр и стоивший совсем недавно, при кровопийцах-коммуняках, четыре копейки! Да мыслимо ли такое, люди?! Это что за сказочный мир, спросят нас будущие внуки. Теперь цены доводят до мировых? Тогда почему не доведут зарплату до мировой - семь - десять миллионов деревянными?

«Зарабатываешь ты много,- говорил он сам себе.- Но стал ли жить лучше? Снова обошли тебя на повороте Кузнецовы и Брынди, гребущие за чужой счет миллионы. Да, ты стал предпринимателем, хозяином, чем и тешишь свое самолюбие, вкальываешь, аж мотня мокрая. А эти политические жулики, не ударяя палец о палец, стали миллионерами и будут миллиардерами, посмеиваются над тобой, как над самым последним

идиотом. Боже мой, кому же верить? Или ты специально создал одних хозяевами, других батраками? Значит, и у тебя нет правды и равенства?»

- Ты так складно и умно говоришь, тебе нужно быть народным лидером,- продолжил он вскоре.- А почему же ты идешь в эти проклятые гаражи, куда стекается вся нечисть?

- А куда пойти простому и бедному человеку, где излить свою душу? Прессе и обществу ты не нужен, читать или слушать тебя не будут, потому что все считают умным только себя. Гараж - это наш брат, в котором не только моют и чинят машину. Ты в нем можешь отдохнуть от текучки и побыть в одиночестве, встретиться с массой таких же затурканных и одиноких людей, безбоязненно высказать свои мысли и излить душу. Опуститься до низменных желаний и покаяться, словно в церкви, за свои грехи и проступки. Не знаю, очищает ли нас гараж, делает ли духовно богаче, но стресс снимает. И мы вновь возвращаемся в жизнь, будто получили оздоровительную пилюлю... Да и куда пойдешь, когда стадионы и дворцы закрываются, когда за вечер в ресторации отстегнешь месячную зарплату?

Помешкав с минуту, он поднялся и подал руку.

- Ну, будь здоров, Пал Ваньч. Давай паши, а я, облегчив душу, побегу к делам ежедневным, к проблемам, решать которые человечество разучилось.

Его встретила легкая мартовская поземка вернувшейся после оттепели зимы 1994 года. Вроде вовсю хозяйничала весна, а поди ж ты, как и в обществе, все перемешалось, подумал неприятно Уржумцев, подняв воротник пальто. Улица была пустынна, будто вымерли все от немилосердной чумы. И только с кирзавода, как из крематория, доносился едкий запах дыма, стелющегося низко над землей. Он знал, что работала лишь одна печь. Остальные давно стояли и остыли. Их рабочие были в принудительных отпусках без сохранения зарплаты. Разве не парадокс: люди хотят работать, а им не дают? На начальство

пашет, родная, мелькнула недобрая мысль. На дворцы и коттеджи новоявленных нуворишей. Вот как можно поссорить еще недавно дружных и трудолюбивых людей: сделай собственность частной, и общество разделится на две части врагов - эксплуататоров и рабочих. Сколько же народу погибло за установление Советской власти, за установление равенства в революцию 1917 года? И все жертвы - коту под хвост. Умные учатся на чужих ошибках, а мы на своих кровных не можем научиться, думал скорбно журналист.

Игорь Сергеевич тихо и безрадостно брел по пустынной улице и не хотел ни о чем думать, ведь за него кто-то уже подумал, не хотел беречь душу, неприкаянную и одинокую.

Через неделю из саблинской мастерской вновь донеслась разухабистая песня. - Неужели Пашка загулял?- дивились люди.- Три месяца в рот не брал, как красна девка, ходил. Раз-румянился, отпустил животик. Шабашку без отдыха бил...

Скребет по дну кастрюли поварешка,  
Последнее разлито в стаканы.  
Сыграй мне на дорогу, Игорёшка,  
И я пойду закладывать штаны.  
Жёнушка-заинька,  
Ты с деньгами - паинька.  
Без денег ты старенька  
И росточком маленька.  
Конечно, если б власть нас пожалела  
И если б президент нас понимал:  
Давно бы мы кончали это дело,  
И нас бы миновал большой скандал.  
Наше дело - не рожать,  
А бежать сообщать,  
Но где взять на то денег,  
Коль со всех сторон зажат?

Люди останавливались послушать, замолкали. Кто посмелее, поближе знаком с хозяином мастерской, подходили

к самым дверям, заходили или заглядывали внутрь. С любопытством смотрели на хозяина. Вроде трезвый, только остекленелые глаза, как и раньше в такие минуты, смотрели куда-то вверх, невидяще.

Не плачь навзрыд, простуженная хромка,  
Дались тебе последние штаны.  
А может быть, зайдем «кусок» у Ромки  
И до знакомой завернем шпаны?  
У меня без денег жар  
И в душе большой пожар.  
Невозможно без денегжат,  
Коль конечности дрожат.  
Но где же ваша правда, демократы?  
Ваш новый рай - гнилой капитализм.  
Вы сами разжирили, как пираты,  
Удел народа - скатываться вниз.  
У народа нет денегжат,  
Он со всех сторон зажат,  
Пропадает в нищете,  
А у власти все не те.  
Облизана до блеска поварешка,  
И высохли от жажды стаканы.  
Сыграй мне, Игорёшка, на гармошке,  
И я пойду закладывать штаны.  
Без зарплаты, без труда  
Ни туда и ни сюда.  
Наш удел - катиться вниз,  
В ваш гнилой капитализм.  
Не прибудет детворы,  
Коль в правительстве воры,  
Коль дебил тот до стих пор -  
Главный демократовор.

## ДАЧНЫЙ ПОГРОМ

Это был настоящий погром. Михаил Иванович почувствовал неладное еще утром, не успев проснуться. И потом, когда они с женой подъезжали к своему садовому участку, он издали, из-за бугра дренажной канавы, из-за редких, не сгоревших осенью камышей, успел увидеть, что у домика открыта чердачная дверца.

- Видно, неожиданные гости побывали!- мрачно бросил он Вере Прокофьевне, нервно крутя баранку и лавируя между глубокими колдобинами разбитой тракторами и тяжелыми грузовиками ничейной дороги, по которой добирались дачники до своих далеких участков и которую никто и никогда не ремонтировал.

Еще стояла ранняя ставропольская весна, было начало марта, но снегу уже давно не было, и пенсионеры Кашигины, как было заведено много сезонов назад, ехали на дачный участок, чтобы посмотреть, что с ним произошло за зиму. И Михаил Иванович при подъезде каждый раз пессимистично-обнадеживающе приговаривал слова любимого с детства поэта:

- Тогда считать мы стали раны, товарищей считать...

Года два назад они вот так же весной направлялись на дачу. Он собирался взять с собой ружье и забежать ненадолго на рядом раскинувшиеся болотца, для отвода души поискать пернатую дичь, полоснуть дробью из ижевской двустволки и расколоть создавшийся за зиму покой укрывшейся под невысокой горой степи.

- Да чего ты еще с ружьем будешь воловодиться?- высказалась жена, на все имеющая свое беспрекословное мнение.- Не для этого же едем.

- А вдруг пригодится,- не то возразил, не то нехотя согласился супруг и ружья не взял. А когда свернули на свою улочку, увидели, что металлические столбы забора, бывшие в употреблении трубы соседской дачи - были выкопаны из зем-

ли и недвижно лежали вдоль заросшей травой дорожки, будто взвод расстрелянных солдат.

- Мать честная!- воскликнул Кашигин, останавливая старый «жигуленок» и выскакивая из кабины.- Только что выкопаны, и этот злодей где-то здесь. Говорил, надо ружье взять!

Если честно, то чего ему жалеть чужое добро, чужой огород, ведь его хозяина он считал порядочной сволочью и интриганом. В 90-е годы, когда началась смута, Нагиев работал слесарем на их заводе. Под общую заваруху и неразбериху стал выдавать себя за ярого демократа. С пеной у рта выступал на собраниях, в хвост и гриву чесал партком и коммунистов.

- Ко-ончилась власть коммунык. Демокра-атия наступает. Капитализм возвращается. Теперь заживем, как у Христа за пазухой. А этих красных, как собак, надо беспощадно стрелять! Пусть вернут богатства наших дедов...

Михаил Иванович слышал, что у деда Нагиева до революции был дом терпимости. И, видно, свет предполагаемого далеким внуком красного фонаря у его входа не давал Ромке покоя. Он нахально стучал во все двери. В руководителях завода, цехов, смен непременно видел потенциальных воров и хапуг. Жаловался на них в милицию, прокуратуру, забрасывал письмами редакции городских и краевых газет. Покоя не было в коллективе еще недавно крупнейшего и градообразующего предприятия.

- Михал Иваныч,- обратился как-то к Кашигину директор Неустроев.- Ты не возьмешь этого придурка Нагиева куда-нибудь в свою службу? Изведет ведь он нас, подлюка, доведет до инфаркта или разорит коллектив.

- Мне нужны механики, инженеры, а куда с семью классами возьмешь этого пенька?- резонно возразил главный инженер.- Ты уж в какие-нибудь другие структуры засунь его, где демократическая дурь не так будет видна.

И ломал директорскую голову Неустроев, пока не поставил его начальником караула в охрану, где может сгодиться

его зубастость. И вскоре число краж стало расти, а количество задержаний катастрофически падать. А потом в ночную смену Нагиев сам организовал попойку, и пришлось его вышибать в три шеи.

Кашигин грешил и на соседа по даче. То хорошие кочаны капусты кто-то срежет, то выкопает только что посаженные саженцы груши или яблони. Конечно, не пойман - не вор, рассуждал Михаил Иванович. Но откуда знает пришлый человек, что растет у тебя на участке? А этот все видит через забор, да и собственной персоной заходит и осчастливливает, чтобы поспорить с хозяином на политические темы.

- И спорить не хочу со схоластиком и демагогом,- пытался отделаться от него главный инженер,- только нервы портить!

Но тот не уходил, настырно лез в спор, хотел довести до белого каления.

- Вы, коммуняки, как фашисты. Сколько людей раскулачили. В ГУЛАГ посадили!- с пеной у рта кричал он.

- А не коммуняки ли спасли от фашизма весь мир? А не ваши ли хваленые дворяне типа Колчака первыми открыли концлагерь?- заводился не на шутку Кашигин.- Коммуняки бесплатно строили и давали квартиры, учили в школах и институтах, лечили в больницах и санаториях. Раньше я за ползарплаты мог из конца в конец пролететь или проехать весь необъятный СССР. А теперь пролечу, как фанера над Парижем. А ты эту чепуху мелешь со слов западных идеологов, которые рады развалить наш непобедимый Союз. Ты - враг советского народа.

- Правильно, а вся власть была у коммунистов. Что хочу, то и ворочу.

- Потому такие, как ты, и лезли туда, чтобы сделать карьеру и пристроиться на тепленьком месте. Такие и развалили наш Могучий и Великий!- не сдавался и все больше серчал хозяин.- Только дураку стеклянный хрен ненадолго. Ты своим горьким примером это доказал.

- Да хватит вам!- успокаивала их Вера Прокофьевна.



- Все, иди к шутам!- выгонял Нагиева Кашигин.- Доведешь до инфаркта. - Но день уже был испорчен. И пропадала радость от возрастающей зелени и урожая, от труда, с удовольствием отданного земле.

Изо всех сил гадил ему Нагиев. И чего бы жалеть выкопанные из его огорода трубы? Но как же иначе в соседском деле, напряженно думал Михаил Иванович. И тут он увидел мелькнувшую тень в конце огорода. И догадался, что кто-то кинулся в камыши. Он пошел быстрым шагом туда и вскоре увидел поднимающегося из камышей человека. Он был еще молод, лет 20 - 23. И не походил на привычного бомжа.

- Это не я!- с хрипотцой выдавил он, видимо испугавшись грозного облика Кашигина.

- Что «не я»?- спросил тот.

- Столбы выкопал.

- Тогда почему убегаешь? Хочешь, чтобы из дробовика в тебя засадил?- припугнул для остратки.

- Так ведь на меня свалите,- оправдывался тот жалобным голосом.

- Чего вы тут шляетесь, уже осточертели хуже горькой редьки. Быстро пошли в машину, отвезу тебя в милицию. И не вздумай убежать, застрелю, как собаку!

Обведя его уверенным взглядом и давая понять, что иначе он и не может поступить, Кашигин зашагал к машине. Но вскоре за спиной услышал хруст старых камышей и всплеск воды. А когда обернулся, понял, что это ломанул через глубокую дренажную канаву с ледяной водой пойманный им человек.

- Стоять! Стрелять буду!- как испуганному зайцу, крикнул он с улыбкой вдогонку. Но того уже не было видно. Наверное, перебежал дорогу и нырнул в трехметровые прошлогодние камыши.

А ведь ружья-то не было. Да и стрелять бы он не стал из-за ржавых труб. Хотя человек их где-то находил, а скорее всего, прибрал к рукам, вкапывал, затратил свой труд. Вот и пойми

русского мужика: ему гадят, а он их жалеет. И на обратном пути заехал во двор дома, где жил Нагиев. Он в беседке что-то жарко доказывал соседям и размахивал длинными руками. Очередную лапшу вешает на уши простачкам, решил Михаил Иванович, и в нем вновь появилась неприязнь к этому скользкому, как уж, человеку. И все-таки подошел, заговорил:

- У тебя на даче сейчас выкопали трубы, а ты все правоту качаешь. Иди, пока не утащили.

- Да куда я с больными ногами, ведь я добиваюсь инвалидность?- возмутился Нагиев, со злобой ударив ладонями по коленям.

- А я думал, с больным языком,- засмеялся Кашигин.- Но мое дело - сказать по-соседски.

\* \* \*

Он доехал до своего участка, глянул через сетку забора и тяжело, со скрываемым стоном, ахнул. Замок невысокой калитки был сломан и валялся рядом. Замок, калитка, как и сам забор, скорее, были символическими, чем охранительными. Перемахнуть через эти преграды совсем нетрудно, но человек с совестью не станет этого делать. А вот входная дверь домика была сделана из доски-сороковки и снаружи обита жестью. Лет пятнадцать она надежно охраняла его от любопытных глаз и похитителей чужого имущества. Хотя какое может быть имущество в дачном домике? Хороших вещей в нем не держали. Да, были два стула, кривоногих стола и ковровые дорожки, но далеко не первой свежести, которые в квартире держать стыдно, а сразу выбросить жалко. Оставили на потом, пусть полежат, покормят моль, подготовят хозяев психологически, а там уж будет не так жалко. Худая одежда, разбитая обувь, лопаты, тяпки да грабли с ржавыми ведрами. Денег и наркотиков на дачах не держат. Кто умный может позариться на этот скарб?! И ведь те, кто лазят по домикам, прекрасно знают об этом. Но что ими руководит, какие бесовские задумки и фантазии? Или

нынешние политики и узурпаторы их превратили в зомби?

За эти годы, хозяин догадывался, не раз кто-то пытался проникнуть в домик. Пробовали чем-то вырвать двери, о чем говорили следы на дверных косяках. Разбивали стекла окон, хотя за ними стояли решетки. Не тюремные, конечно, а самодельные из шестимиллиметровой проволоки. Кашигин тихо ругался, но снимал размеры, заказывал шабашникам стекла и вставлял на место.

С годами утащили металлическую трубу, которую они купили в приемном пункте металлолома, чтобы задействовать вместо опоры под электрические провода. Но поставить не успели, ибо уже все рушилось, и садово-огородный кооператив обсточили.

Потом украли чугунную ванну. Она была старая и дырявая. И ее подарил Кашигину начальник стройотдела Владимир Васильевич Сенькин. Михаил Иванович с двумя сыновьями тащили ее, наверно, целый километр от дачи Сенькина. Вкопали один край в землю, заткнули палкой и тряпками дырку и разводили в ней раствор, когда строили стены и штукатурили домик. Так она и осталась там, обросшая по бокам схватившимся бетоном. В нее наливали воду для поливки. Но в начале 2000-х кому-то она помешала. Ее вытащили из ямки, но унести не смогли. Не под силу оказалась ночной бригаде любителей металлолома.

Но однажды утром, придя на участок, Кашигин стал пристально осматриваться: чего-то вроде бы не хватало. Потом увидел рядом с бетонной дорожкой куски чугуна. И догадался, что ванну разбили на куски и унесли или увезли. Голь на выдумки хитра. Да ведь и сам Михаил Иванович, хотя в недавнем прошлом носил высокий чин главного инженера завода, не был богачом и считал себя перестроечной голью. А участок держал, чтобы не умереть с голоду самому, а также семьям детей и внукам. Да и что делать пенсионерам, привыкшим за долгие десятилетия к труду, к своему производству, к своему

коллективу? Со скуки можно сдохнуть. Или спиться, если будет, конечно, на что.

Он еще издали заметил, что его вроде бы неприступная дверь распахнута настежь. Исковеркан и вырван внутренний замок, вырвана с мясом задвижка, которая могла закрываться снаружи и держала надежно. Стекло со стороны огорода разбито. Решетка изогнута, ведь против лома нет приема. Тут, видимо, и залезли.

В комнатухах все вверх дном. Люк на чердак вырван вместе с навесами и сброшен на пол. Столы, диваны-кровати перевернуты. Кругом валяется и скрипит под ногами битое стекло, ржавые гвозди, что остались еще от стройки и лежали в целлофановом пакете в кухонном столике на всякий случай. С чердака сброшены ржавые куски проволоки, старые мешки. Поверх них разбросаны лопаты, тяпки, грабли. Вода из пятилитровых канистр вылита на диваны, половики. И во всю стену глубоко процарапана чем-то острым фашистская свастика.

И это была самая большая обида, ведь с Великой Отечественной войны не вернулись отец Михаила Ивановича и дядя. А старший брат пришел контуженным и всю жизнь мучился от последствий войны. Да и сын Кашигина увидел лиха в Карабахе и Чечне.

- За что же обидели семидесятилетнего человека?- со слезами на глазах спрашивал себя Михаил Иванович.- За то, что почти полвека протрубил на заводе, поднимал разрушенную войной страну? Поднял детей, помогаю внукам? Да есть ли справедливость на белом свете, есть ли Господь-то? Или нас бросили президенты и политики, забыл и сам Христос? Пусть старики и внуки помирают с голоду? Да что же это за страна такая, самая богатая в мире, где люди живут всех беднее и незащищеннее?

Он бессильно опустился рядом с порогом, и по его морщинистому лицу покатались редкие и горькие слезинки. От них ело в глазах и щипало возле носа. А последний раз перед этим

он плакал 37 лет назад на похоронах матери, когда был еще очень молодым и здоровым.

Жена его, Вера Прокофьевна, с которой делили радости и невзгоды почти полвека, тоже тихо плакала, уткнувшись головой в перевернутый вверх нутром диван. От незаслуженной обиды, бессилия, отворачиваясь друг от друга, плакали старики.

\* \* \*

Землю под сады-огороды давали в первой половине 90-х. В клубе проводилось собрание, и подавший заявление Кашигин на нем присутствовал. Тут же написали номера участков на бумажках и тянули жребий. И хотя соседом Михаила Ивановича стал неприятный и мерзкий демократ Нагиев, Кашигин не особо обратил на это внимание: детей с ним крестить, что ли? Хотя в глубине души и зародилось легкое подозрение или недоверие: он казался каким-то крученым и несамостоятельным. Да таких ли субчиков видел и обламывал главный инженер. Он тут же и забыл про соседа.

Досталось по шесть с половиной соток. Да еще разрешили прирезать оставшуюся до дренажной канавы территорию, сильно заросшую камышами. Конечно, не бесплатно. Лишние сотки бросовой земли вошли в план огорода. А что из них, как китайский бамбук, прет неумолимый камыш, дела никому нет. Борись своими силами, коль решил стать огородником-садоводом. Да они и не сетовали, ведь дети начали жениться. Стали появляться внуки. И всех их чем-то нужно кормить, обеспечить жильем.

А работу стало лихорадить, как и страну, и саму жизнь. Кашигины особо не боялись за жилье, ведь завод каждый год сдавал новые дома, И у них была трехкомнатная квартира. Но вдруг строительство прекратилось. Куда же поселить молодые семьи? Ну, обменяют они свою квартиру на две. А что дальше - ломали головы.

- Давай на даче построим домик побольше, может, нам, ста-

рикам, придется там жить,- предложил он однажды жене,- ведь скоро на пенсию.

- Замерзнем там,- возражала она.

- Печку сложим, крышу чуть повыше подыдем, чтобы при надобности на чердаке мансардочку устроить. Сарайчик заведем для кур и поросенка. Не зря же мы когда-то выполняли Продовольственную программу. Не жизнь, а нирвана будет.

- Чего тебя под старость на природу потянуло? Не наработался еще за полвека?

- Наработаться-то наработался. Да вот молодым-то где жить? Мы уж как-нибудь обойдемся.

- Пусть невест берут с квартирами,- бубнила жена.

- У тебя много было квартир, когда я тебя брал? Такие и наши сыновья бесхитростные, голь безлошадную и берут, что свадьбы мы сами проводим, а сваты там - сбоку припёка. На чужой каравай сами рот разевают...

Землю под участки вспахали, и Кашигины осенью и зимой рубили лопатами пласты дерна, копали землю и выбирали камни. Их было жутко много. Крупные и мелкие, круглые, отполированные и угловатые. Очевидно, тут когда-то проходило русло Кубани. Они быстро заполняли ведра и относили в большую кучу. Часть из них со временем пойдет на фундамент домика и на бетонную дорожку. Часть на бетонирование столбов забора. Та зима была малоснежная, теплая. И если выпадал снег, то быстро таял. И они вместе с женой, сыновьями в свободное время, как пчелы, трудились на даче. А весной стали сажать картошку, деревца, овощи. Заливать фундамент будущего домика, и Кашигин-старший мотался по городу на своем «жигуленке» в поисках цемента и других строительных материалов. Размеры его были 6 на 4 метра, то есть скромны, как сами хозяева, как выражались сослуживцы. Да печка. Получаются маленькая прихожая и комнатка. Но при нужде жить двоим старикам там можно. Все не на улице, не бомжевать, не таскаться по теплотрассам и подвалам-крысятникам.

Михаил Иванович нашел заводик по производству бетонных блоков. Правда, они на два сантиметра были меньше стандартных, но это уж лежало на совести производителей, норочивших поживиться за счет покупателей. Там же и большую машину нанял, привез блоки на участок. А потом на кирзаводе колхоза имени Чапаева купил красного кирпича для печки. Все денежные запасы ушли на стройку, даже на непредвиденный случай не осталось. А зарплату выдавали уже с запозданием, а то и не деньгами, а бартером. Уже набирал обороты бесовский рынок. Но стройке душа радовалась. Ряд за рядом подрастал дачный домик. Отец с сыновьями месили раствор, подавали его и блоки на леса, где делом заправлял известный на весь завод каменщик Аникеев.

Сергеич, как его звали, крупный и сильный мужчина лет 58, умело подхватывал на ходу голой мозолистой рукой колючие блоки, умело укладывал в нужное место, покрывал раствором, выравнивал, проверяя отвесом и уровнем, будто прицеливался и хотел выстрелить из ружья. Он считался хорошим каменщиком, клал стены производственных помещений, личных гаражей и дачных домиков, которые один за другим вырастали, как грибы, вокруг их промышленного города. Шумели зеленью и создавали уют. И город казался праздничным и зеленым. И это была многолетняя память его золотым рукам. И люди относились с Аникееву с большим уважением.

- Ты пузырек-то не забыл?- тряхнув густой кудрявой шевелюрой, время от времени спрашивал он хозяина.- А то, задери тебя коза, знаю я вас, композиторов,- со смешком и крепким присловьем добавлял мастер строительных дел, не отрываясь от своего занятия.- Да ты не серчай, я ведь падежов-то и склоненьев не знаю.

И на него не сердились. Он был беззлобен и трудолюбив, как муравей, и неутомим, словно бизон. Трудился с восхода и до заката, как настоящий русский человек, отвлекаясь лишь ненадолго на обед и глоток водки или самогона (кто чем богат)

прямо из горлышка. Не сердился и Кашигин, хотя был его прямым и высоким начальником. Да и разве можно обижаться на дитя природы? За день он мог «оприходовать» до двух бутылок, но пьяным никогда не казался. Кстати, бутылки эти разрешал занести в счет оплаты его труда, чего Михаил Иванович никогда не делал, ибо был выше таких мелочей. И голубые глаза Сергеича были острыми и точными, словно у молодого сокола. А взгляд доверчивый и по-детски наивный. От всего его крупного существа веяло добротой и уверенностью, что вселяло в людей надежду на лучшее и успокаивало душу.

Стены выросли быстро. Постепенно поставили рамы, двери, а потом стропила и накрыли шифером крышу. Все приходилось делать самим и собственными руками. Вбивать каждый гвоздь, замазывать каждую ямку при штукатурке стен. И частенько соседи видели главного инженера завода на самом коньке крыши, где он смотрелся капитаном на корабельной рубке, подающим команды своим сыновьям. И набегавший ветер трепал его седеющие волосы.

Сергеич сложил и печку. Вмазал чугунную плиту, дверцы очажка и поддувала, поставил вьюшку, в поисках которых Кашиган объехал все хозяйственные магазины города и близлежащих сел, понимая, что промышленность уже не выпускает таких бытовых деталей. Запас он и железную трубу, которую при случае можно вставить в кирпичную нишу печного колена и пропустить через высверленное отверстие в шифере крыши. Все предусмотрел хозяин. Да что он со своим скромным домишкой? Вокруг росли такие дома и даже целые дворцы, что диву даешься. Вот и Валерий Андреевич, главный механик транспортного цеха, построил двухэтажный красавец с широкой и высокой крышей, под которой можно создать просторную мансарду.

- Нам так не жить,- с шуткой говорил Кашигин. -А если жить, то недолго. У Валеры транспорт в подчинении, а на меня бы сразу указали пальцем.

Наконец печник наклал в печку щепок, бумаги, поджег их



и открыл вьюшку. И вскоре в чердачную дверцу повалил голубой дымок, что говорило о хорошей печной тяге.

- Радуйся и пользуйся моей добротой, композитор,- сказал он с веселой улыбкой, почему-то называя композиторами интеллигентных людей, и его голубые глаза радостно заблестели.

Поблагодарив мастера за труд, Михаил Иванович отдал оставшиеся деньги и отвез его до дому. И хотя на дворе уже стояла осень, работ на даче еще оставалось много. Надо было искать старые трубы на стойки забора и платить за них деньги, ибо бесплатно он ничего не брал на заводе, старался держаться подальше от греха, обтягивать сеткой-рабицей, чтобы не зашел случайный скот или прохожий. Бетонировать дорожку, с которой провозится все следующее лето старший сын.

И радовались Кашигины, что добились земельного участка и построили домик, что уже выросла первая картошка, которой хватит им всем на всю зиму. Что прижились деревья и кустарники, земляника, которые скоро начнут давать урожай. Что созрели первые огурцы, помидоры, фасоль, баклажаны, кабачки, редька и еще кое-что, с удовольствием употребляемое в пищу. Конечно, все это дается большим трудом, но не зря говорится, что как потопашь, так и полопашь. И не зря жизнь в глазах трудового человека сразу становится лучше.

Водопровода еще не было проложено, и воду таскали ведрами из дренажной канавы. Потом хозяин нанял случайного экскаваторщика, и тот вырыл небольшой колодец. Михаил Иванович вместо сруба уложил в него старые автомобильные скаты, подобранные на свалке. И они стали там набирать воду. Колодец был, правда, небольшой, и за раз в нем набиралось не более шестнадцати ведер воды. А одной капусте требовалось ее много, не случайно нижние листья кочанов были почти метрового диаметра и закрывали бело-зеленым ковром грядки. Остальную для полива таскали из канавы. Мотались с ведрами по буграм да по жаре, но ведь все это приносило радость, которая

не шибко часто балует трудящихся. И это была живительная влага, без которой на жарком юге не вырастишь ни овощей, ни цветов. А сосед с другой стороны Степан даже выкопал бульдозером целый прудок и запустил в него малька рыбы. Сделал бетонный бассейн для внуков.

Люди надеялись на лучшее, старались вырастить сады, принести в дом достаток. Жизнь стала улучшаться. Завод перешел на арендный подряд, и люди трудились от души, но тут на их головы свалилась трижды проклятая рыночная экономика. Начинались безработица, обвал и кризис, ранее не знакомые советским людям. И трудиться приходилось еще больше. И они надеялись на урожай дачных участков, в которых видели спасение от наступающего голода и хозяйственно-экономического беспредела, чтобы, как некоторые нищие и бомжи, не лазить по контейнерам с пищевыми отходами, не кончать жизнь в тепло-трассах и подвалах жилых домов, на заброшенных дачах.

\* \* \*

Они не ждали милостей от природы, ведь урожай сам по себе не давался. Он приходил благодаря невероятно тяжелому труду с ранней весны до поздней осени. Нужно было вручную вскопать огород, ведь трактор на него было невозможно загнать. При этом каждый год выбирать из земли камни, от которых тупились и ломались лопаты, тяпки. Прополоть перед посадкой картофеля землю и полоть все лето траву, камыш, которые безжалостно пёрли, как на дрожжах, на плодородной земле, заглушая все нужное человеку. Окучивать кусты, обрабатывать химией ботву, которую безжалостно съедали колорадские жуки. Обрабатывать по многу раз, ибо у этих паразитов вырабатывался против химикатов иммунитет. Нередко от передозировки сгорали листья ботвы, а личинки плодились и плодились с неимоверной быстротой, оставляя от кустов одни голые стебли.

Брызгали насосами, вениками и дышали сами этим ядови-

тым дождем, поднятым ветром, безжалостно травили свой организм, испытывая страшные головные боли и сердечную резь, при этом рассуждая с улыбкой, что лучше - умереть с голоду или от нитратов?

- С голоду загнешься быстрее, чем от нитратов и химии,- успокаивали сами себя и продолжали травить колорадских жуков, которых, болтают, с целью вредительства завезли из Америки и которые и не собирались гибнуть. А еще надо вовремя обкашивать вокруг участка траву, которую кто-то каждый год поджигает, и от пала гибнут фруктовые деревья, горят домики.

Да, огородный труд - занятие тяжелейшее. Да на жаре, на сухове! Нужно вкалывать до потери пульса, как говорится. Хорошо, что у Кашигиных была старая машинёшка. А то после трудов праведных и до дому не дотянешь. А сколько средств нужно потратить на членские взносы, семена, рассаду, химикаты, горючее?!

- Дешевле на рынке купить, чем вкладывать такой труд и такие средства,- ворчал Кашигин.- Вон уже многие бросают дачи. И нам пора. Почти одни мы остались во всем кооперативе. А молодым это не нужно.

- А разве не жалко затраченного труда, бросать домик, землю, сад, возведенные своими руками?!- не соглашалась жена.- А что нам делать, мы ведь уже пенсионеры? Вот уж как совсем станем немощными, тогда и бросим. Давай подождем хоть до следующего сезона.

Конечно, Михаилу Ивановичу было жалко. И еще как жалко! Ведь все сделано своими руками, прибита каждая дощечка, вбит каждый гвоздь, вскопан каждый сантиметр земли. Но он знал, что материальной выгоды тут почти нет, чего, к сожалению, не понимала его жена. Да и откуда ей понять своими бабьими мозгами? Постов она высоких не занимала. Да и сам он когда-то был простым слесарем. Правда, потом институт закончил и пошел в гору. Просто такова человеческая психология, что жалко бросать плоды своего труда, своего желания,

ведь они направлены на сохранение человеческой жизни, твоей семьи, твоих детей и внуков, в сравнении с которыми любые издержки, затраты, любой труд ничего не стоят. И молча соглашался, хотя делал вид, что против этого. Такой уж, видно, был характер у бывшего инженера.

Так проходили год за годом, а они все не бросали. Да ведь какая радость брала их с самой весны! Вот появился первый лучок, а значит, майские праздники встретят с окрошкой. А тут и щавель поднялся - и первый суп из зелени появится на столе. Не успели отцвести вишни, черешни, абрикосы, яблони, сливы, персики, груши, как покраснелась крупная душистая земляника. А вслед за ней пошли черешня, майская вишня, которую он собирал ведрами, лазя, как Тарзан, по деревьям, малина, смородина, яблоки, сливы, груши, сочные персики, сладкий виноград, из которого выжимали сок и закручивали в банки, чтобы зимой угощать внуков этим полезным садовым продуктом, облепляющий крупными частыми гроздьями навес у домика, из которого когда-то думали сделать веранду. Рви - не хочу!

А у заднего окна, рядом с персиками, стояла интересная яблонька. Плоды ее невелики, но росли как бы кучками или гроздьями. И хранились долго, почти всю зиму и приносили радость внукам.

Михаил Иванович не помнил и названия этого сорта, да разве в этом дело? Дело в том, что он каждый раз набивал урожай не только багажник, но и салон автомобиля. А его жена целыми днями варила варенья, компоты, салаты, и, чуя запах, настырные осы постоянно крутились возле оконных сеток балкона. Закручивала в банки помидоры, огурцы, болгарский перец, аджику и многое другое, что зимой разнообразило стол, покрывало нехватку витаминов в организме, пахло летним садом, абрикосами, малиной, смородиной, яблоками, грушами, айвой. И банок этих набиралось сотни. Ими забивали большую кладовку, часть отвозили в гараж. И со всем этим умело управ-

лялась Вера Прокофьевна, и Михаил Иванович иногда по-мужски скуп, чтобы не разбаловать, как он думал, хвалил ее:

- А ты у меня молодец, настоящая хозяйка...

И она стеснительно отворачивала лицо, на всякий случай промокала глаза, на которых могли выступить слезы радости за свой труд, за редкую похвалу и внимание сдержанного супруга.

Видя эти огородные богатства зимой, вдыхая их аромат, в душе зарождались теплое лето и еле слышная музыка самой матушки природы, без которой жизнь человека кажется тоскливой, а то и бесполезной.

Вот и в прошлом году был добрый урожай. И хотя уже кооператив распался, водопровод не работал и кто-то деловой и вороватый снял и увез цистерну для воды, стоявшую на ближнем косогоре, и водопроводные сети, лето было на радость, дождливым. Удались и фрукты, и картошка, которой Кашагины накопили более девяноста ведер. С утра, пока не так жарко, копали ее старики не одну неделю, слава Богу, бомжи обошли их огород. Сушили на бетонном полу под навесом. Перебирали, ползая на коленях, свозили и ссыпали в гаражный подвал. Их сыновья, оставив дома, семьи, уехали на заработки, ибо в самом промышленном городе края устроиться на работу было невозможно. А ведь еще несколько лет назад все заборы пестрели от объявлений о требовании на работу. И многие мужчины покидали дом в ее поисках, некоторые работали вахтенным методом, где-то пропадали и не возвращались в город. Рушились семьи. Становились сиротами дети. Вот, что принесла народу рыночная экономика, придуманная политическими авантюристами и узурпаторами, развалившими великую страну и сделавшими народ нищим.

И старики-пенсионеры колготились сами, старались обойтись своими силами. Нередко охали и тяжело вздыхали, пили таблетки, от которых не всегда был толк, ибо их всюю уже подделывали шарлатаны и прочие проходимцы, которых в народе звали брынцаловцами, но огородному делу не изменяли.

Наконец весь картофель выкопали. Несколько мешков с ним развезли семьям сыновей, друзей и знакомых. Знамо, оставили себе и внукам, приходящим и живущим у них все выходные, праздники и каникулы, от которых набиралось более полугода. А их было пятеро. Радовались Кашигины, что их не оставили без урожая любители пожить за счет чужих трудов, что запаслись на всю зиму провиантом, а весной, может, Бог даст здоровья, и они снова возьмутся за дачные работы, которые им уже осточертели и без которых, если честно, они уже не мыслили жизни. Хотя, конечно, не особо признавались в этом.

Но весна обрушилась на их старые плечи бедой. Нельзя сказать - неожиданно. Они долгие годы в тайниках души боялись и поджидали ее. Но тогда Господь миловал. А сейчас, когда они стали почти немощными стариками, им думалось, их бросили не только президенты, премьеры, министры, депутаты и силовые структуры, с жадностью набивающие только свои карманы, но бросил и сам Господь. Это было особенно обидно и невыносимо, ведь они всю жизнь проработали на своем знаменитом заводе, поднимали разрушенное войной хозяйство и экономику страны, растили детей и пестовали внуков, стараясь вырастить из них достойных граждан своей страны.

- Разве это справедливо?- с обидой шептали подкошенные бедой старики.- Разве этого мы заслужили за почти полувековой труд?

И на них жалко было смотреть. Даже всегда держащий себя в руках бывший главный инженер, не раз смело вступавший в перепалки и споры с министрами, городскими и краевыми властями, вытягивающий завод из, казалось бы, безвыходных ситуаций, не смог выдержать этого вероломного удара. И он старался быстрее взять себя в руки, не показать жене душевного страха, надлома и мужской слабости.

- Снова фашисты нас достали,- с горечью вымолвил он.- Это как нужно вывернуть свое сознание, чтобы ненавидеть и растоптать чужой труд? Наверно, это скинхеды. Они всю

разгулялись по городу. На ступеньках здания ФСБ заложили взрывчатку. А силовики ничего не могут сделать или не хотят. Говорят, они специально их не трогают, чтобы использовать в подходящий момент в какой-нибудь заварухе. Какие времена, какие нравы! Но сколько ни печалься, надо ликвидировать последствия гнусного нашествия. А я потом поспрашиваю у знающих людей, может, и найду виновников. Тогда пусть не ждуг пощады...

Целый день они разбирали и выносили мусор, битое стекло, щепки. Вытирали разлитый мазут, который, очевидно, нашли в банке, привезенной хозяином для смазывания замков и шарниров. Подметали.

Внутренний замок входной двери уже нельзя было восстановить. А вот выдранные шурупы задвижки вкрутить на место было можно и хоть как-то закрыть дверь. Косяки и наличники были искромсаны и разбиты ломами, и Михаил Иванович, как хирург, собирал их по щепочке и ухитрялся закрепить на прежнем месте хотя бы для блезиру. И дверь смог закрыть.

Как сумел в полевых условиях, выгнул решетку на окне, поправил разбитую раму, снял размеры стекол, чтобы завтра доделать самое необходимое. Хорошо, что в гараже остались обрезки от градобоя 2006 года. Прихватив их, а также ножовку, топор, он наутро заехал в мастерскую, где ему вырезали необходимые куски, и направился на дачу. Достав с чердака оставшиеся после строительства доски, пилил их нужного размера и забивал окно. К счастью, кое-как натянул. Затем вставил стекла.

За этой работой и застали его незнакомые милиционеры из села Кочубеевского.

- Вы давно тут? - спросили они, оглядев его с ног до головы.
- С утра, - тоже обведя их взглядом, ответил он.
- Ничего не слышали про пожар? Ночью сожгли одну дачу.
- Ничего не слышал, ведь это не впервые, уже привычно.

Сам только вчера увидел, как мою дачу разорили. Возьмите

вон столовый нож и кусок конуса сломавшегося лома. Грабители оставили.

Милиционеры были кочубеевскими, ибо дачи находились на земле Кочубеевского района. Но как они могли так оперативно появиться в этом заброшенном людьми углу, если он и в добрые времена их никогда тут не видел? Они даже заполнили что-то наподобие протокола допроса, мол, провели работу по розыску преступников и доказательства привезли. Но в их успех он не верил, потому что милиции уже не верил никто. Так она себя зарекомендовала в последние годы. И даже у воров авторитет был уже выше.

- Какие-то хулиганы громили, ибо ничего не взяли,- сообщил им хозяин.- Может, детдомовцы? Со столовым ножом пришли. Громилы с таким не пойдут.

- Скорее, скинхеды, они все крушат напропалую,- заявили стражи порядка.

- Если бы застал, как собак, расстрелял бы,- распаялся Кашигин, чтобы и на них нагнать страху, как известный чеховский герой на возницу. Но они на его слова не отреагировали.

«Мент, он и на даче мент», - только и подумал хозяин.

К вечеру закрыл досками и окно. Затащил на чердак сваленную оттуда ржавую проволоку. Выбросил оставшийся мусор. И с легким удовлетворением и надеждой поехал домой. Нужно было еще завезти и прорастить семена картошки. Выполоть траву на огороде. Засадить его.

А когда через неделю приехал немного успокоенным и обнадуженным на лучшее, дверь снова была вырвана и весь скарб свален в одну кучу. На диване была вылита старая краска, давно оставленная в столе. Валялись комки подожженной бумаги. И он понял, что незваные гости хотели устроить пожар и лишить их домика. Но в нем еще было сыро после недавней зимы, и тряпье не загорелось.

- Сам Господь нам помог,- горестно проронил Кашигин и снова взялся за уборку мусора, ремонт двери.



Настроение его было подавленным. И этот случай очередного разбоя не то, чтобы вывел его из себя, а разозлил, как это было в молодые годы. Он был зол на бандитов, на милицию, на правящую элиту и общественную формацию, которые довели людей до такой рабской жизни. И он готов был встать на защиту своей жизни, своего имущества со своей старой охотничьей двустволкой. Он проклинал всех и вся, не стесняясь в выражениях, которые, казалось бы, давно позабыл, и вытаскивал из глубины постаревшей памяти. Он их ненавидел всем существом, считал виновниками всех людских бед. И им не должно быть прощения, ведь они обещали охранять частную собственность, как зеницу ока. Впрочем, в политической трескотне они чего только не обещали! И в очередной раз обманули доверчивых россиян, у многих из которых осталась одна надежда на выживание - дачи. А вернее - какие это дачи, разве дачи олигархов и воря такие? Это элементарные огородные участки, где на некоторых стоят маленькие и косябокие скворечни, в которых отупевший от полевой работы «дачник» может переодеться, скрыться от беспощадного солнца или проливного дождя.

Настоящие дачи, точнее дворцы, стоят в Подмоскowie и вокруг крупных городов, где не работают, а отдыхают бары. А вокруг маленьких городков, которые вместе с колхозами кормят мегаполисы и столицу, быстро выросли, но уже прозябают садово-огородные участки.

Миллионы людей они кормили, зло думал Кашигин. Помогали стране решать Продовольственную программу, давали народу возможность выжить своими силами. А иных отвлекали от пьянки, праздничного безделья.

Но кому-то это помешало. Начали тащить с них все металлическое. Выгодным приемом металлолома занялись жулики и дельцы, бывшие менты и казачьи атаманы. Посмотри, что творится на ростовской автотрассе! Огромные грузовики с прицепами, доверху забитые старыми трубами, ваннами, кро-

ватами, безжалостно разоренным заводским оборудованием, нередко почти новым, годным для работы, везут их на всех парах в сторону портов Черного и Азовского морей. За бесценок продаются туркам, увозятся за границу, помогают экономике почти враждебного государства, а свои металлургические заводы стоят без сырья.

- Сво-олочи! Рубят сук, на котором сидят!- хватался за сердце, стонал инженер.- Ни России вам не жалко, ни народа, который вы сделали нищим. Да и в нашем Отечестве никогда не было умных царей и правителей. Поэтому народ самой богатой в мире державы считается самым бедным и нищим...

К вечеру он заехал в территориальный совет, рассказал председателю и начальнику муниципальной милиции о своих бедах. Но они только посочувствовали.

- Земля не городская, а кочубеевская. Мы тут ни при чем. Со своими бандитами не справляемся.

- Кочубеевские менты знают, а толку? - возразил Кашигин.- Президент, правительство советуют приватизировать дачную землю. Я давно уже и деньги заплатил председателю кооператива. А она их, похоже, присвоила. Говорят, со всего общества сто сорок тысяч рублей прикарманила, мол, израсходовала на общество, оформление документов, поездки в Кочубеевку. Поехал я однажды с ней, оказалась одна оформленная зимой бумажка уже устарела. Купил коробку конфет чиновнице, снова заплатил за оформление документов, хотя эту землю мы уже приватизировали в 90-х годах. И в том свидетельстве не названа улица, где стоит наш домик. Так оказалось у многих дачников. Чиновник советуют подавать в суд. Суд да дело, а это снова время, деньги, нервытрепка. Президент, премьер говорят одно, а на деле, на местах, получается другое. А разве нельзя сразу за один раз заплатить и получить документы на приватизацию? И вообще зачем нам эта земля, когда скоро сдохнем, а детям она и даром не нужна! Отбили у людей любовь к земле и желание на ней работать. И эта дачная приватизация похожа на провокацию, на выкачку денег

из карманов налогоплательщиков, ведь кто-то должен за нее платить, чтобы пополнять казну государства. А земли у нас без конца и края. А еще болтают, что землю под нашими дачами хочет скупить жена Лужкова Батурина и на ней построить ипподром. Будет разводить коней. По ихнему получается - лучше скотину кормить, чем дать возможность выжить людям. С жиру бесятся олигархи. Может, по их заданию нас и выкуривают...

Семена картошки, ссыпав в ящики, ведра, тазики, кастрюли, проращивали на кухне, в тепле. С каждым днем их все больше осыпали проклевывающиеся ростки. Белые, розовые, похожие на острые наконечники старинных копий или стрел, они смело и упорно пробивались сквозь картофельную кожуру и будто сами просили посадить их в землю, которую они в поисках солнечного света способны пронзить, и порадовать хозяйский глаз дружными всходами. И старики несказанно радовались.

- Миш, пора сажать, ростки в самый раз,- по сложившейся привычке уверенно заявляла всегда Вера Прокофьевна, которую муж не без шутки называл главным агрономом. Сам он больше занимался хозяйственной частью, строительством, тяжелыми работами, копкой земли, опрыскиванием колорадских жуков.

Но шутка шуткой, а принимать ответственные решения он должен был все-таки сам.

- Чего ты спешишь, еще март на дворе? А вдруг перед маем, когда взойдет, ударит заморозок? И снова поморозим всходы, как бывало не раз.

- Ну что сделаешь?- упиралась хозяйка,- зато влаги захватим больше. Вдруг засуха будет?

- Давай хоть лунный календарь в газете посмотрим, когда он рекомендует сажать?

- Все врут календари!- сказал еще Пушкин. Нашел, кому верить! Давай поедем, пока погода.

«Темнота ты беспросветная, поперек батьки лезешь в пекло», - недовольно подумал про себя Кашигин, хотя вообще-то ему было без разницы. И власти он особо не жаждал. Только

какое-то нехорошее предчувствие вдруг появилось. И все-таки он не стал усложнять обстановку и пригнал машину, спустил с этажа посуду с картошкой, и они тронулись в путь. И при подъезде к участку оба внимательно смотрели из-за верхушек камыша и бугра дренажной канавы в сторону своего домика. Дверь вроде была закрыта, чердачная дверца тоже. В заднем окне блеснуло стекло. И на душе отлегло.

Однако не успели они подъехать к калитке и выйти из машины, как он тревожно воскликнул:

- Смотри, окно со стороны улицы расхлестали! И сетку сняли с забора, мать... Это было очередным ударом. Они долго ходили вокруг и охали.

- Смотри, даже чердачное окошечко выбили. Помешало. А ведь до него метра четыре. Жирафы, что ли, ходили. А вон и шифер на крыше проломил, и такой толстый! Теперь будет заливать домик. Вот и пожили в нем! А вот и камень полупудовый. Как же они его туда забросили?- возмутился хозяин. - В прошлом году трубы вытащили из забора, а в этом и старую сетку сняли, шакалы. На что она годна?!

Он вспомнил, как прошедшим летом обнаружил пропажу труб. Закапывая в ямки, он их заливал бетоном. Но их все-таки выкопали и разбили бетон. Давно к ним приглядывались, он это замечал. Даже вырывали из земли, но, увидев «бетонный корень», бросали. А Кашигин вновь закапывал их на место. Теперь же, видно, бетон разбивали кувалдой.

Тогда Михаил Иванович заехал на городскую свалку, нашел несколько двухметровых бревешек, ранее использованных на эти же цели, местами источенных червем, привез и вкопал вместо труб. Два-три года они еще постоят, и эти два-три года надо еще прожить в стране, где средний век мужчины не дотягивает и до шестидесяти лет. А Кашигину - скоро семьдесят. Все допустимые пределы миновал!

К толстой проволоке, которая держала сетку, он когда-то прикручивал ее пассатижами стальной, негнущейся проволо-

кой. И открутить ее практически было невозможно. Видно, вору пользовались специальными кусачками, что бывает у железнодорожных весовщиков. Капитально запаслись инструментом.

Снова выносили битое стекло. Женщина подметала, а он изнутри заделывал толстым картоном окошко, ибо досок больше не было. Достал с чердака старый целлофановый мешок из-под цемента, разрезал одну сторону и вместо стекла прибил на раму до самых наличников, чтобы не затекал дождь. Потом искал пласт шифера, чтобы заделать пробойну в крыше. Изнутри его не поставишь - протечет во время дождей. Поставь снаружи - тоже протечет. И все-таки подобрал более или менее подходящий кусок. Приладил снаружи, прибив гвоздем к стропилу, а кромки замазав завалившимся в столе затвердевшим пластилином.

- Все это Филькина грамота,- между делом оценил он свою работу. - Для самообмана. Пластилин растает на солнце и потечет, а первые же дожди промочат потолок. Но ведь, потеряв голову, по волосам не плачут. А голова эта, в смысле дача, скоро потеряется.

Но что было делать? Обходился подсобными средствами, тем, что попадало под руку, ведь голь на выдумки хитра, ведь таким образом строилась вся матушка Русь. И все делал он уже не с радостью или горечью, а с каким-то вдруг подступившим легким остервенением и злой уверенностью, будто вновь был на своей уже полузабытой инженерской работе и по привычке решал производственные проблемы. Его глаза загорелись каким-то ранее не знакомым блеском, будто он нашел единственно правильное решение своего самого главного вопроса.

Закончив латание, они посадили картошку и подались домой. А через несколько дней он засобирался на охоту на уток.

- Ты вроде по весне никогда не ходил,- удивилась Вера Прокофьевна.

- Пойду прогуляюсь по болотцам или рекам. Если на ночь не приеду, не теряй.- Он собрал продукты, достал зачехленное ружье, патронташ с патронами, закинул на спину рюкзак и вышел из квартиры, осторожно и без стука прикрыв дверь. Машину брать не стал, ибо ее сразу увидят, и пошел пешком. По его расчетам, бандюги должны были уже узнать, что он ликвидировал последствия их разбоя, и не сегодня - завтра должны вновь пожаловать, чтобы опять крушить и ломать построенный с таким трудом домик, заборы и все то, что попадет под руку.

- Откуда у них такое вероломство, варварство, вандализм?- спрашивал он себя.- Это не люди, а новые фашисты, слизняки, мразь, которая не имеет права жить! Кто мог воспитать таких недоносков, будь они все трижды прокляты, у которых нет ничего святого, ни Родины, ни друзей, ни родителей?! Да чтобы вы сами подошли с голоду! Чтобы ваши ненормальные родители, отцы и матери, остались без куска хлеба, без единой картофелины и окочурились с голоду! Чтобы ваши пакостливые руки горели в геенне огненной и не могли донести до поганого рта кусок! Вы - враги человечеству, новые бесы и басурманы, которые не имеют права на жизнь, как и те, кто довел нас до такой нищей жизни.

Он порадовался, что не сказал жене. Она бы не отпустила, мол, Бог с ней, дачей, картошкой и фруктами. Как-нибудь уж проживем с его помощью, сколько нам тут и осталось? А так непростительный грех возьмешь на душу. Сам себе не простишь потом. Но ему не хотелось доживать как-нибудь, ведь он за это положил всю жизнь, многолетний труд. И он все еще не решил и не знал, как поступит с теми, кого поймают. Зависит от ситуации и душевного настроения. Как можно расстрелять хоть и подонков, но людей, он не знал. Действительно, возьмешь на себя неизбывный грех. У него и в мыслях не было все эти прожитые семь десятков лет, чтобы поднять руку на человека, убить.

- Но как поступать с такими зверьми, кто пускает по миру тебя, твою семью, хочет голодом заморить малых внуков, считай, святых существ, только что начавших жить? Пускает, возможно, ради забавы?- внутренне кричал он себе, и вместе с ним кричала его незащищенная душа.

И он представлял себе уже неживых внуков, своих самых любимых на свете существ.

- Они нас, эти подонки, пожалели?! Тогда почему мы их должны жалеть? Каждому должно воздаться по заслугам. С фашистами надо и расправляться как с фашистами. Иначе все поставят с ног на голову. Изведут все живое и разумное.

А если это окажется твой сосед Нагиев, который, похоже, хочет избавиться от тебя? Он уже не обрабатывает свой огород. Только откуда же появились на нем красные маки? Может, это наркотические маки? Тебя, оставшегося почти одного на всю улицу, выживет и на твоём участке посеет мак. Дешево и сердито... Не ломай зря голову, разберемся по ходу действия... Он, конечно, мразь, и люди это одобряют. Только вот законы не одобряют и приклепают за эту сволочь хороший срок. И сам себя не одобришь. Разве тебе охота париться в старости по тюрьмам из-за подонка? Ворошиловский стрелок нашелся. Но почему подонки правят в обществе балом? Почему мы такие добренькие, пушистые и безответные, почему позволяем обращаться с собою, как со скотом?

Он много передумал за ночь в ожидании погромщиков. Вспомнил, как механик транспортного цеха Валерий Андреевич строил огромный дом, в который вложил тысячи кирпичей. Кирпичик по кирпичику он долго рос вверх и вширь. Наверное, не один год. Под его широкой, как взлетная полоса аэродрома, крышей было столько пространства, что можно было еще создать не одну комнату. Потом выросли хозяйственные постройки, заборы, ворота. Во дворе и возле стали бегать куры, утки, гуси, которые любили купаться в дренажной канаве. Слышалось буханье лохматого пса, который стоял на страже

хозяйства. Валерий Андреевич оставил свою однокомнатную квартирешку сыну или дочери, а сам жил на природе в этом роскошном доме. Но жизнь на природе вдруг кончилась, и он долго с какими-то мужиками разбирал кирпичик за кирпичиком это человеческое творение. Даже со стороны Кашигину было тяжело смотреть, и его сердце так резало, будто его сверлили дрелью.

Он не раз мысленно пролистал дни своей былой жизни, работы, прожитые с женой годы. Вспомнил, как носил на руках маленьких детей, а затем внуков, которых беспредельно любил и которые в трудные годы рыночного обвала давали ему душевные силы и помогали выжить.

- Ну что плохого сделал ты людям?- спрашивал себя Кашигин.- А этим нелюдям что сделал плохого? Господи, не дай случиться беде, отвори и помилуй. Хотя они этого заслужили, и кто-то должен их остановить.

Он всю ночь промучился в думах, сомнениях, лежа на старом диванишке. Ворочался с боку на бок и не мог успокоиться. Окна были им же недавно забиты, и трудно было угадать время.

Наконец щелочка между закрывавшими восточное окно досками стала чуть-чуть сереть. И он догадался, что зарождался рассвет. А вскоре рядом с домиком послышались мужские голоса. «Вот оно. Началось!»- обожгла его горячая, как пламя, мысль. Не раз в злобе он думал посечь бандюг, как капусту, дробью. Или отвести под ружьем в милицию. Даже представлял себе это странное зрелище, придирку ментов, ведь по инструкции нельзя в черте города ходить с заряженным ружьем.

Послышались шаги по бетону. Кто-то сильно и бесполезно дернул дверь. Крикнул со злой радостью:

- Открой, домовой! Против лома нет приема! Давай лом!

- Вот и встретились!- не то с радостью, не то с испугом прошептал Кашигин.



Он по-охотничьи тихо поднялся, взял в руки до боли знакомое ружье, которое ни разу в жизни его не подводило, беззвучно спустил предохранитель, подошел к двери и резким движением распахнул ее.



## СОДЕРЖАНИЕ

Жила-была Мурка.....	3
Закон тайги.....	55
Сербиянка бедная.....	95
Верность.....	129
Признана удовлетворительной.....	151
Три Федоровича.....	251
Кубанский казак.....	282
Дачный пограм.....	326

**Владимир Иванович КОЖЕВНИКОВ**

**ЖИЛА-БЫЛА МУРКА**

Повести

355 стр.

Технический редактор В.И. Владимиров.

Корректор В.И. Иванов.

Компьютерный набор и дизайн обложки

Л.Н. Калошиной.

Подписано в печать 13.02. 2015 г.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.

Усл.печ.л. 22,20.

Тираж 100 экз. Заказ 230.

Отпечатано в ЗАО «Невинномысская городская типография»,

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,

ул. Первомайская, 66-а.